

Alexandre Tchoudinov

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Histoire et mythes



MOSCOU NAOUKA 2007

А.В. Чудинов

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

История и мифы



МОСКВА НАУКА 2007

Каждый пишет собственную всемирную историю. Если бы кому-то пришло в голову сопоставить несколько исторических трактатов, принадлежащих разным авторам, то несчастный зашел бы в полный тупик из-за того, что история, по сути, не ведает ни реальности, ни достоверности. Прошлое — личное ли, общественное ли — не что иное, как непролазные джунгли. Взавшись его описывать, рискуешь заплутать в потемках.

Г. Миллер

М ю л л е р: Верить нельзя никому. Даже себе.

К 'ф "Семьдесят мгновений весны"

— Ужасно, правда не доверять никому?

— О нет, Андзин-сан, извините — не согласилась она. — Это только одно из самых важных жизненных правил — ни больше, ни меньше.

Дж. Клавел "Сёгун"

Всё началось довольно неожиданно. В один из сентябрьских дней 1981 г. мне позвонили. Снимая трубку, я и подумать не мог, что через миг получу предложение, которое на годы определит мою судьбу в науке. Но вышло именно так. Профессор Геннадий Семенович Кучеренко, мой научный руководитель, мягко заинтересовался у своего студента, не хочет ли тот специализироваться на истории Французской революции XVIII века (тогда ее еще называли "Великой"). Я согласился, хотя и не без внутреннего трепета.

Как раз накануне — уж не знак ли судьбы? — я прочел вышедшее двумя годами ранее новейшее издание знаменитого труда П.А. Кропоткина о Французской революции¹. Парадоксально, но наибольшее впечатление на меня произвел не сам текст книги, а комментарий к нему, написанный современными историками А.В. Гордоном и Е.В. Старостиным. Едва ли не к каждому из упомянутых П.А. Кропоткиным важнейших событий и явлений Революции они дали примечание, где указали работы других авторов, посвященные данному сюжету. И хотя перечисленные таким образом названия составляли — это я узнал позднее — лишь малую толику существующих в мире исследований о Французской революции, их количество меня поразило даже больше, чем та лавина фактов, имен и дат, которую обрушивает на читателя сам Кропоткин. Если тема Революции уже столь подробно изучена, как же трудно, наверное, сказать о ней что-либо новое, найти нечто, никому не известное? Именно этим опасением и был вызван тот душевный трепет, который я испытал, соглашаясь на предложение Учителя.

¹ Кропоткин П.А. Великая французская революция. 1789 — 1793. М., 1979.

Впрочем, мне повезло: первый персонаж моих студенческих, а затем кандидатских штудий — шотландский мыслитель Джеймс Макинтош, прославившийся в 90-е годы XVIII в. своей пламенной защитой Французской революции, ранее еще не был объектом чьего-либо специального исследования. Соответственно, проблема для меня состояла не в том, чтобы не повторить кого-либо из предшественников, благо таковых и не было, а в том, чтобы придать историографическому разделу диссертации мало-мальски приличный объем, для чего пришлось тщательно собирать даже самые краткие упоминания о Макинтоше в работах общего характера.

Однако, говоря о Макинтоше, нельзя было не сказать и о его главном оппоненте — Эдмунде Бёрке, самом крупном в то время критике Французской революции. С ним же дело обстояло совершенно иначе: в мировой историографии существуют десятки монографий о Бёрке, не говоря уже о статьях. Впрочем, работая над курсовыми и дипломной работами, я наивно полагал, что наличие столь обильной "бёркианы" едва ли способно существенно осложнить мою задачу. Напротив, если об этом мыслителе сказано так много, то, стало быть, его творчество изучено уже самым доскональным образом, все спорные моменты прояснены, а потому мне нет необходимости штудировать его многотомные труды и еще более обширную литературу о нем. В конце концов, говорил я себе, изучаю я Макинтоша, а не Бёрка, а потому вполне могу ограничиться при характеристике последнего воспроизведением наиболее распространенных в отечественной историографии оценок. Так при написании дипломной работы я и поступил. Когда же исследование вышло на более высокий, кандидатский, уровень и я все-таки принялся читать Бёрка, то испытал немалое удивление от того, сколь односторонней и ограниченной была доминировавшая в советской историографии характеристика его творчества. Да и при знакомстве с зарубежной литературой о Бёрке мне также не раз приходилось наткнуться на безапелляционные, чаще всего идеологически окрашенные суждения, которые не выдерживали проверки источниками.

Отсюда я вынес для себя следующие уроки. Во-первых, обилие трудов по той или иной теме еще не говорит о том, что она достаточно изучена. Во-вторых, если даже какое-либо положение и выглядит общепризнанным, это еще не значит, что оно верно. Более того, подобная "общепризнанность" сама по себе является ловушкой. Ведь чем больше людей повторяет то или иное суждение, тем труднее усомниться в его истинности, особенно, если в числе его сторонников оказываются уважаемые профессионалы. И даже если такое суждение изначально было ошибочным, но это, по той или иной причине, сразу не установили, то со временем авторитет традиции превращает его в "прописную истину", расхожий стереотип, поставить который под сомнение уже и в голову никому не приходит.

С несколькими такими стереотипами мне пришлось столкнуться самым непосредственным образом, когда в сферу моих научных интересов попал Уильям Годвин, еще один английский мыслитель, участвовавший на исходе XVIII столетия в дискуссии о Французской революции. Оказалось, что многие из писавших о нем авторов — а число трудов о Годвине не сильно уступает "бёркяне" — трактовали его как "сторонника мирных реформ", "анархизма" и "коммунизма", хотя и не обосновывали эти кочующие из работы в работу определения сколько-нибудь развернутой аргументацией. Я попытался понять, насколько подобные характеристики соответствуют содержанию трудов самого мыслителя. Результат, после опыта с Бёрком, уже не удивил: ни одно из этих определений не подтверждалось источниками².

Далее "поезд пошел со всеми остановками". Какой бы из аспектов Французской революции мне ни приходилось исследовать, я уже знал, что критический анализ едва ли не любого из освященных традицией историографических стереотипов способен принести самые неожиданные результаты и если не полностью опровергнуть очередную "прописную истину", то, во всяком случае, существенно ее скорректировать, пролить новый свет на, казалось бы, давно всем известные вещи, причем как относительно самих событий и их участников, так и относительно последующих работ историков об этих событиях. Постепенно поиск и анализ историографических мифов стали одним из основных направлений моих исследований. И здесь некогда смущавший меня почти безграничный объем научной литературы о Французской революции обернулся немалым преимуществом. Бродя уже четверть века по этому гигантскому лабиринту, я не перестаю встречать все новые и новые историографические фантомы. И думаю, таких "открытий чудных" тут хватит еще не одному поколению историков.

Предлагаемая вниманию читателя книга — результат этих многолетних путешествий по лабиринту историографии Французской революции. Спектр тем, рассматриваемых в отдельных главах, достаточно широк: здесь и общий характер Революции, и биографии отдельных ее участников, и оценка различных историографических направлений. В свою очередь, многообразие сюжетов определяет и разнообразие жанров отдельных глав: читатель найдет здесь и теоретическое эссе, и основанное на архивных материалах исследование, и научно-популярный биографический очерк, и историографический анализ. Объединяет же все эти многообразные и разноплановые этюды одна общая задача — изучение историографических мифов о Французской революции, исследова-

² Подробнее см.: Чудинов А.В. Размышления англичан о Французской революции: Э. Бёрк, Дж. Макинтош, У. Годвин. М., 1996.

ние механизма их формирования и их влияния на развитие научных представлений об этом событии.

Многие положения данной работы уже нашли, в той или иной степени, отражение в ряде моих статей³, однако для настоящего издания ранее опубликованные тексты в большинстве своем были дополнены и переработаны.

Выражаю глубочайшую признательность друзьям и коллегам, чья поддержка и участие оказали мне неоценимую помощь при подготовке книги к печати: Д.Ю. Бовыкину, А.В. Гладышеву, А.В. Гордону, С.В. Кондратьеву, П.Ю. Уварову, Э.А. Чеканцевой, П.П. Черкасову. Особо хочу поблагодарить свою супругу Татьяну Николаевну Захарову, сделавшую все возможное для благополучного завершения этой работы.

³ О новом отношении к консервативной историографии: через критику к синтезу // Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции. М., 1989. С. 99–107; Шарлотта Корде и смерть Марата // Новая и новейшая история (далее – НиНИ). 1993. № 5. С. 245–247; На облаке утопии: жизнь и мечты Жоржа Кутона // Кутон Ж. Избранные произведения. 1793–1794. М., 1994. С. 5–54; Прощание с эпохой (размышления над книгой В.Г. Ревуненкова) // Вопросы истории (далее – ВИ). 1998. № 7. С. 156–162; Масоны и Французская революция XVIII в.: дискуссия длиной в два столетия // НиНИ. 1999. № 1. С. 45–69; Смена веков: 200-летие Революции и российская историография // Французский ежегодник (далее – ФЕ). 2000. М., 2000. С. 5–23; “Русский якобинец” Павел Строганов. Легенда и действительность // НиНИ. 2001. № 4. С. 42–70; Депутаты-предприниматели в Учредительном собрании (1789–1791) // ФЕ. 2001. М., 2001. С. 153–164; “Круглый стол” Французская революция XVIII века и буржуазия (доклад и заключительное слово) // НиНИ. 2002. № 1. С. 80–90, 110–112; La Révolution française: de l'historiographie soviétique à l'historiographie russe, “changement de jalons” // Cahiers du monde russe. 2002. N 2/3. P. 449–462; Французская революция в исторической памяти российской интеллигенции (конец XVIII – начало XX вв.) // Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления. Воронеж, 2004. С. 201–213; “Слух, который нашептала история”: янсенизм и Французская революция (историографический аспект) // ФЕ. 2004. М., 2004. С. 39–55; “Королевское самодержавие” во Франции: история одного мифа // ФЕ. 2005. М., 2005. С. 259–293.

Часть первая

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Глава I

РУССКИЙ КУЛЬТ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Всю кровь с парижских площадей,
С камней и рук легенда стерла...

И. Савин "Лагонка"

Среди произошедших в других странах исторических событий, пожалуй, ни одно не оказало такого влияния на общественное сознание России, как Французская революция. Уже в XIX в. она стала не только явлением русской культуры¹, но и частью исторической памяти российской интеллигенции.

Говоря об "исторической памяти", я вкладываю в это понятие тот же смысл, что и Пьер Нора, противопоставляющий "память" "истории" как отрасли научного знания:

"Память, — пишет П. Нора, — это жизнь, носителями которой всегда выступают живые социальные группы, и в этом смысле она находится в процессе постоянной эволюции, она открыта диалектике запоминания и амнезии, не отдает себе отчета в своих последовательных деформациях, подвластна всем использованиям и манипуляциям, способна на длительные скрытые периоды и внезапные оживления. История — это всегда проблематичная и неполная реконструкция того, чего больше нет. Память — это всегда актуальный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим. История же — это репрезентация прошлого. Память в силу своей чувственной и магической природы уживается только с теми деталями, которые ей удобны. Она питается туманными, многоплановыми, глобальными и текучими, частными или символическими воспоминаниями, она чувствительна ко всем трансферам, отобра-

¹ Подробнее см.: Гордон А.В. Великая французская революция как явление русской культуры (К постановке вопроса) // Исторические этюды о Французской революции: Памяти В.М. Далина (К 95-летию со дня рождения). М., 1998.

жениям, запретам или проекциям. История как интеллектуальная и светская операция вызывает к анализу и критическому дискурсу. Память помещает воспоминания в священное, история его оттуда изгоняет, делая его прозаическим. Память порождается той социальной группой, которую она сплавливает, это возвращает нас к тому, что, по словам Хальбвакса, существует столько же памятей, сколько и социальных групп, к идее о том, что память по своей природе множественна и неделима, коллективна и индивидуальна. Напротив, история принадлежит всем и никому, что делает универсальность ее призванием"².

Тот образ Французской революции, который сложился в русской культуре XIX в., действительно, принадлежал скорее к сфере сакрального, нежели к области научного знания. Более того, сам процесс формирования этого образа происходил через элиминирование, через сознательное забвение тех исторических реалий, которые противоречили идеализированному представлению о Революции.

Впрочем, произошло это не сразу. Никто не был столь далек от превращения Революции в объект поклонения, как ее непосредственные современники и, тем более, очевидцы, чья судьба вместила ее всю целиком — с первого дня до последнего. Есть немало примеров того, как люди, воспитанные на ценностях культуры Просвещения и воспринявшие сначала Французскую революцию как реализацию гуманистических идеалов, впоследствии пережили подлинный шок от того, насколько реальность опровергла эти ожидания. Так, Н.М. Карамзин, посетивший Париж в 1790 г. и не без симпатии наблюдавший за развитием событий начального, еще относительно мирного периода Революции, уже через пять лет написал те известные строки, которые А.И. Герцен назовет "огненными и полными слез": "Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя — среди убийств и разрушений не узнаю тебя!"³ Не менее трагично на исходе XVIII в. и мироощущение А.Н. Радищева:

Счастье, и добродетель, и вольность пожрал омут ярый.
Зри, всплывают еще страшны обломки в струе.
Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,
Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех⁴.

Такова была реакция на Французскую революцию тех, кто непосредственно пережил ее, для кого она стала личной драмой. Одна-

² Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб., 1999. С. 20.

³ Карамзин Н.М. Мелодор к Филалету // Карамзин Н.М. Избранные письма и статьи. М., 1982. С. 148 — 149.

⁴ Радищев Н.М. Оснадацатое столетие // Радищев Н.М. Избранное. М., 1959 С. 260.

ко уже их младшие современники, представители следующего поколения, для кого Революция была недавним, но все же *прошлым*, относились к ней совершенно иначе. Восприятие ее молодыми людьми, оппозиционно настроенными к российской действительности, хорошо выражают известные слова Александра I: "Во Французской революции надо отличать принципы от преступлений"⁵. Подобный взгляд на вещи предполагал избирательный подход к опыту Революции, деление ее целостной истории на приемлемое — "принципы" — и неприемлемое — "преступления". Именно такая позиция была, в частности, характерна для декабристов, которые "ненавидели преступления и любили правила французской революции"⁶. При подобном подходе рассказ о ее реальных событиях мог даже вызывать раздражение, поскольку воспринимался как имплицитное осуждение, опровержение идеала. Читая "Письма русского путешественника" Н.М. Карамзина, Никита Муравьев в тех местах, где речь шла о впечатлениях автора от революционного Парижа, испестрил поля книги пометами: "Так глупо, что нет и возражений", "неправда", "дурак". Характерна реплика по поводу фразы Карамзина, которой тот завершил пассаж о Кондорсе: "Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция — отверстый гроб для добродетели и — самого злодейства". Муравьев пишет: "Все сие справедливо вероятно. Мораль скверная"⁷. То есть по существу возразить нечего, но *верить* в это очень не хочется.

Впрочем, дела единый образ Революции на две равноправные и независимые друг от друга части — "хороший" идеал и "плохая" реальность, декабристы, однако, ни в коей мере не абстрагировались от последней и сознательно ставили себе целью не допустить повторения в российских условиях "ужасных происшествий, бывших во Франции во время революции"⁸. Они были далеки от того, чтобы отождествлять себя с деятелями Французской революции, которые вольно или невольно формировали эту "неприемлемую" реальность и несли за нее ответственность.

⁵ Цит. по: Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Великая французская революция и революционная традиция в России // Великая французская революция и Россия. М., 1989. С. 227.

⁶ Слова М.Ф. Орлова. — См.: Довнар-Запольский М.В. Мемуары декабристов. Киев, 1906. С. 5. А вот, например, мнение П.Г. Каховского: "Революция во Франции, столь благотельно начатая, к несчастью, наконец, превратилась из законной в преступную". — Цит. по.: Волк С.С. Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958. С. 264. Подробнее см. также: Семенова А.В. Декабристы и Французская революция конца XVIII в. // НиНИ. 1989. № 3; Эжупт С.А. Великая французская революция и нравственные искания декабристов // Научные доклады высшей школы. Филос. науки. 1990. № 1; Парсамов В.С. Декабристы и французский либерализм. М., 2001.

⁷ См.: Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1998. С. 375. Примеч. 21.

⁸ Восстание декабристов. М., Л., 1927. Т. 4. С. 90.

В восприятии следующего поколения оппозиционно настроенной интеллигенции — разночинцев 40-х годов XIX в. — идеальный образ Французской революции приобрел уже доминирующее значение, постепенно оттеснив на второй план свой реальный прототип. Борясь против окружавшей их социальной действительности исключительно словом, участники оппозиционных кружков, в отличие от декабристов, не имели оснований в ближайшем будущем ожидать — с надеждой или с опаской — повторения революционных событий на русской почве. Соответственно, во Французской революции они видели лишь абстрактный принцип, символ отрицания, ниспровержения. "Отрицание — мой бог, — писал В.Г. Белинский другу в 1841 г. — В истории мои герои — разрушители старого — Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон..."⁹ Такое же восхищение "террористами" — Робеспьером и Сен-Жюстом — было присуще и большинству окружавших Белинского людей (И.И. Панаеву, В.П. Боткину, А.И. Герцену и др.). Оппоненты же их — те, кто не разделял подобной апологии якобинцев (например Т.Н. Грановский), восторгались другими революционными республиканцами — жирондистами.

Упоминание о "боге" в процитированной выше фразе Белинского, на мой взгляд, немного больше, чем просто метафора. Поклонение Французской революции, воплощавшей в себе принцип отрицания старого, действительно, приобрело в этой среде характер своеобразного культа, о чем А.И. Герцен позднее писал: "Культе французской революции — это первая религия молодого русского человека; кто из нас в тайне не хранил портреты Робеспьера или Дантона"¹⁰.

Во многом этот культ Революции был обусловлен тем, что сведения о ней русская интеллигенция черпала преимущественно из работ французских либеральных и социалистических историков эпохи Реставрации и Июльской монархии. Именно они в силу определенной идеологической и политической конъюнктуры, существовавшей тогда во Франции, заложили основу той идеализированной интерпретации революционных событий XVIII в., которая в XX столетии, с легкой руки английского историка А. Коббена, получит название "мифа о Французской революции"¹¹. Однако вопросом о научной обоснованности предложенной ими интерпретации русская интеллигенция не задавалась. Во-первых, своих историков Французской революции, способных вынести на сей счет профессиональное суждение, в России еще не было, а во-вторых, гораздо более важное значение имела идеологическая позиция ав-

⁹ Белинский В.Г. Собрание сочинений. М., 1982. Т. 9. С. 483.

¹⁰ Герцен А.И. Au citoyen rédacteur de l'"Homme" // Герцен А.И. Собр. соч. М., 1963. Т. 30. Кн. 2. С. 502 (оригинал по-французски).

¹¹ См.: Cobban A. The Myth of the French Revolution (1954) // Cobban A. Aspects of the French Revolution. L., 1968.

тора той или иной исторической работы, его принадлежность к "передовому" лагерю. Характерен в данной связи следующий "аргумент", выдвинутый Боткиным против Грановского: "Мнение его о Робеспьере и жирондистах совершенно противоположно мнениям всех лучших умов во Франции и Леру в особенности"¹².

Участники радикальных кружков 40-х годов не только восхищались французскими революционерами, но и прямо отождествляли себя с ними, разделившись в споре о Революции на "якобинцев" и "жирондистов". В том мире идей, мире слов, куда они уходили от неприемлемой для себя реальности и где, собственно, протекало их подлинное существование, идеальная Французская революция вновь и вновь переживалась ими как вечное настоящее.

Разумеется, из этого отнюдь не следовало, что в реальной жизни эти русские интеллигенты готовы были так же лить чужую кровь, как восхищавшие их герои. Те из участников кружков 40-х, кто дожил до рубежа 50—60-х годов, когда возникла реальная угроза того, что революция из мира абстракций вот-вот спустится на землю, осудили призывы к насилию, "к топору", выдвигавшиеся наиболее радикальными представителями нового поколения оппозиционной интеллигенции¹³.

В исторической литературе не раз рассматривался вопрос об оценках опыта Французской революции различными направлениями революционного народничества 60—70-х годов XIX в.¹⁴ Реже затрагивалась тема восприятия ее широкими слоями интеллигенции, напрямую не связанными с революционным подпольем, но в той или иной степени проникшимися оппозиционными настроениями, смутным желанием перемен. А между тем, именно среди этих людей, которым не приходилось соотносить собственную практическую деятельность с опытом революционеров XVIII в., мифологизированный образ Французской революции получил самое широкое распространение. Отношение к ней стало своего рода кодом, по которому члены этой социальной группы — "современно-образованные", "передовые" люди — узнавали друг друга. Вот как позднее вспоминал об этом профессор физики Московского университета Н.А. Любимов:

«Какое наслаждение доставлял добытый от какого-нибудь обладателя запрещенного плода, профессора или иного счастливица, на самое короткое время опасный том какой-нибудь истории революции, в котором, казалось, и заключается самая-то скрываемая

¹² Цит. по: *Белинский В.Г. Письма: В 3 т. СПб., 1914. Т. 2. С. 424.* П. Леру (1797—1871) — сенсимонист, чьи работы пользовались большой популярностью в русских радикальных кружках 40-х годов XIX в.

¹³ Подробнее см.: *Кондратьева Т. Большевики-якобинцы и призрак термидора. М., 1993. С. 30—34.*

¹⁴ См., например: Там же. С. 34—37; *Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Указ. соч. С. 245—249.*

истина. Помнишь, с какою жадностью одолевали мы в одну ночь том Мишле, Луи Блана в четыреста-пятьсот страниц... Нашим юношеским увлечениям немало содействовало то обстоятельство, что в литературных и профессорских кружках, имевших наиболее влияния на молодые умы, этот... "культ революции", если не в подробностях исполнения ее программы, то в ее началах, идеях, неотразимо-де имеющих осуществиться и отделить новый мир от старого, принадлежал к числу основных убеждений. Французские приверженцы революционного культа не из крайних называют эти начала бессмертными началами 89 года. Мы понимали их менее определенно, но шире, включая революцию как самую капитальную часть в общем понятии об историческом прогрессе. Разумели под началами этими все стремящееся и обещающее переделать неудовлетворительный существующий порядок на иновый, непременно лучший — свободу во всех видах, борьбу со всякими притеснениями, изобличение злоупотреблений, уничтожение предрассудков, словом, целый винегрет прогресса, осуществить который мешают только невежество масс, коснеющих и удерживаемых в предрассудках, а также своекорыстие людей, власть имеющих... Для большинства причислявших себя тогда к современно-образованным людям идеи эти проходили в уме легким и неясным облаком. Культ революции являлся в форме отдаленного поклонения и лишен был практического значения и силы»¹⁵.

Свидетельство тем более ценное, что его автор в зрелые годы исповедовал крайне консервативные, антиреволюционные убеждения. Однако оно во многом совпадает с воспоминаниями другого современника, человека совершенно иной судьбы — В.К. Дебогория-Мокриевича, перешедшего из такой же вольнодумной студенческой среды в революционный лагерь: "По истории французской революции переводились и популяризировались преимущественно книги авторов-дифирамбистов. Мы зачитывались ими. Наперечет знали мы имена всех героев французской революции, начиная от главарей и оканчивая второстепенными и даже третьестепенными личностями. Одним нравился Дантон, другие восторгались Камилл (sic. — А.Ч.) Демуленом. Третьи бредили Сен-Жюстом. Такова была атмосфера, в которой мы вращались в семидесятих годах, разжигая друг в друге революционный пыл"¹⁶.

Революция, подобная Французской, но не той, что имела место в реальности — с сентябрьской резней, гражданской войной в Вандее, утоплениями в Нанте, Великим террором и т.д., а той

¹⁵ Кочнев В. [Любимов Н.А.] Против течения. Беседы о революции: Наброски и очерки в разговорах двух приятелей // Русский вестник. 1880. Август. С. 613—617.

¹⁶ Дебогорий-Мокриевич В.К. Автобиография // Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989. Кол. 89.

"Французской революции", идеализированный образ которой из поколения в поколение жил в исторической памяти русской интеллигенции, почиталась не только желанной, но и неизбежной. "Кто начал жить сознательной жизнью в шестидесятых-семидесятых годах минувшего века, — вспоминал Н.И. Кареев, — тот не мог не задумываться над тем, когда и как захватит Россию в свой неудержимый поток длительная западноевропейская революция, начавшая уже со времени декабристов оказывать влияние на перемены крути нашего общества"¹⁷.

О том особом, едва ли не сакральном значении, которое придавалось "передовыми" людьми Французской революции, свидетельствует и применение по отношению к ней эпитета "великая". Вопрос о том, кто, когда и в каком контексте впервые его использовал, заслуживает отдельного исследования, однако факт остается фактом: уже с конца XIX в. в отечественной исторической литературе встречается устойчивое словосочетание "великая французская революция", не применявшееся ни в одной другой стране.

Начавшиеся в пореформенной России профессиональное изучение Французской революции не только не разрушило "культ", но еще больше его укрепило. Ничего удивительного в этом нет. Ведущие историки "русской школы", за малым исключением, принадлежали к той самой социальной группе "передовой", "современно мыслящей" интеллигенции, для которой культ Французской революции служил одним из средств самоидентификации и сплочения. Разделяя убеждения и заблуждения своей общественной среды, находясь под диктатом коллективной памяти, историки вольно или невольно, имплицитно или эксплицитно воспроизводили в своих работах тот самый миф, "научное" подтверждение которого требовала у них читающая публика.

Отсюда, впрочем, никоим образом не следует, что историки "русской школы" занимались искажением, фальсификацией фактов. Проводимые ими исследования конкретных проблем выполнялись на высочайшем профессиональном уровне и во многих случаях до сих пор не утратили научной ценности. Вместе с тем, в их обобщающих работах, рассчитанных на широкую публику, Французская революция изображалась односторонне, как своего рода праздничное действо, олицетворяющее торжество свободы над деспотизмом. При этом факты не искажались, о них просто не договаривались. Темные стороны Революции затушевывались, вопрос о ее "цене" обходилась стороной.

Сравним в этом плане два сочинения выдающегося представителя "русской школы" историографии Французской революции Е.В. Тарле — научно-популярную работу "Падение абсолютизма в Западной Европе", вышедшую в 1906 г., во время первой русской

¹⁷ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 289.

революции, и его же фундаментальное диссертационное исследование "Рабочий класс во Франции в эпоху Революции", опубликованное в 1909—1911 гг. В первой автор, сравнивая Францию конца XVIII в. и Россию начала XX в., настойчиво подталкивает читателя к выводу о том, что российская монархия так же, как в свое время французская, должна неизбежно пасть в результате революции. Суть пространных рассуждений историка, в действительности, достаточно проста: если абсолютизм "губителен" и в сфере экономики¹⁸, и в сфере политики¹⁹, то уничтожающая его революция, естественно, является бесспорным благом. В то же время практически все социальные и экономические издержки Французской революции обходятся молчанием. Из всех ее "эксцессов" упоминается только о поднятой на пику голове коменданта Бастилии, но ни слова нет ни о многочисленных актах массового насилия толпы, ни о Великом терроре. Тема Вандеи, как якобы не имеющая ни малейшего отношения к российской действительности, "снимается" одной-единственной фразой: "Вандеи у нашего абсолютизма не было и быть не могло, ибо Вандею не сочинить, как черную сотню"²⁰.

В диссертационном же исследовании, идя строго от фактов, от документов, Тарле, напротив, достаточно откровенно говорит об издержках революционных преобразований, рисуя весьма мрачную картину повседневной жизни французов и, прежде всего, социальных "низов" в период Революции. При этом историк откровенно признает, что в тяжелейшем экономическом и социальном кризисе, переживавшемся в тот момент Францией, было виновато не только и не столько временное расстройство хозяйственной жизни, неизбежно сопряженное с войной и внутренними неурядицами, сколько политика революционного правительства — "максимум", реквизиции, террор²¹. Правда, в отличие от первой работы, обращенной к широкой публике, диссертационное исследование в силу особенностей жанра было достоянием лишь узкого круга специалистов.

Подобные различия в освещении Революции одним и тем же автором в сочинениях, предназначенных разной аудитории, отнюдь не случайны. Другие либерально настроенные историки того времени в работах, рассчитанных на сколько-нибудь широкий общественный резонанс, также предпочитали обходить стороной

¹⁸ "Экономическое бедствие", "препятствие для естественно развивающейся хозяйственной жизни страны" и т.д. — Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной Европе. Исторические очерки // Тарле Е.В. Сочинения: В 12 т. М., 1958. Т. 4. С. 328, 338, 393 и далее.

¹⁹ Там же. С. 355. Подробнее о трактовке абсолютизма этим автором см. ниже главу 3.

²⁰ Там же. С. 439—440.

²¹ Тарле Е.В. Рабочий класс во Франции в эпоху Революции // Тарле Е.В. Сочинения. М., 1958. Т. 2. Гл. 5.

"неудобные" факты, способные бросить тень на идеализированный образ Революции. О вполне сознательном выборе такого ракурса освещения истории прямо пишет в своих мемуарах мэтр "русской школы" Н.И. Кареев:

«По старой традиции, воспитавшейся на более ранних историях революции (Минье и Тьера, Мишле и Луи Блана), бывших ее апологиями, прежде всего бросалась в глаза казовая, героическая, праздничная сторона революции, сделавшаяся поэтической легендой. Клятва в Jeu de paque, взятие Бастилии, ночь 4 августа, праздник федерации, "Декларация прав", "Марсельеза" — какие это, в самом деле, красивые, эффектные вещи, способные настраивать на повышенный тон. Но все это именно поэтическая, праздничная, казовая сторона революции, у которой была своя проза, свои будни, своя изнанка, рядом с героизмом, своя патология»²².

И хотя об этой "прозе" и "патологии" либеральные историки знали, писали они в основном все же о "казовой" стороне. Это, впрочем, неудивительно: стремясь внести посильный вклад в общественно-политическое движение за обновление российской действительности, они в своих выступлениях, рассчитанных на широкую публику, трактовали Французскую революцию не столько как реальное событие *прошлого*, сколько как олицетворение либерального идеала, который, мечтали они, станет *будущим* России. Н.И. Кареев так вспоминал о своей политической деятельности в период первой русской революции: «На митингах и на предвыборных собраниях выступал очень часто в самых различных помещениях, обыкновенно с изложением основных принципов (конституционно-демократической. — А.Ч.) партии, сводившихся мною главным образом к идеям "Декларации прав человека и гражданина" времен Французской революции...»²³

И уж если даже профессиональные историки были не слишком беспристрастны в освещении французских событий конца XVIII в., то, тем более, этого трудно было ожидать от публицистов и популяризаторов, активно обращавшихся к данной теме во время и после революции 1905 — 1907 гг. Рассказ об истории Французской революции служил для них поводом выразить, прямо или косвенно, свое негативное отношение к российской действительности и призвать к ее изменению революционным путем. Соответственно эти авторы пытались придать Франции Старого порядка сходство с российскими реалиями XIX — начала XX в. Так, монархию Бурбонов они упорно отождествляли с русским самодержавием (о чем речь подробно пойдет ниже, в третьей главе) и порой даже приписывали французским крестьянам веру в "короля-батюшку"²⁴. Самих же

²² Кареев Н.И. Указ. соч. С. 289.

²³ Там же. С. 235.

²⁴ Николлин Н. (Андреев Ник.) Великий переворот, или Великая французская революция. СПб., 1908. Ч. 2. С. 3.

крестьян изображали крепостными²⁵: хотя это не имело ничего общего с действительностью²⁶, но зато придавало предреволюционной Франции черты, легко узнаваемые русскими читателями.

С другой стороны, для подобного рода сочинений было характерно стремление сгладить острые углы революционной истории, "подретушировав" те ее моменты, что плохо соответствовали образу Революции как "праздника Свободы". Одним из таких моментов была печально известная сентябрьская резня в тюрьмах 1792 г., когда сотни заключенных, в большинстве своем не имевших никакого отношения к политике, были растерзаны толпой²⁷. Однако этот трагический эпизод изображался в популярных книжках о Революции следующим образом:

"Со 2-го сентября толпы народа стали ходить по тюрьмам и избивать заключенных. Убивали не всех, а по списку, заранее составленному и проверенному; не попавших в список отпускали на волю"²⁸.

"...День набора добровольцев превратился в день народного самосуда, в день кровавой расправы с монархистами, с внутренними врагами отечества. ...В одной из тюрем, в Аббатстве, была сделана попытка устроить нечто наподобие суда. Заключенные подвергались допросу. Тут же выносили обвинительный или оправдательный приговор... Парижане убивали своих врагов, чтобы защитить своих близких" (курсив мой. — А.Ч.)²⁹

Таким образом, у читателя создавалось впечатление, что имело место сугубо дозированное применение насилия, направленное против действительно виновных людей. Под пером же анонимного автора социал-демократической брошюры о Французской революции, которая после 1917 г. неоднократно переиздавалась большевиками, сентябрьская бойня и вовсе приобрела вид упорядоченного судебного процесса над преступниками:

²⁵ См.: Там же. СПб., 1907. Ч. 1. С. 10—12; Оленина М. Весна народов (Великая французская революция). Н. Новгород, 1906. С. 10, 75—76; Эфруси Е. Великая революция во Франции. М., 1908. С. 3—4. Характеристику крестьян предреволюционной Франции как крепостных или полукрепостных можно также встретить во многих публицистических и популярных работах, вышедших в России вскоре после Революции 1917 г. См., например: Стражев А.И. Как французы добыли и потеряли свою свободу (Из истории Великой революции). М., 1917. С. 7—8; Волькенштейн О.А. (Ольгович). Великая французская революция 1789 г. М., [1917]. С. 6, 19; Богданович Т.А. Великая французская революция. Л.; М., 1925. С. 5, 195.

²⁶ Подробно о статусе крестьян в предреволюционной Франции см.: Аго А.В. Крестьяне и Великая французская революция. М., 1987. Гл. 1. § 2.

²⁷ Подробно об этом событии см.: Carol P. Les Massacres de septembre. P., 1935; Bluche F. Septembre 1792. Logiques d'un massacre. P., 1986.

²⁸ Николин Н. (Андреев Ник.). Указ. соч. Ч. 2. С. 72.

²⁹ Эфруси Е. Указ. соч. С. 66—67.

"...В городских тюрьмах в то время сидело много аристократов и священников, против них обратилась месть парижского населения. 2-го сентября толпа ворвалась в тюрьмы и стала убивать преступников. Вначале убивали без всякого суда, но через несколько часов установили народный суд, который сперва рассматривал преступления обвиненных, выслушивал их защиту и только тогда постановлял приговор. Таким образом многие избежали смерти" (курсив мой. — А. Ч.)³⁰

Столь же "адресным", направленным сугубо против врагов Революции изображался и Террор 1793 — 1794 гг.:

"С бунтовщиками против республики, с аристократами поступали вообще со всей строгостью. Такую политику называют террором, то есть устрашением. ...Если бы революция не карала своих врагов, она сама стала бы жертвою смерти".

Не то что при Термидоре:

"Теперь, при буржуазном правлении, гибли массаи люди невинные, искренне преданные революции, тогда как раньше гибли предатели и подозрительные, — во всяком случае, — враги народа"³¹.

И даже те авторы, кто, в отличие от процитированного выше анонимного социал-демократа, лично не симпатизировали Террору, оправдывали тот обстоятельствами военного времени:

"Жестокость и беспощадность республиканского правительства по отношению к внутренним врагам можно объяснить лишь тем напряженным состоянием, какое переживали в то время французы"³².

"Но несмотря на весь ужас террористических мер, огромное большинство народа стояло на стороне правительства, так как видели, что иначе нет никакой возможности сохранить единство и крепость республики"³³.

Еще одна печальная страница французской истории конца XVIII в. — гражданская война в Вандее, где республиканские войска, разгромив в ожесточенной борьбе восставших крестьян, устроили по приказу революционных властей массовую бойню мирного населения. В изображении же российского популяризатора истории Французской революции эти события выглядели исключительно как военные действия с равным проявлением жестокости обеими сторонами:

"Война велась со страшной жестокостью. Пленники, попавшие в руки вандейцев, подвергались немедленному расстрелу. То

³⁰ Великая французская революция. СПб., 1906. С. 34. Мне довелось держать в руках также следующие издания данной брошюры: Москва, 1917; Москва; Петроград, 1918; Гомель, 1919, но, полагаю, это далеко не полный список ее переизданий.

³¹ Там же. С. 39, 42.

³² Эфруси Е. Указ. соч. С. 97.

³³ Николин Н. (Андреев Ник.). Указ. соч. Ч. 2. С. 95.

же самое производилось и с пленными вандейцами. После многочисленных кровопролитных стычек и битв, о которых рассказывать мы не будем здесь, восстание в Вандее было подавлено. Это случилось в декабре 1793 года..."³⁴

Характерно, что автор завершил свой рассказ о Вандее именно декабрем 1793 г. Иначе ему пришлось бы вести речь о начавшемся в январе 1794 г., уже после разгрома вооруженных сил вандейцев, карательном походе республиканских "адских колонн" против мирного населения департамента³⁵, что, несомненно, омрачило бы тот светлый образ Революции, который создавался на протяжении всей книги. Любопытно, что в приведенном пассаже, в отличие от нелепого утверждения о "заранее составленных и проверенных" сентябрьских списках, нет ни грана вымысла. Если не считать небольшого преувеличения в том, что касается "немедленного" расстрела (на самом деле пленные нередко подвергались самым чудовищным пыткам), все остальное — чистая правда. Но только очень дозированная. Настолько, что история о геноциде революционными властями населения мятежного департамента предстает в изображении литератора обычным эпизодом военных действий, хоть и очень ожесточенных. Впрочем, в цитируемых сочинениях есть пример и более "виртуозной" подачи материала, когда автор, не прибегая к откровенной фальсификации и чередуя полуправду с недоговорками, ухитряется практически полностью "заретушировать" черное пятно вандейской трагедии на лице Революции:

*"Положение восставших вандейцев было гораздо благоприятнее, нежели положение республиканской армии. Прекрасно зная местность, вандейцы быстро передвигались небольшими отрядами по узким, едва заметным тропинкам через леса, холмы и болота. Они внезапно нападали на врага, стреляя в него из-за кустов, из-за холма или плетня, и столь же неожиданно исчезали. Для республиканцев эти переходы по незнакомой местности, при отсутствии хороших дорог, были сопряжены с необычайными трудностями. Они шли большими колоннами, так как разбиваться на небольшие отряды значило бы идти на верную смерть. Неуверенно и медленно подвигались они вперед, поминутно оглядываясь во все стороны, как травленные звери. О том, чтобы передохнуть и набраться свежих сил, не могло быть и речи. Рассчитывать на гостеприимство вандейцев республиканцы, разумеется, не могли. В то время как восставшие вандейцы всюду могли найти приют и пищу, республиканцы вынуждены были повсюду тащить с собою провиант, чтобы не погибнуть от голода. Измученные телом и душой, они вымещали свою злобу на вандейцах, а те платили им той же монетой"*³⁶.

³⁴ Там же. С. 98.

³⁵ Подробнее о нем см.: *Генифе П.* Политика революционного террора, 1789—1794. М., 2003. С. 228—240.

³⁶ *Эфрусси Е.* Указ. соч. С. 89.

В принципе, спорить здесь не с чем. Автор более или менее точен в деталях. Но, произнеся столько слов, он "ухитряется" не сказать главного: трагедия Вандей состояла ведь не в том, что "измученные" трудностями похода республиканские войска "выметали злобу" на своем противнике, а в том, что они, следуя приказу революционных властей, осуществляли целенаправленное и систематическое истребление мирного населения уже после окончания активной фазы военных действий. Напротив, автор усиленно подчеркивает, что произошедшее в мятежном департаменте не вышло за пределы обычных "издержек" военного времени, поскольку, "несмотря на все эти суровые меры, междоусобная война все не прекращалась". Ну а в завершение и вовсе следует хеппи-энд:

"Лишь в 1795 г. был наконец заключен мир с вандейцами. Однако, судя по условиям мира, победа республиканцев была далеко не полная. Вандейцы, правда, согласились признать республиканское правительство. Зато они были вознаграждены за все понесенные убытки. Кроме того, их освободили от воинской повинности и возвратили им религиозную свободу"³⁷.

Автор, правда, не сказал, что мир этот не продержался и полгода, а "убытки" составляли до 25% населения Вандей.

Впрочем, все эти бегло упоминаемые и тщательно преуменьшаемые "издержки" Революции "искупались", по мнению указанных авторов, ее славными итогами, которые восхвалялись в самых восторженных выражениях:

"Значение первой Революции огромно и не только для Франции, а для всего человечества. Заветы свободы, равенства и братства, как новая вера, понеслись по всей земле"³⁸.

"Народ проснулся от векового сна, выпрямил свою согбенную спину, расправил мускулы, и старое здание произвола и насилия затрепало по всем швам и рухнуло при радостных кликах ликующего народа"³⁹.

Распространенный среди российской образованной элиты культ Французской революции стал одним из немаловажных факторов, обусловивших восторженное отношение широких слоев интеллигенции к свержению монархии. По аналогии с хорошо известным ей романтическим образом "революции-праздника" интеллигенция ждала, что таким же праздником обернется революция и в России. Подобные настроения позднее блестяще опишет В.П. Катаев в повести, насыщенной автобиографическими мотивами: "В те легендарные дни у молодежи было принято как бы немного играть во Французскую революцию, обращаясь ко всем на ты и называя гражданин или гражданка, как будто новорожденный мир русской революции состоял из Сен-Жюстов, Дантонов,

³⁷ Там же. С. 90.

³⁸ Оленина М. Указ. соч. С. 79.

³⁹ Николин Н. (Андреев Ник.). Указ. соч. Ч. 1. С. 4.

Демуленов, Маратов и Робеспьеров"⁴⁰. Во Французскую революцию "играют" едва ли не все действующие лица произведения, примеряя на себя образы ее участников. И главный герой, юноша из интеллигентной семьи, тоже оказывается захвачен "романтической революцией", видя в революции российской манящий отблеск той, другой, с детства известной ему Французской: "...Конвент ...Пале-Рояль ...Зеленая ветка Демулена. Са ира!.. и внезапно захватившая его страсть к девушке из народа, в которой он видел Теруань де Мерикур, ведущую за собой толпу санкюлотов. Красный колап и классический профиль"⁴¹. Тем страшнее, тем горше оказалось разочарование. Ожидаемый "праздник" обернулся трагедией. И не парижский Новый мост простерся перед юношей, а Сабанеевский мост в Одессе — дорога в расстрельный подвал ЧК.

Описывая это недоумение и страх, ощущение чудовищного обмана или, скорее, самообмана, В.П. Катаев ничуть не сгущает краски. Те же чувства мы находим и в публицистических произведениях того времени, принадлежавших ведущим представителям творческой элиты. «Мы поторопились назвать нашу революцию великой и сравнивали ее с великою французскою революцией, — писал Федор Сологуб в очерке "Крещение грязью" (1918). — Но вот видим, что величия в днях наших мало, и революция наша является только обезьяною великой французской революции... Та, подлинно великая, вся была воодушевлена любовью к Франции, к отечеству, и революционер чувствовал себя прежде всего патриотом. Ну а у нас, конечно, все наоборот... Огнем и кровью было то крещенье, которое несла Европе восставшая против деспотизма Франция. Гнусный бес, овладевший нами, неистово хохочет и мажет нас грязью...»⁴²

Леонид Андреев был так поражен несоответствием российских событий 1917 г. столь долго ожидавшейся революции, что даже отказал им в праве считаться таковой, определив их как Бунт. "Плохому" Бунту он противопоставил "хорошую" Революцию, в определении которой явно прослеживаются знакомые черты идеального образа революции Французской: "Лозунги Революции всегда общечеловечны. Для нее, как и для Бога, ценен всякий человек. Как сама восставшая Справедливость, она охраняет права че-

⁴⁰ Катаев В.П. Уже написан Вертер. М., 1992. С. 374.

⁴¹ Там же. С. 338—339. Ср.: "Кто из нас тогда не писал с восторгом о зеленой ветке Демулена, в те дни, когда гимназист Каннегиссер стрелял в Урицкого, а Каплан отравленной пулей — в Ленина, и не санкюлоты в красных фригийских колпаках носили на пиках головы аристократов, а рабочие Путиловского завода в старых пиджаках и кепках, перепоясанные пулеметными лентами, становились на охрану Смольного". — Катаев В.П. Алмазный мой венец. М., 1979. С. 207—208.

⁴² "В дни создаваемого ада..." Из публицистики Ф. Сологуба 1918 г. // Русская мысль. 1996. № 4145. 17—23 октября. С. 11.

ловека... Свобода, равенство и братство. Вот незыблемый закон Революции..."⁴³ Не понимая, каким образом вместо "прекрасной" Революции получился чудовищный Бунт, Андреев, как и Сологуб, тоже винит во всем "дьявола, живущего в нас": это он "ослепил и запутал, смешал все карты, в дикую гулцу превратил все лозунги и в противоестественном союзе сочетал жертву — Революцию и ее убийцу — бессмысленный, стихийный, кровавый русский Бунт"⁴⁴.

Революция 1917 г. разрушила "русский миф" о Французской революции. Мысль о том, что "доброй" революции никогда не было и во Франции, находит отражение в эмигрантской литературе разных жанров⁴⁵. Вот как, например, она прозвучала в стихах Ивана Савина:

Все это было. Путь один
У черни нынешней и прежней,
Лишь тени наших гильотин
Длинней унаи и мятежней.

Бросает поэт упрек и создателям мифа о Французской революции словами, вынесенными в эпитафию настоящей главы⁴⁶.

Однако сказать об этом можно было, только находясь за границей. В России же на смену прежнему, "русскому мифу", охранявшемуся силой мнения "передовой" интеллигенции, пришел новый, "советский миф" о Французской революции, на страже которого стояла теперь уже вся мощь государственной идеологии и репрессивного аппарата.

⁴³ Андреев Л.Н. Европа в опасности // Андреев Л.Н. Перед задачами времени. Веноп, 1987. С. 201.

⁴⁴ Там же. С. 201.

⁴⁵ См., например: Струве П. Размышления о русской революции. София, 1921; Гольденпейзер А.А. Якобинцы и большевики. Берлин, 1922.

⁴⁶ Савин И. Ладонка [1925] // Русская мысль. 1996. № 4147. 31 октября — 6 ноября.

Н.М. ЛУКИН: У ИСТОКОВ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Первоначало и еще первоначало —
вог дверь ко всем тайнам

Лао-цзы "Дао дэ цзин"

Чтобы постичь суть того или иного феномена, нередко бывает полезно поближе ознакомиться с историей его возникновения: *ad fontes!** — призывали древние. Соответственно, чтобы понять некоторые характерные особенности советской историографии Французской революции, есть смысл обратиться к творчеству "отца-основателя" советской школы исследований в данной области исторической науки — Николая Михайловича Лукина (1885—1940). Двоюродный брат Н.М. Бухарина, одного из ведущих большевистских теоретиков, сам большевик с 1904 г., принимавший участие во всех российских революциях, Н.М. Лукин уже с конца 1918 г. был брошен, говоря языком того времени, на "исторический фронт", где стал для исследователей всеобщей истории таким же "комиссаром" партии, каким для специалистов по отечественной истории был М.Н. Покровский. Уже в 20-е годы Н.М. Лукин играл ведущие роли практически во всех основных научных и учебных заведениях Москвы, занимавшихся изучением истории: на факультете общественных наук Московского университета, в Университете им. Я.М. Свердлова, в Институте истории РАНИОН, в Коммунистической академии, в Институте красной профессуры, Обществе историков-марксистов. В 1930-е, после смерти М.Н. Покровского, академик Н.М. Лукин стал наиболее высокопоставленным государственным функционером в области исторических исследований. Возглавляя Институт истории Комкадемии (с 1932 г.), а после объединения ее в 1936 г. с Академией наук — Институт истории АН СССР, он занимал также посты главного редактора журнала "Историк-марксист" (с 1933 г.) и заведующего кафедрой новой истории Московского университета (с 1934 г.). На протяжении почти 20 лет Н.М. Лукин оказывал определяющее влияние на развитие советских исследований по новой истории Запада и, в частности, по истории Французской революции XVIII в., являвшейся одним из приоритетных направлений его собственных научных изысканий.

Даже после того, как в 1938 г. Н.М. Лукин был репрессирован, его многочисленные ученики занимали ведущие позиции в академической науке вплоть до 80-х годов. Более всего это касалось ис-

* К истокам (лат.).

следователей Французской революции. Выходцы из "школы Лукина" Альберт Захарович Манфред (1906 – 1976) и Виктор Моисеевич Далин (1902 – 1985) оставались бесспорными лидерами советской историографии с 50-х годов и до конца своих дней. Мне кажется глубоко символичным то, в общем-то случайное, совпадение, что 1985 год, когда ушел из жизни последний ученик Лукина – В.М. Далин, стал первым годом "перестройки" в СССР и фактически началом конца советской историографии Французской революции¹. Разумеется, эта историография отнюдь не исчерпывалась трудами "школы Лукина", однако именно последняя задавала ей тон на протяжении всей советской эпохи.

С посмертной реабилитацией Н.М. Лукина в годы хрущевской "оттепели" его жизнь и деятельность стали темой целого ряда статей и книг. Их авторы (многие были учениками покойного академика) довольно подробно освещали биографию Н.М. Лукина и в сжатом виде знакомили читателей с содержанием его трудов. Последнее, несомненно, было необходимо, так как после ареста Н.М. Лукина его публикации были изъяты из научного оборота и в основной своей массе (за исключением вошедших в 1960 – 1962 гг. в трехтомник "Избранных трудов") оказались недоступны широкой публике. Разумеется, о каком-либо критическом анализе научного творчества Н.М. Лукина в этих биографических работах не могло быть и речи, поскольку такой анализ предполагает определенную отстраненность ученого от объекта исследования – "взгляд со стороны", а указанные авторы никоим образом не отделяли себя от заложенной Н.М. Лукиным историографической традиции, а потому находились "внутри" этого объекта. Теперь советская историография принадлежит прошлому, и сегодня, думаю, мы уже обладаем достаточной отстраненностью для того, чтобы попытаться критически проанализировать творчество одного из ее основателей, дабы понять механизм формирования советской интерпретации Французской революции.

В этой главе мы подробно рассмотрим ряд работ Н.М. Лукина о Французской революции, ставших не только главными вехами в его творчестве как исследователя данной темы, но и немаловажными рубежами его научной карьеры в целом.

* * *

Авторы биографий Н.М. Лукина практически единодушно утверждали, что к тому моменту, когда пришедшая к власти партия большевиков направила его на руководящую работу в систему преподавания и изучения истории, он был уже вполне сложившимся ученым, обладавшим солидным профессиональным опы-

¹ Подробнее см.: Чудинов А.В. Смена вех: 200-летие Революции и российская историография // ФЕ 2000. М., 2000.

том. "Его годами накопленные громадные знания в истории, — писал А.З. Манфред, — были целиком поставлены на службу революционному пролетариату"². И по мнению В.А. Гавриличева, "сразу же после революции 1917 г. он [Н.М. Лукин] выступил в качестве крупнейшего знатока Великой французской революции"³.

В подтверждение биографы Н.М. Лукина ссылались на его раннее исследование "Падение Жиронды", выполненное в период учебы на историко-филологическом факультете Московского университета и представленное в 1909 г. в качестве дипломного сочинения. Однако большинство из них с текстом этой работы знакомы не были. Долгие годы она считалась утраченной, о чем, в частности, и сам ее автор много лет спустя говорил на I Всесоюзной конференции историков-марксистов: "Я изучал падение Жиронды, но моя кандидатская работа оказалась погребенной в университетских архивах"⁴. По словам Н.М. Лукина, своим исследованием он доказывал, что "падение Жиронды надо объяснять массовым движением на почве продовольственного кризиса, который начинается с конца 1792 г. и разворачивается в начале 1793 г."⁵. Эта реплика академика позволила некоторым его биографам заключить, что в своем дипломном сочинении молодой историк "в известной степени предвосхитил Маттеза"⁶, чей классический труд "Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху Террора" увидел свет только в 1927 г.

И.С. Галкин в подтверждение высокого качества ранней работы Н.М. Лукина ссылался на мнение его научного руководителя Р.Ю. Виппера, выраженное в частной беседе: «С ним [Лукиным] было интересно и полезно заниматься. Он много читал, ценил источники, погружался в их анализ... Он увлеченно и плодотворно исследовал Французскую революцию. Его дипломное сочинение "Падение Жиронды" было свежо, оригинально»⁷. Справедливости

² Манфред А.З. Николай Михайлович Лукин // Европа в новое и новейшее время: Сборник статей памяти академика Н.М. Лукина. М., 1966. С. 8.

³ Гавриличев В.А. Н.М. Лукин и его роль в развитии советской историографии Великой французской революции // ФЕ 1964. М., 1965. С. 255.

⁴ Труды I Всесоюзной конференции историков-марксистов. М., 1930. Т. 2. С. 105.

⁵ Там же.

⁶ Далин В.М. Историки Франции XIX — XX веков. М., 1981. С. 75. Ср.: Гавриличев В.А. Указ. соч. С. 255.

⁷ Цит. по: Галкин И.С. Н.М. Лукин — революционер, ученый. М., 1984. С. 54. Любопытно, что и академик Н.М. Дружинин, вместе с Н.М. Лукиным посещавший в университете семинар Р.Ю. Виппера, спустя более полувека характеризовал бывшего однокашника в точности теми же словами: "Н.М. Лукин вспоминается мне как вдумчивый студент, всегда серьезный, погруженный в исторические источники, сосредоточенный на их научном анализе и обобщении". — Дружинин Н.М. Н.М. Лукин в большевистском подполье // Европа в новое и новейшее время. С. 49—50.

ради заметим, что это суждение 88-летний академик высказал уже в 1947 г., спустя 38 лет после того, как, прочтя дипломную работу своего ученика, поставил ему "весьма удовлетворительно" — высший балл по тогдашней шкале оценок.

И только в середине 80-х годов, словно подтверждая известный афоризм "рукописи не горят", сочинение Н.М. Лукина "Падение Жиронды" было обнаружено в Центральном государственном историческом архиве города Москвы (ныне — Центральный историко-архивный фонд города Москвы⁸) известным отечественным историографом В.А. Дунаевским. По его же инициативе были сделаны фотокопии этого документа, а затем машинописная распечатка. Работу предполагалось опубликовать в выпуске "Французского ежегодника", посвященном 200-летию юбилею Французской революции, от чего, однако, из-за большого объема рукописи (около 4 а.л.) пришлось отказаться, и фотокопии вместе с машинописным экземпляром остались в архиве редакции. В результате первое проведенное Н.М. Лукиным самостоятельное исследование так в научный оборот и не попало, а тем, кого оно могло заинтересовать, приходилось верить на слово авторам последней из его биографий, которые имели возможность ознакомиться с указанной рукописью: «Работа "Падение Жиронды" представляла собой отнюдь не ученическое сочинение, а во многих отношениях зрелое научное исследование, в котором выдвигались определенные идеи, находившие убедительное обоснование. В ней отчетливо проявилась глубокая приверженность автора марксизму»⁹.

Особо отметим последнюю часть фразы, которая требует отдельного комментария. Если в период работы над "Падением Жиронды" Н.М. Лукин еще только дебютировал как историк, то в социальном и политическом плане он был уже вполне состоявшимся человеком. Активист РСДРП, он принимал самое активное участие в первой русской революции, и к ее завершению являлся влиятельным деятелем партии — членом ее Московского комитета. Арестованный в 1907 г., он после четырехмесячного заключения был сослан в Ярославль, откуда смог вернуться в Москву только в конце 1908 г.¹⁰ Таким образом, его приверженность марксизму носила отнюдь не академический характер, а являлась убеждением опытного политического бойца.

Обратимся теперь собственно к тексту "Падения Жиронды". То, что немногочисленные историки, имевшие возможность лично ознакомиться с дипломным сочинением Н.М. Лукина, подчеркнули его приверженность марксизму, далеко не случайно.

⁸ ЦИАГМ. Ф. 418. Оп. 513. Д. 4978. Далее ссылки на этот документ даются в тексте главы.

⁹ Дунаевский В.А., Цфасман А.Б. Николай Михайлович Лукин. М., 1987. С. 27. Курсив мой — А.Ч.

¹⁰ Галкин И.С. Указ. соч. С. 48 — 52.

Именно она составляет, пожалуй, единственную оригинальную черту данной работы. Все остальные ее достоинства, априорно предполагавшиеся биографами Н.М. Лукина, обнаружить в тексте, увы, не удастся.

Это относится и к количеству привлеченных источников, и к качеству их использования. По сути, "Падение Жиронды" представляет собой реферат трех трудов французских авторов: "Истории Террора" М. Терно¹¹, "Политической истории Французской революции" А. Олара¹² и "Социалистической истории" Ж. Жореса¹³. Эпизодически встречаются также ссылки на книгу А. Лихтенберже "Социализм и французская революция"¹⁴. Иначе говоря, в том, что касается фактов, включая данные по продовольственному вопросу в первой половине 1793 г., работа Н.М. Лукина, безусловно, вторична. Если ее автор в чем-то и "предвосхитил" А. Матьеза, то ничуть не в большей степени, чем историки, на работы которых он опирался.

Круг привлеченных в "Падении Жиронды" документальных источников ограничивается собранием протоколов Якобинского клуба, изданных А. Оларом¹⁵. Правда, использование их в работе Н.М. Лукина носит скорее вспомогательный, иллюстративный характер. Но даже будучи таковым, оно, увы, произведено крайне небрежно. И дело не только в том, что, цитируя протоколы Якобинского клуба, автор постоянно ошибается с номерами страниц или одни цитаты переводит, а другие нет, и может даже, начав цитату по-русски, в середине фразы оборвать перевод и перейти на французский (А. 7об). Гораздо хуже, что он путает имена выступавших и приписывает слова П.Ж.М. Шаля П.А. Бентаболю (А. 16), Ж.М. Купс — Б. Бареру (А. 20 — 20об.), К. Демулена — А.А. Сен-Жюсту (А. 22), П.Ф.Ж. Робера — М. Робеспьеру (А. 73). Иными словами, в тексте работы при всем желании довольно трудно найти подтверждение позднему свидетельству Р.Ю. Вишпера о том, что его ученик "много читал, ценил источники, погружался в их анализ".

Впрочем, сам автор "Падения Жиронды" большой необходимости в таком "погружении", похоже, и не испытывал. В его рабо-

¹¹ Ternaux M. Histoire de la Terreur, 1792 — 1794: In 7 vols. P., 1862 — 1869.

¹² Олар А. Политическая история Французской революции. Происхождение и развитие демократии и республики (1789 — 1804). М., 1902.

¹³ Histoire Socialiste (1789 — 1900) / Sous dir. de J. Jaurès. P., 1901 — 1908. М.Н. Лукин использовал написанные Жоресом 3-й и 4-й тома, посвященные истории Конвента. Кроме того, он ссылался на русское издание первого тома этой работы: Жорес Ж. История Великой французской революции. СПб., 1907. Т. 1.

¹⁴ Лихтенберже А. Социализм и французская революция. СПб., 1907. В позднейшей отечественной историографии имя этого автора чаще транскрибируется как "Липтанберже".

¹⁵ Recueil de documents pour l'histoire du Club des Jacobins de Paris / Ed. par A. Aulard: In 6 vols. P., 1889 — 1897. Н.М. Лукин использует тома 4 и 5 этого издания.

те не ставилось какой-либо эвристической задачи, ответ на которую нужно было бы искать, анализируя источники. Уже в самом начале исследования он обозначил жесткую методологическую схему объяснения конфликта между жирондистами и якобинцами как конфликта классового. В основе его, согласно Н.М. Лукину, лежало противоречие между "крупной буржуазией", представленной жирондистами, и "народными низами" ("мелкой буржуазией и пролетариатом"), на которых опирались якобинцы. По отношению к данной схеме собственно факты играли сузубо подчиненную роль и приводились автором скорее для иллюстрации, нежели обоснования. Поэтому-то для него и не имело принципиального значения, откуда — из источников или из работ других историков — черпать фактический материал, выступавший своего рода "наполнителем" изначально заданной методологической формы. И даже если подобный материал сопротивлялся жестким рамкам схемы, это никоим образом не побуждало автора к ее изменению, что вызывало определенные логические противоречия в содержании работы. Приведу некоторые примеры.

Наиболее ярко, по мнению Н.М. Лукина, связь Жиронды с "крупной буржуазией" проявилась при обсуждении проекта отправки из департаментов в Париж стражи для охраны Конвента, а также в ходе процесса над королем (Л. 73).

Говоря о дискуссии по первому из этих вопросов, М.Н. Лукин цитирует выступления Барбару и Бюзо, предлагавших набирать департаментскую стражу из людей, достаточно состоятельных, чтобы самостоятельно экипироваться и некоторое время прожить в столице за свой счет. Отсюда следует вывод: "Итак, проект Жиронды создать вооруженную охрану Конвента является попыткой опереться на крупную буржуазию, враждебно относившуюся к дальнейшему развитию революции, против революционного Парижа, где преобладали низшие и средние слои общества" (Л. 13об.). Правда, тут же автору приходится объяснять, почему отряды федератов, созданные в департаментах якобы "контрреволюционной крупной буржуазией", вскоре по прибытии в Париж поддержали монтаньяров. Объяснение это, надо признать, несколько смахивает на словесную эквилибристику: "Изменение в настроении федератов, совершившееся в революционной атмосфере Парижа, еще ничего не говорит о непрочности контрреволюционного настроения в тех общественных слоях, которые они представляли" (Л. 14). Иначе говоря, никакие проявления со стороны федератов революционной экзальтации не способны повлиять на изначально заданный автором тезис о том, что "крупная буржуазия", которую они "представляли", была "контрреволюционной".

Не менее произвольно молодой историк обращается с фактами, доказывая, что и в процессе над королем позиция жирондистов отражала интересы все той же "крупной буржуазии". Цитируя выступление Верньо, где лидер жирондистов предложил

воздержаться от казни короля, дабы не спровоцировать вступление в войну против Франции новых держав, что неизбежно привело бы к подрыву французской торговли и падению курса ассигнатов, Н.М. Лукин заключает:

"Когда читаешь эту речь Верньо, кажется, что говорит сама блестящая торговая буржуазия Бордо, представителем которой был знаменитый оратор Жиронды. В самом деле: лейтмотив его речи — опасение за благосостояние французской торговли и за устойчивость государственных финансов. Но опасения, высказанные Верньо, могли тревожить, прежде всего, крупную торговую и промышленную буржуазию..." (Л. 31-31об.).

При этом автор не замечает, что противоречит самому себе, ведь не далее как на первых страницах своей работы он констатировал, что расстройство государственных финансов и падение курса ассигнатов "должно было особенно тяжело отозваться на положении народных масс" (Л. 5об.). Впрочем, едва ли не на следующей странице после приведенной выше оценки речи Верньо Н.М. Лукин опять замечает, что "заминка в промышленности и дороговизна продуктов, вызванная падением курса ассигнаций, спекуляцией с бумажными деньгами и войной", вела к "прогрессивному ухудшению материального положения парижской бедноты" (Л. 32). То есть и этот аргумент в пользу того, что жирондисты защищали интересы "крупной буржуазии", оказывается с точки зрения логики далеко не безупречным.

Впрочем, это далеко не единственное противоречие работы. Стремление во что бы то ни стало найти классовую подоплеку в политических событиях порою приводит автора к весьма парадоксальным заключениям. Так, широко заимствуя из книги А. Олара фактический материал, свидетельствующий о столкновении интересов столицы и провинции, лежавшем, по мнению французского историка, в основе конфликта монтаньяров и жирондистов, и механически прикладывая к этому материалу схему классового подхода, Н.М. Лукин рисует совершенно удивительную картину, где территориальное деление Франции фактически совпадает с классовым:

"Якобинцы может быть инстинктивно уже чувствовали, что эта тяжба между Парижем и департаментами означает нечто большее. Так, например, Фабр видит в ее осуществлении зародыш гражданской войны...; и мы могли бы добавить — громадной войны между различными классами французского общества. В самом деле, жирондисты боялись Парижа; но какого Парижа? — Парижа народных низов: медкой буржуазии и пролетариата... Против этих общественных групп Жиронда могла апеллировать только к общественным верхам: крупной буржуазии провинциальных городов и землевладельцам" (Л. 12-12об.).

Любопытно, что ни одна из работ французских историков, на которые опирался Н.М. Лукин, не дает никаких фактических оснований для столь упрощенной трактовки проблемы в духе наив-

ного социологизма. Впрочем, автор "Падения Жиронды" явно не придавал большого значения возможному несоответствию фактов принятой им методологической схемы. Его марксизм носил ярко выраженный догматический оттенок, это был скорее марксизм пропагандиста (кстати, именно такую функцию Н.М. Лукин выполнял в своей партии), нежели исследователя.

Такое отношение к марксизму хорошо видно в полемике Н.М. Лукина с Ж. Жоресом. Последний тоже был не чужд марксистской методологии объяснения истории и считал К. Маркса (наряду с Ж. Мишле и Плутархом) мыслителем, оказавшим на него, Жореса, наибольшее влияние. При этом воззрениям французского историка были свойственны значительная гибкость и плюрализм. Далекий от жесткого экономического детерминизма, он готов был искать объяснения тех или иных исторических явлений не только в сфере экономики, но и в области политики (за которой признавал известную автономию по отношению к экономике), культуры, социальной психологии. Так, в борьбе Горы и Жиронды он видел, прежде всего, столкновение политических партий, а не классов, поскольку между социальными концепциями монтаньяров и жирондистов не было принципиальных различий.

Подобный взгляд на вещи вызывает у Н.М. Лукина резкое неприятие, ведь всякое отступление от экономического детерминизма оставляет лазейку для проникновения в историю случайного, а значит, угрожает вере в непреложное действие открытых Марксом исторических законов. Отповедь следует незамедлительно:

«...Соображения Жореса, действительно, следует признать "поверхностными". Ведь все эти объяснения в лучшем случае могут доказать, почему вокруг Роланов сгруппировались определенные личности..., но политическое поведение жирондистской партии остается чем-то случайным. Конечно, во всякой политической борьбе проявляются человеческие страсти, но они всегда лишь отражают более глубокие конфликты, лежащие в самой общественной жизни, в взаимоотношении различных классов. В общем, точку зрения Жореса можно назвать невыдержанной и противоречивой» (Л. 69об. — 70).

Чем же интересна для нас первая научная работа Н.М. Лукина? Нужно ли нам было уделять столько внимания этому квалификационному сочинению, так и оставшемуся неопубликованным? Убежден, что нужно. Во-первых, анализ этого текста позволяет нам выявить некоторые особенности исследовательского почерка его автора, которые, как мы увидим дальше, проявились и в более поздних его трудах. А во-вторых, к тому времени, когда Н.М. Лукин стал "одним из зачинателей советской исторической школы"¹⁶, других научных работ, кроме "Падения Жиронды", у него и не было.

¹⁶ Манфред А.З. Указ. соч. С. 7.

Первая опубликованная научная работа Н.М. Лукина была также посвящена Французской революции. Книга "Максимилиан Робеспьер" вышла в 1919 г., а пять лет спустя увидело свет ее дополненное и переработанное издание.

Жанр этого сочинения разные авторы определяли по-разному. Сам Н.М. Лукин вполне отдавал себе отчет в его популярном характере и в общем-то не претендовал на то, что написал исследование. Об этом, на мой взгляд, свидетельствует его реплика в предисловии ко второму изданию, где он отмечает, что книгой "пользовались и пользуются как учебным пособием в наших комуниверситетах и партшколах второй ступени"¹⁷. Однако в позднейшей советской историографии ее, напротив, неизменно трактовали как первую опубликованную исследовательскую работу Н.М. Лукина. Так, по мнению В.М. Далина, она, "будучи доступной широкому кругу читателей, являлась вместе с тем законченным научно-исследовательским очерком, написанным по первоисточникам"¹⁸. Почти дословно повторил эту оценку и В.А. Гавриличев: "...Книга, будучи доступной широкому кругу читателей, была оригинальным исследованием, основанным на изучении первоисточников"¹⁹. Как "первый большой научный труд ученого" определяли ее В.А. Дунаевский и А.Б. Цфасман²⁰.

Почему же в исторической литературе возникло подобное расхождение в оценках жанра данной работы? Возможно, повод этому дала следующая фраза Н.М. Лукина из упомянутого предисловия: "Популярный характер книжки сохранен, хотя у автора было большое искушение придать ей характер научного исследования. Впрочем, специалисты-историки без труда, вероятно, заметят, что работа в значительной степени написана на основании изучения первоисточников"²¹.

В списке использованных источников и литературы, приложенном автором ко второму изданию "Максимилиана Робеспьера"²², действительно, приведен ряд публикаций документов. Это и упоминавшееся выше издание протоколов Якобинского клуба под редакцией А. Олара (тома 3—6), и газета *Moniteur Universel* за 1792—1794 гг., и полное собрание французских законов под редак-

¹⁷ Лукин Н.М. Максимилиан Робеспьер // Лукин Н.М. Избранные труды. С. 16. Курсив мой. — А.Ч.

¹⁸ Далин В.М. Николай Михайлович Лукин // Лукин Н.М. Избранные труды: В 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 7.

¹⁹ Гавриличев В.А. Указ. соч. С. 257.

²⁰ Дунаевский В.А., Цфасман А.Б. Указ. соч. С. 65.

²¹ Лукин Н.М. Максимилиан Робеспьер. С. 16.

²² См.: Там же. С. 155—156.

цией Ж. Дювержье²³, и знаменитая "Парламентская история Французской революции" П. Бюше и П. Ру²⁴, и собрание парламентских протоколов²⁵.

Однако означает ли это, что книга и в самом деле была выполнена в жанре научного исследования? Внимательное ознакомление с ее текстом заставляет усомниться в правомерности такого вывода. И дело отнюдь не в отсутствии научного аппарата. В конце концов, историографии известно немало работ, выходящих без подстрочных ссылок, тем не менее считавшихся исследовательскими, например "Социалистическая история французской революции" Ж. Жореса. Решающее значение для определения той или иной работы в качестве исследовательской имеет не наличие в ней научного аппарата, хотя его отсутствие, конечно, затрудняет оценку обоснованности выводов автора, а соответствие самого ее содержания законам жанра исследования. В отличие от популяризатора, чья задача состоит в занимательном и доступном широкому читателю изложении уже готовых результатов своих или чужих изысканий, исследователь имеет дело с еще нерешенной научной проблемой и решает ее путем анализа источников. Иными словами, механизм любого исторического исследования, в конечном счете, сводится к цепочке операций: постановка проблемы — анализ источников — решение проблемы. В книге же Н.М. Лукина "Максимилиан Робеспьер" подобный механизм, увы, отсутствует.

Само по себе привлечение источников еще не делает работу исследованием. Важно, чтобы их выбор отвечал поставленной задаче. А какую задачу можно было бы решить на основе очерченного выше круга источников? В подавляющем своем большинстве эти документы отражают перипетии политической жизни, причем в основном Парижа, или, если еще точнее, работу центральных органов власти. Соответственно, подобный круг источников вполне мог бы стать основой для изучения публичной стороны политической, прежде всего парламентской, деятельности Робеспьера. Так, из этих документов можно узнать, что он говорил по тому или иному поводу в Конвенте или Якобинском клубе и какие отклики в данной аудитории получило его выступление. О внутренней же подоплеке событий, к примеру о борьбе мнений внутри Комитета общественного спасения, по этим источникам судить уже трудно.

Однако к тому времени, когда Н.М. Лукин приступил к работе над своей книгой, политическая биография Робеспьера была уже достаточно подробно изучена французскими исследователя-

²³ *Duvergier J. Collection complète des lois, décrets, ordonnances, avis du Conseil d'Etat. P., 1824 — 1878.*

²⁴ *Buchez P., Roux P. Histoire parlementaire de la Révolution française. P., 1834 — 1838.*

²⁵ *Archives parlementaires de 1787 à 1860, recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Sér. I. P., 1867 — 1896.*

ми, в частности Э. Амелем, А. Оларом и А. Матъезом, причем на основе несравнимо более широкого круга источников, чем те, которые имелись в распоряжении советского историка. Впрочем, состязаться с ними он и не пытался. Работы Э. Амеля, А. Олара и А. Матъеза, так же, как и ряд других наиболее значимых трудов о Революции, вышедших на русском и французском языках в конце XIX — начале XX в., Н.М. Лукин знал, в списке литературы упомянул и, скорей всего, использовал, рисуя общую канву жизни и политической деятельности своего героя. Во всяком случае, ничего нового в этом отношении он, по сравнению с указанными историками, не сообщил, а материал собственно источников если и привлекал, то исключительно в иллюстративных целях: время от времени в тексте встречаются цитаты из выступлений Робеспьера, приводимые практически без какого-либо критического комментария.

Впрочем, книга Н.М. Лукина обладала и ярко выраженными оригинальными чертами, существенно отличающими ее от трудов большинства современных ему историков. Эта оригинальность определялась столь же последовательным применением автором классового подхода, как и в "Падении Жиронды". По сути, кроме Робеспьера, в сочинении Н.М. Лукина нет живых людей. На изображенной историком сцене Революции действуют некие абстрактные фигуры — "классы", "социальные слои", "массы", среди которых мечется одинокая фигура Неподкупного. Если другие деятели Революции изредка и упоминаются, то исключительно как представители определенных "партий", которые, в свою очередь, "выражали интересы" тех или иных "классов" или "слоев". Так, фейянов (фельянов), по утверждению автора книги, "поддерживала умеренно-либеральная финансовая буржуазия и фабриканты, производившие предметы роскоши"²⁶. Жирондисты представляли "наиболее прогрессивную крупную торгово-промышленную буржуазию провинциальных городов", "крупных хлеботорговцев и зажиточных сельских хозяев"²⁷. Дантонисты были представителями интересов буржуазной интеллигенции — журналистов, врачей, адвокатов, молодых ученых, артистов и художников"²⁸. Группа Шометта представляла в Коммуне интересы беднейшей мелкой буржуазии"²⁹. "Бешеные" олицетворялись "на рабочих-кустарей, ремесленных подмастерьев, вообще на людей без собственности, городскую бедноту"³⁰.

Хотя, в отличие от схематичных изображений других деятелей Революции, портрет Робеспьера написан Н.М. Лукиным достаточ-

²⁶ Лукин Н.М. Максимилиан Робеспьер. С. 58.

²⁷ Там же. С. 58, 61, 63, 76, 83.

²⁸ Там же. С. 129.

²⁹ Там же. С. 133.

³⁰ Там же. С. 134.

но подробно, с прорисовкой определенных индивидуальных черт, все же роль Неподкупного в Революции он также во многом сводит к выполнению аналогичных "представительских функций". Робеспьер для него, прежде всего, "типичный представитель" якобинцев — "партии мелкой буржуазии"³¹. На протяжении всей книги Н.М. Лукин не раз подчеркивает, что позиция якобинцев и их лидера Робеспьера по тем или иным вопросам политики определялась исключительно интересами их "классовой опоры", которую автор характеризует с разной степенью конкретизации — от абстрактных "мелкой буржуазии" или "городской и сельской демократии" до более определенных социальных категорий — "мелкие фермеры и крестьяне, производившие на рынок", "самостоятельные мастера, мелкие лавочники и хозяйственные мужички"³².

Такой, возведенный в абсолют классовый подход, когда роль *отдельной личности в истории сводится исключительно к выражению и проведению в жизнь интересов некоего "класса"*, был для Н.М. Лукина принципиальной позицией. Именно подобный подход, считал он, должен отличать "современного историка, стоящего на точке зрения пролетариата", от всех остальных: "Для него Робеспьер прежде всего — представитель определенного класса. Чисто личные, индивидуальные черты вождя революции всегда будут у него на втором плане, и не на них он будет строить свои заключения. Роль Робеспьера в революции будет оцениваться с точки зрения тех объективных исторических условий, в которых развертывалась Великая революция, с точки зрения тех исторических задач, выполнение которых выпало на долю его социальной группы — мелкой французской буржуазии конца XVIII в."³³.

Однако установить путем исторического исследования подобную классовую подоплеку деятельности хотя бы одного из видных участников Французской революции — задача технически весьма сложная и трудоемкая, если вообще решаемая. Тот историк, кому удалось бы с ней справиться, несомненно, заслуживал бы самой высокой профессиональной оценки. Действительно, ему пришлось бы сначала *доказать*, что та или иная из подобных социальных категорий — "мелкая буржуазия" или, к примеру, "хозяйственные мужички" — представляла собой не абстрактную категорию, а вполне реальную общественную группу, достаточно гомогенную для того, чтобы иметь свои особые, специфические интересы, не только разделяемые всеми ее членами, но и осознаваемые как таковые (ведь только осознавая их, можно было бы поддерживать "партию", выражающую эти интересы). Далее, этот историк должен был бы доказать, что данная "партия" такие интересы и в самом деле выражала.

³¹ Там же. С. 132.

³² Там же. С. 75, 90 — 91, 98.

³³ Там же. С. 149.

Впрочем, можно сколько угодно размышлять о том, что еще пришлось бы сделать этому гипотетическому историку, поставившему себе подобную исследовательскую задачу, для нас важно то, что в работе Н.М. Лукина она не только не была решена, но и не ставилась. Все его рассуждения на сей счет носили сугубо аксиоматический характер. Читателю фактически предлагалось верить автору на слово, что во Франции XVIII в. такие "классы" и "социальные группы", действительно, существовали и что соответствующие "партии" на них опирались.

Описывая "крайности социологизирования" в общественных науках 20-х годов, А.З. Манфред приводит в пример одного литературоведа, который "связывал романтический пессимизм героев поэзии Лермонтова с падением цен на зерно на европейском рынке"³⁴. Однако, в сравнении с концепцией работы Н.М. Лукина "Максимилиан Робеспьер", рассуждения этого литературоведа смотрятся все же несколько более убедительно, ибо, в конце концов, он говорит о двух вполне достоверных фактах, которые сами по себе в дополнительных доказательствах не нуждаются: с одной стороны, романтический пессимизм героев Лермонтова, с другой — падение цен на зерно. Сомнение вызывает лишь произвольная констатация причинно-следственной связи между этими фактами.

В отличие же от указанного литературоведа, Н.М. Лукин оперирует не фактами, а некими абстрактными категориями ("мелкая буржуазия", "сельская демократия" и т.д.), связь которых с социальной реальностью отнюдь не очевидна и сама по себе еще нуждается в доказательстве. Тем не менее поверх одной абстракции выстраивается другая — столь же аксиоматическое утверждение о детерминации действий лиц и "партий", участвовавших в Революции, некими "интересами" вышеупомянутых умозрительных сущностей, поверить в реальность которых читателю и так уже предложили на слово.

Как видим, эта работа Н.М. Лукина выстроена по той же самой схеме, что и "Падение Жиронды": изначально задается жесткая теоретическая конструкция, наполняемая затем фактическим материалом. По сути, это практически та же самая конструкция, которую Н.М. Лукин использовал и в своем дипломном сочинении. Только если там она применялась для интерпретации лишь одного из эпизодов Революции, то теперь экстраполирована на революционный период в целом. Причем некоторые ее элементы перенесены из одной работы в другую практически в неизменном виде. Это, в частности, относится к упоминавшейся выше трактовке конфликта между жирондистами и монтаньярами как классового противостояния крупной и мелкой буржуазии. А чтобы объяс-

³⁴ Манфред А.З. Указ. соч. С. 6, примеч. 2.

нить, почему жирондистов больше поддерживала провинция, а монтаньяров — Париж, Н.М. Лукин опять аксиоматически формулирует свой прежний тезис: Париж в конце XVIII в. — “типичный мелкобуржуазный город”³⁵; напротив, “крупные предприниматели и оптовые торговцы” — “внушительная социальная сила преимущественно в крупных провинциальных центрах”³⁶. Автор, похоже, не замечает, что его тезис о “мелкобуржуазности” столицы Франции довольно слабо согласуется с теми фактами, которые он сам же приводит, видимо, по работам других историков:

“Ее [буржуазии] золотую верхушку составляли банкиры, снабжавшие правительство деньгами, откупщики налогов, пайщики привилегированных торговых компаний ... Вся эта масса государственных кредиторов, чтобы быть в курсе всех перемен в политике, жила постоянно в Париже”.

“За последние годы перед революцией в Париже и других больших городах наблюдалась настоящая строительная горячка; целые кварталы с тесными кривыми улочками заменялись прямыми широкими проспектами с большими домами, принадлежавшими преимущественно буржуазии... Возник богатый слой домовладельческой буржуазии, почти отвоевавшей Париж у знати и духовенства”³⁷.

Следуя априорно заданной схеме объяснения Революции, автор “Максимилиана Робеспьера” не придает большого значения не только логической согласованности приводимых им сведений, но и хронологии изложения. В ряде случаев он даже допускает хронологические инверсии, трактуя более поздние события как причину более ранних. Так, сентябрьскую резню в тюрьмах 1792 г. он интерпретирует как стихийный ответ парижан на... “контрреволюционное восстание в Вандее”³⁸, которое, в действительности, началось лишь в марте 1793 г. А вот как описывается история разрыва между Дантоном и Робеспьером:

“...К концу 1793 г. республиканские войска стали одерживать крупные успехи над армиями коалиции; удалось разгромить и важнейшие очаги контрреволюции внутри страны. Дантонистам казалось, что при таких условиях революцию можно считать законченной, что пора перейти от диктатуры мелкой буржуазии и системы террора к нормальным конституционным порядкам... В отрицании необходимости дальнейшего террора Дантон решительно разошелся с Робеспьером. Разрыв с якобинцами означал устранение от власти: Дантон, до сих пор самый влиятельный член правительства, не был избран во второй Комитет общественного спасения (10 июля 1793 г.)”³⁹.

³⁵ Лукин Н.М. Максимилиан Робеспьер. С. 35.

³⁶ Там же. С. 21.

³⁷ Там же. С. 20—21.

³⁸ Там же. С. 71—72.

³⁹ Там же. С. 130—131. Курсив мой. — А.Ч.

Подобные противоречия в изложении событий и в хронологии — а перечень их не ограничивается перечисленными выше — нельзя, на мой взгляд, объяснить якобы незнанием автором фактического материала. Речь ведь здесь идет не о расхождениях, например, между его выводами и данными источников, а о внутренних противоречиях работы — противоречиях между разными частями единого текста, когда одна из них опровергает другую. Думаю, это скорее свидетельствует о том малом значении, которое для автора имеет сам фактический материал. На первом месте для него стоит теоретическая схема интерпретации событий, и никакие факты, даже если они в нее не вписываются, не могут заставить его что-либо в ней изменить.

Вот почему, несмотря на привлечение Н.М. Лукиным при написании "Максимилиана Робеспьера" определенного круга источников, эта книга мало похожа на научное исследование. Ее жанр можно определить как историко-публицистический. Созданная в годы гражданской войны, она имела целью, с одной стороны, познакомить широкие круги читателей с французским революционным прецедентом, к которому большевистская пропаганда активно обращалась для исторической легитимации советской власти, с другой — популяризировала марксистскую интерпретацию истории, которая должна была доказать неизбежность и объективную закономерность победы большевиков.

О подобном характере книги Н.М. Лукина свидетельствуют и присутствующие в ней многочисленные анахронизмы, которые должны были убедить читателей в сходстве французских событий конца XVIII в. с реалиями российской революции. В предыдущей главе мы уже видели, как аналогичный метод использовался русской публицистикой времен революции 1905—1907 гг. Тем же путем шел и автор "Максимилиана Робеспьера". Правые депутаты Национального собрания превратились под его пером во "французских черносотенцев" и "сторонников неограниченного самодержавия", неприягнувшие священники — в "черносотенных попов", Эбер — в "анархиста-индивидуалиста"⁴⁰. Франция во время революции, оказывается, "сбросила иго самодержавия"⁴¹, а "в департаменте Жиронды буржуазия организовала войско из белогвардейцев"⁴². Во французской деревне XVIII в. разворачивался конфликт между "кулаками" и "бедняками"⁴³, причем "кулацкие элементы" активно сопротивлялись продовольственной "разверстке"⁴⁴.

Тем не менее, несмотря на столь ярко выраженный публицистический характер, книга "Максимилиан Робеспьер" оказала

⁴⁰ Там же. С. 40, 58, 62, 134.

⁴¹ Там же. С. 65. "Королевское самодержавие" присутствует и на с. 113.

⁴² Там же. С. 107.

⁴³ Там же. С. 61, 127.

⁴⁴ Там же. С. 124.

большое влияние на развитие советской историографии, став первой после 1917 г. обобщающей работой отечественного автора о Французской революции. Именно по этому сочинению молодые советские историки усваивали в 20-е и 30-е годы основы марксистско-ленинской интерпретации французских событий конца XVIII в.

* * *

И все же главным вкладом Н.М. Лукина в изучение Французской революции XVIII в. специалисты по данной теме считают не эту книгу о Робеспьере, а две статьи об аграрной политике Конвента, увидевшие свет в 1930 г.⁴⁵ Даже спустя более полувека после их появления известный отечественный историк-франковед А.В. Адо отмечал: "До сих пор они остаются лучшим общим исследованием этой важной проблемы"⁴⁶.

Думаю, указанные статьи столь долго сохраняли свою научную актуальность во многом потому, что в основу их легли материалы французских архивов, собранные Н.М. Лукиным в ходе научной командировки 1928 г. Если для историков "русской школы" продолжительные поездки во Францию для работы в архивах были до 1917 г. нормой профессиональной жизни, то советские франковеды получили возможность побывать в изучаемой стране лишь в конце 20-х годов. Да и то чуть приоткрывшаяся калитка в "железном занавесе" вскоре захлопнулась почти на тридцать лет. Впрочем, и после того, как "оттепель" привела к возобновлению зарубежных командировок, они оставались уделом лишь немногих избранных. И такая ситуация сохранялась практически до самого конца советской власти. Еще относительно недавно, на заседании "круглого стола" 1988 г., ставшего важнейшей вехой на пути становления современной российской историографии Французской революции, один из представителей старшего поколения исследователей грустно констатировал: "Французские архивы нам недоступны и еще долго будут недоступны"⁴⁷. К счастью, он

⁴⁵ Лукин Н.М. Борьба классов во французской деревне и продовольственная политика Конвента в период действия второго и третьего максимума (сентябрь 1793 г. — декабрь 1794 г.) // Историк-марксист. 1930. Т. 16; Он же. Революционное правительство и сельскохозяйственные рабочие в период действия второго и третьего максимума // На боевом посту: Сб. к 60-летию Д.Б. Рязанова. М., 1930. В 1960 г. обе статьи вошли в 1-й том "Избранных трудов" Н.М. Лукина и далее цитируются именно по этому изданию.

⁴⁶ Адо А.В. Крестьяне и Великая французская революция. М., 1987. С. 14.

⁴⁷ Сытин С.А. Революция в контексте XVIII в. // Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции (материалы "круглого стола" 19–20 сентября 1988 г.). М., 1989. С. 52.

ошибся, но его реплика позволяет понять, почему число работ, написанных советскими историками на основе французских архивных материалов, можно пересчитать буквально по пальцам. Неудивительно, что такие исследования привлекали к себе повышенное внимание коллег и ценились ими особенно высоко.

Но даже если абстрагироваться от всех привходящих моментов и оценивать "аграрные" статьи Н.М. Лукина только по научным критериям, нельзя не заметить, что они, и в самом деле, разительно отличаются в лучшую сторону от написанного им ранее. Конечно, и к ним можно предъявить определенные претензии. Так, далеко не бесспорна примененная автором "методология примеров"⁴⁸, когда на основе трех-четырёх частных фактов, относившихся к той или иной коммуне, реже к тому или иному департаменту, делались выводы о ситуации во Франции в целом. Не безупречен и научный аппарат этих статей: часть ссылок на архивные фонды практически не несет смысловой нагрузки, выполняя чисто "декоративную" функцию. Например, говоря о недостатке в 1793 г. рабочих рук в департаменте Нор, Н.М. Лукин ссылается не на конкретные документы, а сразу на 20 (!) картонов Национального архива⁴⁹. Учитывая, что в каждом из таких картонов обычно содержится по несколько десятков, а то и сотен единиц хранения, подобная ссылка имеет более чем относительную информативную ценность. Однако все эти частные недостатки "аграрных статей" Н.М. Лукина во многом компенсируются их главным достоинством — обильной насыщенностью фактическим материалом, который позволяет читателю получить довольно яркое впечатление о многих реалиях жизни французской деревни периода Революции.

Опыт работы с первоисточниками побудил автора, в частности, к расширению диапазона используемой терминологии. Если в своих предшествующих работах Н.М. Лукин, касаясь аграрных отношений, обозначал сельских производителей собирательным понятием "крестьянство" — понятием абстрактным и в официальных документах XVIII в. практически не применявшимся, то в указанных статьях он уже использует термины, которыми современники на деле обозначали различные категории земледельцев: *fermiers, laboureurs, cultivateurs, manouvriers, journaliers* и т.д. Подобная диверсификация понятийного аппарата, так же, как и широкое привлечение источников, позволяют автору нарисовать гораздо более многогранную, насыщенную характерными деталями, более объемную картину жизни французской деревни революционной эпохи, нежели та, что была представлена, к примеру, в "Максимилиане Робеспьере".

⁴⁸ Этот термин, довольно удачно, на мой взгляд, характеризующий подобный подход, я заимствовал у С.А. Сытина. См.: *Сытин С.А.* Указ. соч. С. 52.

⁴⁹ См.: *Лукин Н.М.* Революционное правительство... С. 233, примеч. 11.

Однако если воссоздание такой картины, несомненно, можно оценить как важное достоинство "аграрных" статей Н.М. Лукина, то, увы, того же нельзя сказать об ее интерпретации автором. Более того, при внимательном прочтении указанных работ складывается впечатление, что описание фактов и их объяснение находятся в совершенно разных плоскостях, существуют независимо друг от друга. А все потому, что и здесь, как и в более ранних трудах, Н.М. Лукин в своих рассуждениях идет не от фактов, а от заранее заданной теоретической схемы. И так же, как и там, факты сопротивляются ей, ну а поскольку на сей раз они представлены в гораздо большем объеме, это сопротивление особенно бросается в глаза. Впрочем, обо всем по порядку.

"Аграрные" статьи Н.М. Лукина предваряются ремаркой о том, что они являются частью готовящейся автором работы "Крестьянство и продовольственная политика революционного правительства"⁵⁰. Выбор этой темы, думаю, был обусловлен не только научными соображениями. После того, как в 1927 г. XV съезд ВКП(б) провозгласил курс на коллективизацию сельского хозяйства, вопросы аграрной политики приобрели приоритетное значение для коммунистического режима. Политико-правовые меры в аграрной сфере сопровождались мощной пропагандистской кампанией. Ну а поскольку исторический опыт Французской революции традиционно служил для большевистской пропаганды неисчерпаемым источником аргументации в пользу самых разных поворотов политики, логично предположить, что, помимо чисто научных мотивов, такой закаленный "боец идеологического фронта", как Н.М. Лукин, в немалой степени руководствовался при выборе темы исследования и ее политической актуальностью. Во всяком случае, именно на эту мысль наводит предложенная им схема объяснения событий во Французской деревне периода Революции.

Казалось бы, что может быть общего между коллективизацией в СССР и аграрной политикой Конвента? Действительно, почти ничего. Однако ссылки большевистской пропаганды на опыт Французской революции отличались известной гибкостью: его упоминали как в положительном, так и в отрицательном контексте. Сходство в определенных аспектах между якобинской политикой и политикой большевиков использовалось для легитимации последней. Напротив, для оправдания действий, не имевших прецедента во Французской революции, провозглашалось, что якобинцы потому, в конечном счете, и потерпели поражение, что не поступили в данном отношении так, как теперь поступают большевики. Именно такое "негативное цитирование" якобинского опыта и составляло идеологическую сверхзадачу "аграрных" статей Н.М. Лукина. С 1917 г. лейтмотивом политики большевиков по отношению к крестьянству, при всех ее поворотах, неизменно оста-

⁵⁰ Там же. С. 230, примеч. 1.

валась "опора на бедняка", и Н.М. Лукин постарался доказать, что "одной из важнейших предпосылок" падения якобинцев как раз и оказалась их неспособность заручиться поддержкой "деревенских пролетариев и полупролетариев". С этой изначально заданной идеологической схемой автор статей подошел к интерпретации фактов, почерпнутых из источников.

Любое сопоставление двух объектов или явлений, пусть даже подразумеваемое, предполагает наличие некоей общей системы координат, в рамках которой только и возможно такое сравнение. Стремясь задать подобную систему координат, Н.М. Лукин применил к французской деревне XVIII в. принятое в Советской России деление крестьян на "сельскую буржуазию" (кулаки), "мелкую буржуазию" (середняки) и "сельский пролетариат" (бедняки). Но в источниках, на которые он опирался, таких понятий нет. Там представлена, как уже выше сказано, совершенно иная, гораздо более сложная и более дробная "сетка" категорий сельского населения. Тем не менее Н.М. Лукин чисто механически наложил марксистскую социологическую схему на те реалии, о которых повествуют источники, и просто разделил различные, исторически существовавшие категории сельского населения Франции по трем указанным классам: в "сельскую буржуазию" у него попадали *cultivateurs aisés, riches propriétaires, gros fermiers, propriétaires en gros*; в "среднее крестьянство" — *cultivateurs, laboureurs, pauvres fermiers*; в "пролетарии и полупролетарии" — *petits cultivateurs, ménagers*⁵¹.

Однако уже на этом, начальном уровне интерпретации — уровне терминологии — между фактическим материалом источников и априорно заданной социологической схемой возникают серьезные противоречия. При всей расплывчатости русских понятий "кулак", "середняк" и "бедняк", дававшей, например, представителям советской власти на местах широкие возможности для произвола при определении кандидатов на "раскулачивание", эти термины все же имели общую основу, ибо соотносились с имущественным положением обозначаемых ими лиц. Во Франции Старого порядка не было столь же устойчивых и повсеместно принятых понятий, которые делили бы различные категории сельского населения по имущественному признаку. Помимо размера собственности, огромное, а нередко даже большее, значение имел также правовой статус земли, находившейся во владении земледельца, и его личный правовой статус. Ну а поскольку тот и другой в каждом конкретном случае во многом определялись кутюмами — действовавшими в данной местности нормами обычного права, которые от провинции к провинции достаточно широко варьировались, соответственно варьировалась и правовая терминология, употребляемая в разных областях для обозначения разных категорий сельского населения. Добавим сюда так-

⁵¹ Лукин Н.М. Борьба классов во французской деревне... С. 256 — 257.

же местную специфику словоупотребления, обусловленную широким распространением во Франции различных диалектов, когда одинаковые явления могли в разных областях называться по-разному и, наоборот, когда, казалось бы, общий термин мог в разных областях иметь разные смысловые нюансы. И хотя Революция взяла решительный курс на унификацию и права, и языка, эта терминологическая мозаика существовала в источниках, особенно локального происхождения, на протяжении всего революционного периода и даже позднее.

Характерно, что для каждой из трех классовых "ячеек" своей социологической схемы Н.М. Лукин взял сразу несколько французских эквивалентов. Однако даже их оказалось недостаточно, чтобы исчерпать все терминологическое богатство источников, и к каждому из "классов" автор по мере обращения к тем или иным источникам добавляет все новые категории населения, обозначаемые специфическими французскими терминами. Особенно много таких категорий попало в разряд "сельского пролетариата": «...Парцельное крестьянство (*petits cultivateurs, ménagers*) вынуждено было пополнять бюджет продажей своей рабочей силы в чужом хозяйстве. Именно оно поставляло главные кадры всякого рода деревенских поденщиков (*journaliers, manouvriers*), нанимавшихся в разгар полевых работ (*moissonneurs, faucheurs, batteurs*). Отсюда еще один характерный термин, применявшийся к этой группе, — "рабочие-собственники" (*manouvriers-propriétaires*). Помимо поденщиков, Н.М. Лукин отнес к сельскому пролетариату также "батраков" — *domestiques, valets*⁵².

К сожалению, Н.М. Лукин практически никак не комментирует ни критерии, по которым указанные категории населения попали в ту или иную классовую "ячейку", ни соотношение между ними внутри каждой из "ячеек": что, например, общего у "земледелец" (*cultivateur*) и "пахаря" (*laboureur*) и в чем различия между ними? Между тем, эти критерии далеко не столь очевидны, чтобы можно было поверить автору на слово относительно правомерности подобной классификации. Возьмем, например, класс "сельской буржуазии". Судя по всему, решающее значение для того, чтобы отнести к нему ту или иную социальную группу, упомянутую в источниках, Н.М. Лукин придавал наличию в обозначающем ее словосочетании прилагательных "зажиточный" (*aisé*), "богатый" (*riche*), "крупный" (*gros*). Оставляя за рамками вопрос об относительности подобных определений (представления о "зажиточности", к примеру, в областях "крупной культуры" и "мелкой культуры" могли существенно различаться⁵³), заметим, что решаю-

⁵² Там же. С. 258 — 259. См. также: Лукин Н.М. Революционное правительство... С. 230 — 231.

⁵³ Подробнее о региональных различиях в положении сельских жителей Франции конца XVIII в. см.: Аго А.В. Указ. соч. Гл. 1.

щее значение для идентификации социального и правового статуса указанных категорий здесь имеют все же обозначающие их существительные: "собственник" (*propriétaire*) или "арендатор" (*fermier*). А разница между этими правовыми состояниями была слишком велика⁵⁴, чтобы их автоматически можно было объединять под общей рубрикой, исходя лишь из общего определения "богатый". К тому же, слово *fermier* далеко не всегда означало собственно "фермера", а имело гораздо более широкий смысл арендатора вообще: при Старом порядке так, например, называли и откупщиков, то есть людей, берущих "в аренду" сбор налогов.

Кстати, учитывая широкий диапазон значений термина *fermier*, совершенно не понятны критерии причисления категории "бедных арендаторов" (*pauvres fermiers*) к "среднему крестьянству". В принципе под это понятие вполне мог попадать и крестьянин, не имеющий земельной собственности и арендующий под огород клочок соседских угодий, то есть скорее "бедняк", чем "средняк".

Не выглядит бесспорным и однозначное причисление "пахарей" (*laboueurs*) к "среднему крестьянству". Это весьма распространенное во Франции XVIII в. наименование тоже имело достаточно широкий диапазон значений, который отнюдь не сводился к смыслу русского термина "средняк". "Пахарями" могли, в частности, называть земледельцев в широком смысле слова, без какой-либо привязки к их имущественному статусу. Кстати, именно в таком значении термин *laboureur* употреблен в одном из документов, процитированных по-французски Н.М. Лукиным: там этим словом называют сельскохозяйственных рабочих, то есть, по классификации нашего автора, не "средняков", а "сельских пролетариев"⁵⁵.

Все то же самое можно сказать и о категории "земледельцев" (*cultivateurs*), также отнесенной Н.М. Лукиным к "среднему крестьянству". Применение этого термина было достаточно широким, и, как показывает сам автор, словом *cultivateur* в источниках порою называют крестьянина, "у которого нет ни лошадей, ни плуга" и который работает на поле соседа за право пользования его плугом⁵⁶.

Вызывает вопросы и наполнение Н.М. Лукиным последней из упомянутых им классовых ячеек. Здесь также к одному "классу" оказываются отнесены социальные категории, имеющие совершенно разный правовой статус: пусть хоть и мелкие, но *собственники*

⁵⁴ Статусу *собственника* земли во Франции конца XVIII — начала XIX в. придавалось особо важное значение: в частности, согласно революционным Конституциям 1791 г. и 1793 г., приобретение такого статуса уже само по себе давало его обладателю право претендовать на французское гражданство.

⁵⁵ Лукин Н.М. Революционное правительство... С. 233.

⁵⁶ Лукин Н.М. Борьба классов во французской деревне... С. 280.

(*manouvriers-propriétaires*) и "слуги" (именно такой перевод точнее, чем "батраки", передает смысл понятий *domestiques* и *valets*). Если первые обладали всей полнотой гражданских прав, то вторые, напротив, и в революционной Франции были в правах существенно ограничены: в частности, закон о выборах Национального Конвента особо оговаривал, что "слуги" к таковым не допускаются.

Иными словами, даже в первом приближении, только на уровне терминов, можно видеть, насколько соответствовавшие им исторические реалии были сложнее и многограннее той жесткой социологической схемы, с помощью которой Н.М. Лукин пытался их интерпретировать. Причем, в своих рассуждениях он шел, прежде всего, от схемы, волевым порядком втискивая в ее жесткие рамки весь фактический материал без какого-либо дополнительного обоснования.

Столь же свободным было и его обращение с хронологией. Чтобы наглядно продемонстрировать это читателю, я попробую представить основную линию рассуждений автора статьи "Революционное правительство и сельскохозяйственные рабочие" в виде серии последовательных тезисов, размещенных в левой половине страницы. Напротив них, справа, я приведу в хронологической последовательности датировку⁵⁷ документов, на которые соответственно ссылается Н.М. Лукин в подтверждение каждого из этих тезисов.

1. Дефицит рабочих рук в деревне привел к резкому росту заработной платы сельскохозяйственных рабочих, значительно опережавшему рост цен на хлеб, что вызывало недовольство работодателей — зажиточных крестьян ⁵⁸ .	5 октября 1793 г. 17 января 1794 г. 22 января 1794 г. 18 мая 1794 г. 9 июля 1794 г. 2 декабря 1794 г. 12 января 1795 г.
2. "Мелкобуржуазное революционное правительство неуклонно поддерживало" зажиточных крестьян, "широко практикуя реквизицию рабочей силы в деревне, развертывая антирабочую политику таксации заработной платы и сурово карая уклонение от реквизиций и малейшие попытки сельскохозяйственных рабочих добиться повышения заработной платы путем забастовок" ⁵⁹ .	11 сентября 1793 г. 16 сентября 1793 г. 29 сентября 1793 г. 21 октября 1793 г. 30 мая 1794 г. 6 июня 1794 г. 17 июня 1794 г. 8 июля 1794 г. 20 июля 1794 г. 4 сентября 1794 г. 8 сентября 1794 г.

⁵⁷ Для наглядности я привожу все даты по более привычному для нас григорианскому календарю, а не по революционному.

⁵⁸ Лукин Н.М. Революционное правительство... С. 232 — 236.

⁵⁹ Там же. С. 236 и далее.

<p>3. Сельскохозяйственные рабочие выражали недовольство подобными действиями правительства и оказывали им сильное сопротивление, прибегая к саботажу и стачкам⁶⁰.</p>	<p>21 октября 1793 г. 26 мая 1794 г. 18 июня 1794 г. 23 июня 1794 г. 29 июня 1794 г. 11 июля 1794 г. 21 июля 1794 г. 19 августа 1794 г. 24 августа 1794 г. 4 сентября 1794 г. 8 сентября 1794 г.</p>
<p>4. Местные власти в случаях таких конфликтов обычно "оказывались на стороне наемателей"⁶¹.</p>	<p>22 декабря 1793 г. 8 мая 1794 г. 18 мая 1794 г. 1 июня 1794 г. 1 июля 1794 г. Июнь-август 1794 г.</p>

И в завершение следует вывод:

"Суровое рабочее законодательство и его применение на местах, продиктованные интересами сельских хозяев, означали энергичное вмешательство властей в острую классовую борьбу, происходившую на грани жестокого продовольственного кризиса 1793 — 1794 гг., между сельскохозяйственными рабочими и их наемателями (...). В общем антирабочая политика революционного правительства лишила его симпатий тех деревенских слоев, на которые оно могло бы опираться в борьбе против единого фронта всех крестьян-собственников, создавшегося во французской деревне в результате применения системы реквизиций и твердых цен на хлеб. Тем самым создалась одна из важнейших предпосылок термидорианской реакции"⁶².

Если принять последовательность рассуждений автора, которые я в тезисном виде изложил в левой части страницы, данный вывод выглядит вполне логичным и в целом сомнений не вызывающим. Однако если внимательно присмотреться к датировке документов, привлеченных для его обоснования, сомнения все же возникают. Термидорианский переворот, положивший начало "термидорианской реакции", произошел, как известно, 27 июля

⁶⁰ Там же. С. 244 — 247.

⁶¹ Там же. С. 248 — 252.

⁶² Там же. С. 252 — 253.

1794 г. Автор же статьи, говоря о вызревании его "предпосылок", неоднократно обращается к источникам более позднего происхождения. В этом не было бы ничего странного, если бы в указанных документах речь шла о событиях, *предшествовавших* перевороту. Однако, в действительности, все эти источники отражают текущую на момент их появления ситуацию в деревне, то есть факты, имевшие место уже *после* Термидора. Иными словами, здесь мы вновь, как и в книге "Максимилиан Робеспьер", видим хронологическую инверсию — попытку представить более поздние события причиной ("предпосылкой") более ранних.

Между тем, порядок изложения событий здесь имеет решающее значение. Попробуем "развернуть" те же самые факты в хронологической последовательности. Итак...

Осень 1793 г. В условиях острого продовольственного кризиса и под давлением парижского плебса Конвент 29 сентября принимает декрет о "максимуме", то есть о государственном регулировании цен на товары и заработную плату. Однако в условиях дефицита рабочих рук, вызванного призывом значительной части деревенских жителей в армию, сельскохозяйственные рабочие требуют у нанимателей более высокой оплаты своего труда, чем та, что предусмотрена "максимумом". Владельцы крестьянских хозяйств, производящих зерно на рынок, оказываются в сложной экономической ситуации: они вынуждены продавать хлеб по цене "максимума", но платить своим наемным работникам сверх "максимума". Не нанимать же работников они не могут, ибо тогда урожай пропадет на корню. Естественно, некоторые крестьяне-работодатели жалуются властям: если те требуют от них соблюдения "максимума", то пусть заставят и рабочих соблюдать его. Что касается Конвента, то он еще в сентябре 1793 г. принял ряд декретов, обязавших местные власти не только следить за соблюдением "максимума", но и реквизировать рабочих на выполнение сельскохозяйственных работ. "Однако в большинстве случаев муниципалитеты не спешили приводить закон в исполнение"⁶³. Те же из них, которые все-таки решились ввести "максимум" на заработную плату, установили его не по правилам, предписанным Конвентом, а в том размере, за который можно было реально нанять рабочих.

Зимой 1793/94 гг. жалобы сельских хозяев продолжают. И в преддверии новой жатвы Конвент 30 мая 1794 г. издает новый декрет о реквизиции всех граждан, которые обычно нанимаются на сельскохозяйственные работы. Соответствующие постановления принимает и Комитет общественного спасения. К концу жатвы ему опять приходится вмешиваться в отношения между нанимателями и работниками, определяя постановлением от 8 июля размер оплаты молотильщиков. Были ли эффективными подобные попытки государственного регулирования? Данные о

⁶³ Там же. С. 237.

реакции работников на подобные меры, отмечает Н.М. Лукин, не многочисленны. Однако те сведения, которые ему удалось собрать, свидетельствуют о том, что сельскохозяйственные рабочие откровенно саботировали "максимум", а в случае нажима на них устраивали стачки. Угрозы Комитета общественного спасения и представителей в миссии отдавать под суд Революционного трибунала за отказ от работы и несоблюдение "максимума" эффекта не давали, поскольку в основной своей массе зажиточные крестьяне, преобладавшие в местных муниципалитетах, стремились к компромиссу с работниками. "Те, кто предпочитал соблюдать закон, остались без рабочих"⁶⁴.

О неспособности правительства добиться выполнения закона о "максимуме" в сфере оплаты труда сельскохозяйственных рабочих свидетельствует постановление Комитета общественного спасения от 4 сентября 1794 г., из которого "видно, что многие муниципалитеты все еще не удосужились установить у себя твердые цены на рабочие руки"⁶⁵. А четыре дня спустя, расписываясь в невозможности заставить рабочих, занятых обмолотом зерна, получать жалование в соответствии с "максимумом", Комитет пересматривает заработную плату молотильщиков в сторону увеличения. Однако и в дальнейшем, как показывают приведенные Н.М. Лукиным документальные свидетельства осени — зимы 1794 г., "максимум" оплаты труда продолжал нарушаться в массовом порядке до тех пор, пока вовсе не был отменен 24 декабря 1794 г.

Так выглядят представленные в статье Н.М. Лукина факты, если их изложить в хронологическом порядке. Картина, как видим, получается совершенно иная. И вывод напрашивается совершенно другой, чем тот, что предложил нам автор. Перед нами история о тщетности попыток революционной власти проводить политику государственного регулирования экономики. Как бы ни старалось революционное правительство с осени 1793 по осень 1794 г. добиться ограничения оплаты труда сельскохозяйственных рабочих нормами "максимума", все его усилия пошли прахом. Идущие "сверху" импульсы до "земли" просто не доходили, а гасли в нижних эшелонах власти, ближе соприкасавшихся с экономикой и лучше понимавших ее насущные потребности. Что же касается собственно сельскохозяйственных рабочих, то они, судя по материалам статьи, получали за свой труд столько, сколько требовали, и при Робеспьере, и после него. У якобинской диктатуры было слишком мало возможностей для того, чтобы эффективно проводить в деревне свою "антирабочую политику" и реально осложнить жизнь "сельскому пролетариату и полупролетариату". Иными словами, если выстроить представленные в статье факты не по изначально заданной идеологической схеме, а просто в хронологи-

⁶⁴ Там же. С. 245.

⁶⁵ Там же. С. 237.

ческом порядке, то конечный вывод автора тут же теряет всякую с ними связь и просто повисает в воздухе.

А насколько корректна в научном плане сама по себе постановка проблемы об "упущенной" возможности революционного правительства опереться на "деревенскую бедноту" в проведении политики "максимума"?

В статье "Борьба классов во французской деревне..." Н.М. Лукин приводит широкий перечень фактов упорного сопротивления французской деревни политике "максимума". По логике классового подхода, *помноженной на опыт российской революции*, наиболее активными противниками "продовольственной разверстки" должны были выступать "кулаки" — представители "сельской буржуазии". Следуя этой логике, автор тщательно пытался отыскать в архивах соответствующие документальные свидетельства, но, как признает сам, не слишком в этом преуспел. Не находит он в источниках и мало-мальски убедительных доказательств того, что политика продовольственных реквизиций вызывала сколько-нибудь серьезные противоречия *внутри деревенского мира*. Н.М. Лукин объясняет это следующим образом: "Скудость наших сведений о классовой борьбе, которая развертывалась на селе в связи с выполнением реквизиций, объясняется тем, что власти дистриктов менее всего ею интересовались: для них был важен, прежде всего, самый факт выполнения или невыполнения соответствующего задания коммуной в целом"⁶⁶.

Но имела ли место внутри деревни эта "классовая борьба" вообще? Автору статьи с большим трудом удалось отыскать лишь четыре факта, подтверждающие, по его мнению, что именно богатые крестьяне "преимущественно срывали продовольственную политику Конвента". В одном из этих примеров речь идет о "крестьянине-богатее" Брюньоне, который, не желая в принудительном порядке поставлять хлеб на рынок по цене "максимума", распродал его по еще более низкой цене своим одпосельчанам⁶⁷. Иначе говоря, в восприятии Брюньона линия противостояния в вопросе о реквизициях проходила *за пределами деревенского мира*. "Чужие", "враги", посягавшие на его хлеб, находились *вне деревни*. Принципиальное значение для него имел не вопрос прибыли, а неприятие внешнего принуждения: лучше продать зерно в убыток, но "своим", чем подчиниться насилью "чужих". Разумеется, это лишь единственный пример, на основе которого нельзя делать далеко идущие обобщения. Однако и наш автор вынужден признать, что в противодействии реквизициям деревенский мир выступал как одно целое: "Трудно выдлить степень активности сельской буржуазии в тех довольно многочисленных случаях, когда целая деревня оказывала активное сопротивление реквизициям"⁶⁸.

⁶⁶ Лукин Н.М. Борьба классов во французской деревне... С. 264.

⁶⁷ Там же. С. 265.

⁶⁸ Там же. С. 266 — 267.

И даже тот единственный из приведенных Н.М. Лукиным пример, когда "кулаки" оказали вооруженное сопротивление властям, попытавшимся проверить их запасы зерна, не слишком вписывается в логику "классовой борьбы". В бою против национальных гвардейцев ферму семейства Шаперон, наряду с хозяевами, защищала и их работница⁶⁹, то есть, по классификации Н.М. Лукина, представительница "сельского пролетариата". И подобный "единый фронт" разных категорий сельских жителей отнюдь не исключительный случай. "...Очень часто сопротивление реквизициям, исходившее от зажиточной верхушки деревни, находило поддержку не только у крестьян-середняков, но и у деревенской бедноты, покупавшей хлеб у своих зажиточных соседей, а потому относившейся враждебно ко всякому вывозу хлеба из пределов коммуны. В этих случаях властям дистрикта и депутатам в миссиях приходилось иметь дело с единым контрреволюционным фронтом всего сельского населения"⁷⁰.

Даже если судить только по собранным Н.М. Лукиным данным, складывается впечатление, что узы солидарности внутри деревенского мира были намного сильнее противоречий между составлявшими его категориями сельского населения. И даже попытка властей внести в него раскол путем поощрения доношительства на нарушителей "максимума", похоже, не имела успеха. Во всяком случае, сам автор статьи, хотя и предполагает, что, "по-видимому, система доносов действительно была распространена довольно широко"⁷¹, находит лишь два примера правдивых доносов и один — ложного. Впрочем, чуть ниже он отмечает: "...Часто бедняк, вынужденный покупать у соседа хлеб выше таксы, являлся соучастником нарушения закона, а потому не был расположен выступать в роли доносчика"⁷².

Содержащийся в статьях Н.М. Лукина обильный фактический материал не дает никаких оснований предполагать, что малоимущие слои сельского населения в силу каких-либо специфических, групповых ("классовых") интересов могли бы противопоставить себя деревенскому миру в целом. Такие интересы у них, конечно, были. Автор приводит немало примеров того, что сельскохозяйственные рабочие, не имевшие своей запашки, зачастую сталкивались с отказом соседей продавать им хлеб по цене "максимума". Однако не будем забывать, что и сами рабочие брали за свой труд оплату выше "максимума". И сельские муниципалитеты, "где наблюдалось засилье зажиточного и среднего крестьянства", точно так же покрывали нарушения "максимума" заработной платы, как и "максимума" цен на хлеб. Это были *внутренние* противоречия достаточно закрытого мира деревни, решавшиеся им самим.

⁶⁹ Там же. С. 267.

⁷⁰ Там же. С. 268.

⁷¹ Там же. С. 283.

⁷² Там же. С. 284.

Приводимые Н.М. Лукиным факты не дают ни малейших оснований для его же тезиса: "Продовольственная политика Конвента, встречавшая упорное сопротивление со стороны всех категорий крестьян-собственников, могла проводиться только при содействии властям деревенской бедноты"⁷³. Это положение опирается не на результаты анализа источников, а выводится из заранее заданной идеологической схемы и несет в себе ярко выраженный заряд политической пропаганды. Достаточно заменить в приведенной фразе слово "Конвент", скажем, на "Совет народных комиссаров", и мы получим готовую формулу политики ВКП(б).

Впрочем, это далеко не единственное противоречие между данными источников и схемой в "аграрных" статьях Н.М. Лукина. Идя от нее, он то и дело выдвигает те или иные тезисы, которые, обращаясь к фактической стороне дела, сам же и опровергает. Вот, например, как ему виделась одна из возможных мер практической реализации союза Конвента и сельской бедноты: "Это содействие деревенских санюлотов продовольственной политике Конвента могло дать существенные результаты, если бы революционное правительство действительно повернулось лицом к пролетариям и полупролетариям деревни, обеспечив им влияние в сельских муниципалитетах, наблюдательных комитетах и народных обществах..."⁷⁴ Исходя из изначально заданной идеологической схемы, подобная программа действий выглядит вполне логично, поскольку представляет собой кальку с политического опыта большевиков, создававших комбеды и целенаправленно "корректировавших" результаты выборов в сельские советы, чтобы обеспечить в них решающий голос бедноте. Однако могли ли на практике бедняки французской деревни взять на себя ведущую роль в местных органах власти? Едва ли: всего лишь несколькими страницами ранее Н.М. Лукин, ссылаясь на исследования французских историков, сам же отмечал, что "деревенская беднота (*mé-lapagers, manouvriers*) была мало интеллигентна и слишком неорганизована, чтобы забрать в свои руки муниципалитеты, а также наблюдательные комитеты и народные общества, — даже там где они составляли большинство жителей коммуны"⁷⁵.

Такие противоречия между идеологической схемой и данными источников пронизывают обе "аграрные" статьи Н.М. Лукина, причем последнее слово неизменно остается за схемой. Именно ею, а не результатами анализа источников, продиктован и конечный вывод обеих статей о том, что неспособность революционного правительства заручиться поддержкой сельской бедноты стала "предпосылкой" Термидора. По сути, этот тезис отражает скорее тайные страхи большевистской верхушки перед призраком "рус-

⁷³ Там же. С. 282.

⁷⁴ Там же. С. 287.

⁷⁵ Там же. С. 273.

ского термидора"⁷⁶, нежели исторические реалии Франции конца XVIII в. В самом деле, как симпатии сельскохозяйственных рабочих к "робеспьеровскому правительству", даже если бы оно их "не лишилось", могли бы помешать термидорианскому перевороту, начавшемуся в Конвенте и уже через несколько часов благополучно завершившемуся в парижской Ратуше? На всем протяжении Французской революции жители деревни узнавали об очередном эпизоде борьбы за власть в столице лишь дни и недели спустя и никогда напрямую не влияли на его исход. Для большевиков же, опасавшихся, что угроза "русского термидора" исходит от "мелкобуржуазной" стихии многомиллионного крестьянства, напротив, союз с беднотой — их главной опорой в деревне — имел жизненно важное значение.

* * *

Таким образом, и в своих "аграрных" статьях, намного превосходящих в научном плане его предшествующие работы о Французской революции, Н.М. Лукин выступал в большей степени политическим пропагандистом, чем исследователем. А ведь эти статьи так и остались вершиной его творчества как историка Революции. Обещанная им книга о французском крестьянстве никогда не появилась, а наиболее известная из его последних работ о Французской революции — статья "Ленин и проблема якобинской диктатуры"⁷⁷ — была выполнена в жанре скорее экзегетики, нежели исторического исследования.

Поскольку Н.М. Лукин был одним из "отцов-основателей" всей советской историографии стран Запада⁷⁸ и, в частности, используя выражение Н.И. Кареева, "главным руководителем новой школы" историков Французской революции⁷⁹, его научные взгляды и подходы не могли не оказать огромного влияния на развитие соответствующих направлений отечественной исторической науки. О том, какие профессиональные требования предъявлял Н.М. Лукин своим ученикам, мы можем судить по его выступлению на совещании историков-марксистов в 1931 г., посвященном

⁷⁶ Подробнее см.: Кондратьева Т. Большевики-якобинцы и призрак термидора. М., 1993.

⁷⁷ Лукин Н.М. Ленин и проблема якобинской диктатуры // Историк-марксист. 1934. Т. 1 (35). С. 99 — 146.

⁷⁸ Подробнее см.: Авербух Р.А. Н.М. Лукин — организатор подготовки советских историков // Европа в новое и новейшее время; Дунаевский В.А., Цфасман А.Б. Указ. соч. С. 115 — 127; Галкин И.С. Указ. соч. С. 182 — 198.

⁷⁹ Кареев Н.И. Французская революция в марксистской историографии в России / Публ. Д.А. Ростиславлева // Великая французская революция и Россия. М., 1989. С. 198.

критике специалистов старой "русской школы": "...Признание диалектического материализма как *единственно правильной философской теории* и умение применять диалектический метод в своей специальной области является обязательным для всякого историка, претендующего называться марксистом"⁸⁰. Подобный догматизм, превращавший марксизм из научной методологии в символ веры, носил жестко императивный характер: ведь "каждого антимарксиста приходится рассматривать как потенциального вредителя", — напоминал Н.М. Лукин формулировку одного из принятых незадолго до того постановлений Общества историков-марксистов⁸¹.

Свои представления о профессиональном долге советских историков Н.М. Лукин подробно изложил в дискуссии с известным французским исследователем А. Матьезом. Относившийся в первые годы после Октябрьской революции с горячей симпатией к Советской России в целом и к еще только складывавшейся тогда советской школе историков-франковедов, Матьез к концу 20-х годов постепенно избавился от былой эйфории и, придерживаясь уже гораздо более трезвого взгляда на ситуацию в СССР, весьма критически отозвался об идеологической экзальтации и догматизме советских историков нового поколения. Вот как он оценил господствовавший в советской науке метод изучения истории:

"Метод этот заключается... в поисках повсюду в прошлом борьбы классов, даже там, где эта борьба не подтверждается никакими документами. Одним словом, этот метод заключается в превращении исторической науки ... только в априорную догму, которая и являет собой истинный марксизм, представляющий на практике подобие катехизиса. В итоге история становится послушной служанкой политической власти, которой она подчиняет все свои концепции, свои интересы, очередные лозунги, даже свои выводы"⁸².

Принимая во внимание рассмотренные нами выше особенности исследовательского почерка Н.М. Лукина, трудно не согласиться с точностью диагноза, поставленного Матьезом. Впрочем, и ответ ему самого Н.М. Лукина заслуживает того, чтобы быть процитированным максимально подробно:

«В противоположность Матьезу мы утверждаем, что история была и остается одной из самых "партийных" наук, что — сознательно или бессознательно — историки всегда выполняют определенный социальный заказ ... Разница лишь в том, что последова-

⁸⁰ Буржуазные историки Запада в СССР (Тарле, Петрушевский, Кареев, Бузескул и др.) // Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 49–50. Курсив мой. — А.Ч.

⁸¹ Там же. С. 49.

⁸² Цит. по: Дунаевский В.А. Полемика Альбера Матьеза с советскими историками. 1930–1931 гг. // НиНИ. 1995. № 4. С. 200.

тельные марксисты открыто признают, что, беспощадно вскрывая все формы классовых противоречий и классовой борьбы как в прошлом так и настоящем, и доказывая историческую неизбежность замены современного капиталистического общества социалистическим, они тем самым помогают пролетариату в его классовой борьбе с буржуазией. В этом смысле мы не стыдимся признать, что наша марксистская наука находится "на службе" у пролетариата и коммунистической партии, но гордимся этим»⁸³.

Думаю, в этих словах, как, впрочем, и словах Матъеза, блестяще выражена суть всего научного творчества Николая Михайловича Лукина. На примере рассмотренных нами выше работ о Французской революции, созданных им в разные периоды своей жизни, мы могли убедиться, что в каждой из них он, действительно, выступал скорее бойцом идеологического фронта, нежели исследователем, ищущим ответа на непонятные для себя вопросы.

Говоря об учениках и преемниках Н.М. Лукина, было бы, конечно, явным упрощением сводить всю их научную деятельность к иллюстрированию историческими фактами некой, говоря словами Матъеза, априорной догмы. Творчество, к примеру, А.З. Манфреда, поднявшего жанр исторического исследования на уровень высокой литературы, или В.М. Далина, настоящего виртуоза архивных разысканий, отнюдь не вмещается в рамки рутинного обоснования историческим материалом "непреходящей" правоты марксистского учения. И все же, имея теперь подробное представление о научных приоритетах основателя советской школы историков Французской революции, мы едва ли должны удивляться тому, что последующая советская историография данной проблематики также характеризовалась приверженностью жестко заданным идеологическим конструкциям и что практически любые попытки критического взгляда на данный канон воспринимались ее ведущими представителями как идеологическая диверсия.

Разумеется, это отнюдь не означает, что подобными особенностями отечественная историография Французской революции была обязана исключительно академику Лукину. "Служанкой идеологии" историю хотел видеть коммунистический режим, сам по себе построенный на идеологии. Н.М. Лукин же именно потому и был поставлен во главе советской исторической науки, что наилучшим образом олицетворял собой коммунистический идеал историка как "бойца идеологического фронта".

⁸³ Лукин Н.М. Новейшая эволюция А. Матъеза // Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 42.

"ФЕОДАЛЬНО-АБСОЛЮТИСТСКИЙ" ФАНТОМ

Чудище обло, озорово,
огромно, стозвонно и лайно!

В.К. Тредиаковский "Телемахида"

За пятьдесят с лишним лет "после Лукина" советская историография Французской революции претерпела немалые изменения: труды ее последних мэтров А.З. Манфреда, В.М. Далина, В.Г. Ревуненкова заметно отличаются от произведений ее "отца-основателя" и по объему привлеченного фактического материала, и по технике работы авторов с источниками, и по концептуальному решению отдельных проблем революционной истории. Однако произошедшие за эти полвека перемены никоим образом не затрагивали той социологической схемы, что составляла несущую конструкцию всей советской или, как ее еще определяли, "марксистско-ленинской" интерпретации Французской революции. Согласно этой схеме, события во Франции конца XVIII в. представляли собой "буржуазную революцию", разрушившую "феодально-абсолютистский строй" и открывшую путь для развития капитализма. Сколь бы острые споры ни приходилось вести советским ученым по различным аспектам истории Французской революции, никогда эта концептуальная основа марксистской интерпретации не становилась предметом обсуждения.

Взять, к примеру, дискуссию 60–70-х годов XX в. о классовом содержании якобинской диктатуры, получившую широчайший резонанс в нашем научном сообществе¹. Тон, в котором вели полемику участвовавшие в ней с одной стороны А.З. Манфред и В.М. Далин, с другой — ленинградский профессор В.Г. Ревуненков, отличался жесткостью и нетерпимостью. Тем не менее высказывавшиеся оппонентами и до дискуссии, и во время нее, и после оценки общенационального значения Французской революции совпадали едва ли не дословно, полностью укладываясь в рамки схемы "феодально-абсолютистский строй — буржуазная революция — капитализм".

А.З. Манфред: «Французская революция сокрушила феодально-абсолютистский строй, до конца добила феодализм, "исполни-

¹ Ревуненков В.Г. Марксизм и проблемы якобинской диктатуры: Историко-графический очерк. Л., 1966; Манфред А.З. О природе якобинской власти // ВИ. 1969. № 5; Проблемы якобинской диктатуры: Симпозиум в секторе истории Франции Ин-та всеобщей истории АН СССР 20–21 мая 1970 г. // ФЕ 1970. М., 1972. Подробнее об этой полемике см. Летчфорд С.Е. В.Г. Ревуненков против "московской школы": дискуссия о якобинской диктатуре // ФЕ. 2002. М., 2002.

ской метлой" вымела из Франции хлам средневековья и расчисти-
ла почву для капиталистического развития»².

В.Г. Ревуненков: "Эта революция смела отжившие средневеко-
вые порядки не только в самой Франции, но и далеко за ее рубежа-
ми, дав тем самым мощный импульс формированию новой соци-
ально-экономической системы — системы капитализма и буржу-
азной демократии..."³

Идеологические истоки подобной схемы вполне очевидны и не
требуют специального комментария: это прямая экстраполяция на
новую историю Франции марксистского учения об общественно-
экономических формациях. Однако в какой степени эта теорети-
ческая конструкция соответствует историческим реалиям Фран-
ции конца XVIII в. и объясняет происходившие там события? Что-
бы ответить на данный вопрос, рассмотрим, насколько отдельные
сегменты указанной схемы согласуются с результатами историче-
ских исследований по соответствующим конкретным проблемам.

В этой главе речь пойдет о "феодално-абсолютистском строе".

* * *

Понятие "феодално-абсолютистский строй" имеет чисто со-
ветское происхождение и в историографиях других стран (за пре-
делами социалистического лагеря) не применялось. В мировой
исторической литературе, в частности в работах представителей
"русской школы", для обозначения общественно-политических
порядков предреволюционной Франции использовалось достаточ-
но гибкое и не слишком обзывающее понятие "Старый порядок".
Однако, когда в 1934 г. в СССР началась вторая за время существо-
вания советской власти радикальная перестройка системы исто-
рического образования, от этого термина было приказано отка-
заться. Причем директива исходила с самого "верха". В "Замеча-
ниях о конспекте учебника по новой истории", подписанных
И.В. Сталиным, С.М. Кировым и А.А. Ждановым, говорилось: «Хо-
рошо было бы освободить конспект от старых затасканных выра-
жений вроде "старый порядок" ... Лучше было бы заменить их сло-
вами "докапиталистический порядок" или, еще лучше, "абсолюти-
стско-феодалный порядок"..."⁴ Рекомендация столь высокого
уровня, естественно, носила императивный характер, а потому
предложенный коммунистическими вождями термин (правда, в
несколько более благозвучном варианте — "феодално-абсолюти-
стский строй") полностью вытеснил "Старый порядок".

² Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983. С. 206.

³ Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции,
1789 — 1814 гг. 3-е изд. доп. СПб., 1996. С. 505.

⁴ К изучению истории: Сборник. М., 1937. С. 27.

Новое понятие настолько прижилось в нашей историографии, что употреблялось и после того, как предписывавший его идеологический документ утратил свое директивное значение. Так, А.З. Манфред в своем обобщающем труде по истории Французской революции, вышедшем в 1956 г., а затем переизданном в 1983 г., определял ее причины следующим образом:

"Феодално-абсолютистский строй изжил себя, перестал соответствовать социально-экономическому развитию страны и превратился в путы, сковывающие развитие производительных сил, препятствующие их росту"⁵.

И даже на рубеже XX – XXI вв. последний из мэтров советской историографии Французской революции В.Г. Ревуненков (1911 – 2004) продолжал применять данное понятие для обобщающей характеристики экономических и политических порядков предреволюционной Франции⁶. Встречается оно и в некоторых выходящих в наши дни научно-популярных изданиях⁷.

Как нетрудно заметить, прилагательное "феодално-абсолютистский" является производным от двух вполне самостоятельных терминов "феодализм" и "абсолютизм", каждый из которых имеет свое значение или, точнее будет сказать во множественном числе, свои значения и свою судьбу в историографии. Причем и то, и другое у них настолько различны, что созданное механическим объединением этих двух терминов понятие вполне может вызвать ассоциацию с неким мифическим существом, вроде минотавра, сочетающим в себе совершенно разные сущности.

Одна из частей этого составного понятия – "абсолютизм" – термин вполне конкретный, имеющий более или менее устоявшееся значение: историки разных стран и разных школ обычно используют его для обозначения того типа монархии, который получил распространение в большинстве западноевропейских стран раннего нового времени, прежде всего во Франции. Существовали, правда, как мы далее увидим, и различного рода расширительные толкования абсолютизма, но их авторы все равно исходили из того, что его классическим образцом был все же именно французский. Напротив, вторая часть дуалистического понятия – термин "феодализм", несмотря на более чем двухсотлетнюю историю применения, никогда не имел единого значения, что позволяло историкам разных школ вкладывать в него самые разные, порою весьма далекие друг от друга смыслы:

⁵ Манфред А.З. Великая французская революция. С. 14.

⁶ Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. 1789 – 1799. 2-е изд. Л., 1989. С. 38; Он же. Очерки по истории Великой французской революции, 1789 – 1814. 1996. С. 44; Он же. История Французской революции. СПб., 2003. С. 41.

⁷ См., например: Всемирная история. Т. 16. Европа под влиянием Франции. М.; Минск, 2000. С. 7.

«Понятие "феодализм" в средневековую эпоху не употреблялось... Термин был введен публицистами и мыслителями предреволюционной Франции XVIII в. для характеристики "старого порядка", т.е. системы господства дворянства, церкви и монархии... Однако со временем понятие "феодализм", утратив полемическую направленность, было внедрено в историческое сознание. Историческая наука XIX в. трактовала феодализм по-разному: как состояние политической раздробленности, как социально-юридический сословный порядок, как специфическую форму военной организации сеньйоров и вассалов, основанную на личной верности и службе, как господство крупного привилегированного землевладения, наконец, как общественно-экономическую формацию, базирующуюся на эксплуатации крупными землевладельцами зависимых от них крестьян»⁸.

В отечественной историографии феодализм также интерпретировался по-разному. Например, Н.И. Кареев, говоря о "феодализме", имел в виду общественный строй, основанный на привилегиях⁹. Марксистская же наука придавала данному понятию гораздо более широкое значение, трактуя феодализм как "классово-антагонистическую формацию, представляющую — во всемирно-историческом развитии — этап, стадияльно следующий за рабовладельческим строем и предшествующий капитализму"¹⁰. Определяющим признаком феодального строя советские историки считали производственные отношения с такими характеристиками:

«Во-первых, наличие феодальной собственности, выступающей как монополия господствующего класса (феодалов) на основное средство производства — землю...; при этом собственности на землю была неразрывно связана с господством над непосредственными производителями — крестьянами... Во-вторых, наличие у крестьянина самостоятельного хозяйства, ведущегося на формально "уступленном" ему господином наделе, который фактически находился в наследственном пользовании одной и той же возделывавшей его крестьянской семьи. Не располагая правом собственности на землю, такая семья являлась собственником своих орудий труда, рабочего скота и другой движимости. Из отношений феодальной собственности вытекало "право" феодала на безвозмездное присвоение прибавочного продукта крестьянского труда, т.е. право на феодальную земельную ренту, выступавшую в виде барщины, натурального или денежного оброка. Т.е., феодальный способ производства основан на сочетании крупной земельной

⁸ Гуревич А.Я. Предисловие // Словарь средневековой культуры. М., 2003. С. 8.

⁹ Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. 3-е изд. СПб., 1904. С. 19–20.

¹⁰ Барг М.А., Никифоров В.Н. Феодализм // Большая советская энциклопедия.

собственности класса феодалов и мелкого индивидуального хозяйства непосредственных производителей – крестьян, эксплуатируемых с помощью внеэкономического принуждения (последнее столь же характерно для Ф., как экономическое принуждение для капитализма)»¹¹.

Подчеркну, подобное понимание феодализма было характерно именно для советских историков. В зарубежной историографии описанный выше тип поземельных отношений определяется термином "сеньориальный режим", а в категорию "феодализм" вкладывают преимущественно юридический смысл, обозначая ею комплекс правовых связей между сюзеренами и вассалами. Французский исследователь Ю. Метивье, в частности, так писал об указанном различии трактовок: «Советские экономисты и историки вплоть до конца XX в. обозначали термином "феодалный" как раз сеньориальный режим, тогда как такой режим отлично мог существовать и без настоящего "феодализма"»¹².

Впрочем, мы не будем подробно останавливаться на различиях в интерпретации определения "феодалный", а коснемся более частного вопроса: можно ли его использовать, хотя бы только в марксистском понимании этого слова, для характеристики социально-экономического строя предреволюционной Франции?

Сомнения в правомерности применения данного термина по отношению к французской экономике XVIII в. возникли давно: их высказывали даже некоторые представители "школы Лукина" еще в советскую эпоху. Так, в самом начале 80-х годов В.М. Далин, готовя в качестве ответственного редактора к печати посмертное издание "Великой французской революции" А.З. Манфреда, "споткнулся" на следующей фразе своего коллеги и друга: "В целом во французском сельском хозяйстве конца XVIII в. все еще господствовали старые, средневековые, *феодалные* (курсив мой. — А.Ч.) отношения в их самой грубой и дикой форме..."¹³ Хорошо знакомый с новейшими достижениями мировой историографии, В.М. Далин уже явно не мог согласиться с подобной категоричностью утверждения, сделанного четверть века ранее, и заменил в процитированной фразе выделенное нами слово на "полуфеодалные"¹⁴. Разумеется, подобный паллиатив радикально не менял всей концепции, но сама попытка внести в нее коррективы свидетельствовала о том, что даже такой видный представитель старшего поколения советских историков-марксистов, как В.М. Далин, в последние годы жизни уже не мог безоговороч-

¹¹ Там же.

¹² Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. [1982]. М., 2005. С. 25.

¹³ Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция. М., 1956. С. 8.

¹⁴ Манфред А.З. Великая французская революция. С. 17.

но принять утверждение о "феодалном" характере французской экономики накануне Революции.

А.В. Адо упоминал об этом, возможно, несколько курьезном, но весьма показательном случае, во время уже упомянувшегося выше "круглого стола" 1988 г.¹⁵ Его же собственное выступление, во многом задавшее тон дискуссии, как раз и было посвящено критике "упрощенного, "линейного" понимания исторического места Французской революции в процессе межформационного перехода: в 1789 г. — господство феодализма и феодального дворянства, в 1799 г. — господство капитализма и капиталистической буржуазии", содержащегося в работах не только отечественных, но и зарубежных историков-марксистов, в частности немца М. Коссока и француза М. Вовеля.

Еще более определено в ходе той же дискуссии высказалась ученица А.В. Адо — Л.А. Пименова: «Что же было феодальным во Франции XVIII в.? Какую из сторон жизни мы ни возьмем для рассмотрения, везде картина будет неоднозначной и не уместится в рамки определения "феодальный строй". Экономика была многоукладной, государство и общество также представляли собой сложное переплетение разнородных элементов»¹⁶.

Действительно, результаты появившихся незадолго до того исследований, в том числе самих А.В. Адо и Л.А. Пименовой, давали достаточно веские основания сомневаться в правомерности прежних, традиционных для советской историографии представлений об экономике Старого порядка. Хотя элементы комплекса сеньориальных отношений существовали во Франции вплоть до самой Революции, а отчасти пережили и ее, они в XVIII в. уже никоим образом не играли определяющей роли. Даже в областях с архаичной структурой хозяйства доля сеньориальных повинностей в доходах сеньоров-землевладельцев редко превышала 40%¹⁷. В экономически же развитых районах она была и того меньше. Так, во владениях принца Конде в Парижском регионе повинности давали лишь 13% дохода, а в 12 сеньориях графа де Тессе, крупнейшего собственника Верхнего Мэна, — 10,8%¹⁸. Основная же масса по-

¹⁵ Адо А.В. О месте Французской революции конца XVIII в. в процессе перехода от феодализма к капитализму во Франции // Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции. М., 1989. С. 18, примеч. 4. См. также: Адо А.В. Место Французской революции в процессе перехода страны от феодализма к капитализму // НиНИ. 1989. № 3. С. 19, примеч. 9.

¹⁶ Пименова Л.А. О некоторых спорных вопросах истории Старого порядка и революции // Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции. С. 94.

¹⁷ См.: Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой французской революции. М., 1986. С. 44.

¹⁸ Там же. С. 45.

ступлений шла от капиталистических и полукapиталистических способов ведения хозяйства.

Более того, отдельные элементы сеньориального комплекса в указанный период наполнились новым содержанием, фактически превратившись в завуалированную форму капиталистической аренды¹⁹. Соответственно А.В. Адо отмечал, что "исследования последних десятилетий относительно реального веса феодально-сеньориального вычета из крестьянского дохода в различных районах Франции, о месте его в структуре доходов сеньориального класса, о характере использования им земель домена показывают гораздо более сложную картину, чем это представлялось еще 15–20 лет назад"²⁰. И эта, сложившаяся в результате развития историографии новая картина уже в 1988 г. позволила Л.А. Пименовой сделать вполне определенный вывод: "На современном уровне знаний у нас нет оснований характеризовать систему общественных отношений предреволюционной Франции в целом как феодальный строй"²¹.

И если в наши дни утверждения о существовании "феодализма" накануне Французской революции еще порой встречаются в околonaучных публикациях²², то для исследователей данный вопрос представляется уже давно решенным. Даже в новейших изданиях учебной литературы, по определению более консервативной, чем собственно научная, сегодня констатируется, что к началу Французской революции "феодальные отношения давно каули в Лету"²³.

Впрочем, споры о применимости термина "феодализм" идут и теперь, правда, касаются они гораздо более ранних эпох. Так, в последнее время отечественные историки-медиевисты все более активно высказывают весьма аргументированные сомнения в правомерности использовать его как обобщающее понятие для обозначения системы общественных отношений даже средневековой Европы²⁴.

¹⁹ Адо А.В. Крестьяне и Великая французская революция. М., 1987. С. 37–38.

²⁰ Адо А.В. О месте Французской революции... С. 10.

²¹ Пименова Л.А. О некоторых спорных вопросах... С. 95.

²² Всемирная история. Т. 16. Европа под влиянием Франции. С. 7.

²³ Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. М., 2005. С. 177.

²⁴ См., например: Гуревич А.Я. "Феодальное Средневековье": что это такое? Размышления медиевиста на грани веков // Одиссей. Человек в истории. 2002. М., 2002; Дубровский И.В. Как я понимаю феодализм? // Конструирование социального. Европа V–XVI вв. М., 2001; Он же. Феод // Словарь средневековой культуры.

Со второй частью составного понятия "феодално-абсолютистский" дело обстоит намного сложнее, а потому и разговор о ней будет гораздо более подробным. Действительно, в отличие от термина "феодализм", возможность применения которого по отношению к реалиям XVIII в., вызывала сомнение даже у такого мэтра советской историографии, как В.М. Далин, правомерность использования термина "абсолютизм" для определения французской государственности Старого порядка никогда и никем из отечественных исследователей под вопрос не ставилась. Понятие "абсолютизм" имеет самое широкое хождение в нашей научной литературе еще с XIX в., причем как в трудах историков, изучавших Старый порядок, так и в работах специалистов по Французской революции. Тем не менее и с ним, на мой взгляд, связана определенная проблема, которая заключается в том, что образ французского абсолютизма, до самого последнего времени бытовавший в отечественной историографии Революции, был весьма слабо связан с фактами, установленными исследователями собственно Старого порядка.

При знакомстве с историей развития отечественного франковедения возникает впечатление, что и в дореволюционной России, и в советское время профессиональные сообщества исследователей, занимавшихся изучением Старого порядка и Революции, являли собой две разные галактики, расположенные бесконечно далеко друг от друга. Обитатели этих галактик порой совершали кратковременные вылазки на территорию "братьев по разуму", о чем свидетельствуют такие эфемерные следы подобных "посещений", как лекционные курсы, учебные пособия или популярные очерки. Однако чего-либо более солидного — монографического исследования, например, — никто из "гостей" на "чужой" территории не создал.

Эти взаимные "визиты" происходили с разной степенью интенсивности. Если специалисты по французскому абсолютизму относительно нечасто вторгались на территорию революционной историографии, то, напротив, для подавляющего большинства авторов общих работ о Французской революции более или менее пространный экскурс в историю государственных институтов Старого порядка был необходимым элементом раздела "Причины и предпосылки Революции".

Путешествия "революционных" историков в "галактику абсолютизма" стали предприниматься практически одновременно с началом профессионального изучения в нашей стране истории Французской революции. Представители "русской школы" подходили к таким экскурсам весьма основательно. Так, ее признанный "патриарх" Н.И. Кареев не только изложил свою точку зрения на Французский абсолютизм в известном учебном курсе по истории

нового времени²⁵, но и посвятил этой теме отдельную научно-популярную работу²⁶.

Сам Н.И. Кареев специальными исследованиями по истории государства Старого порядка не занимался, однако соответствующие работы современных ему авторов хорошо знал: слески научной литературы, приводимые в указанных изданиях, выглядят весьма убедительно. Тем не менее в своих рассуждениях о французском абсолютизме он исходил не столько из конкретного материала, пусть даже почерпнутого из чужих трудов, сколько из абстрактной теоретической схемы, выведенной по принципу "от обратного" из его же собственных представлений о том, чем собственно являлась Французская революция. Считая ее полным отрицанием Старого порядка, Н.И. Кареев наделял последний качествами, прямо противоположными тем, которые приписывал вышедшему из Революции новому порядку. А поскольку основными принципами "исторического движения", начатого в 1789 г., историк считал свободу и равенство, то, утверждал он, "с этой точки зрения старые порядки *сводятся к отсутствию* (курсив мой. — А.Ч.) политической свободы и гражданского равенства"²⁷. Иначе говоря, Н.И. Кареев выделял здесь в качестве существенных, идентифицирующих признаков политической модели Старого порядка не какие-либо из ее собственных черт, а, напротив, отсутствие черт, свойственных модели-антиподу.

Роль такого антипода абсолютизму у Н.И. Кареева играл не только и не столько государственный строй постреволюционной Франции, хотя, как мы видели выше, именно через сравнение с ним он определял государство Старого порядка, сколько политическое устройство Англии XVII—XVIII вв., в котором историк видел своего рода архетип "конституционных учреждений" всех остальных стран Европы нового времени. С этой точки зрения, вся западноевропейская история того периода выглядела как "развитие противоположности между двумя типами государств" — английской конституционной монархией и французским абсолютизмом, а Французская революция представлялась торжеством английской модели и началом ее распространения на континенте²⁸.

Впрочем, присущие, по мнению Н.И. Кареева, французскому Старому порядку "несвобода" и "неравенство" имели и впол-

²⁵ Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. СПб., 1892—1893. Т. 2—3. Далее ссылки на эту работу даются по третьему изданию, вышедшему в 1904 г.

²⁶ Кареев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков. Общая характеристика бюрократического государства и сословного общества "старого порядка". СПб., 1908.

²⁷ Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т. 3. С. 20.

²⁸ Там же. Т. 2. С. 384—387.

не конкретные воплощения: абсолютизм выступал олицетворением "несвободы", сословные привилегии или "социальный феодализм" — "неравенства"²⁹. Именно эта двухчленная формула — "соединение социального феодализма средних веков с абсолютной монархией нового времени"³⁰ — и выражала, согласно Н.И. Карееву, суть Старого порядка. Причем, если верить историку, оба элемента обладали вполне автономным характером и слабо зависели друг от друга. Чтобы более наглядно объяснить их соотношение, Н.И. Кареев даже воспользовался марксистскими понятиями "базис" и "надстройка", хотя марксизм в целом он отнюдь не жаловал: «То, что есть верного в учении экономического материализма, так это — различие в исторической жизни народа базиса и надстроек: таким базисом "старого порядка" было сословное общество, одною из надстроек — бюрократическое государство...»³¹ Однако если, согласно теории марксизма, базис играет определяющую роль по отношению к надстройке, то в трактовке Н.И. Кареева их соединение носит чисто механический характер: одна надстройка может сменить другую без каких-либо изменений в состоянии базиса, фактически как если бы речь шла о замене одного предмета другим на неподвижной поверхности стола. Тот или иной "социальный строй", считал историк, "может существовать при разных политических формах"³². Так, "феодализм" служил "базисом" и для средневекового государства, построенного на вассально-сюзеренных связях, и для "сословной монархии", и для бюрократической абсолютной монархии нового времени³³.

Соответственно и абсолютизм представлялся Н.И. Карееву неким внеисторическим феноменом — формой государственно-го устройства, способной найти себе применение в любой стране, при любом общественном строе. К числу абсолютных монархий он на равных основаниях относил Египет эпохи фараонов и тирании древнегреческих полисов, эллинистические монархии и средневековые восточные деспотии, Римскую, Византийскую и наполеоновскую империи, западноевропейские монархии раннего нового времени и российское самодержавие до 1905 г.³⁴ Более того, даже в период самой Французской революции Н.И. Кареев находил "продолжение старого абсолютизма" в якобинской

²⁹ Там же. Т. 3. С. 20.

³⁰ Там же. С. 19.

³¹ Кареев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия. С. 6.

³² Там же. С. 2.

³³ Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т. 2. С. 386, 388; Т. 3. С. 21, 397 и др.; Он же. Западноевропейская абсолютная монархия. С. 425—426.

³⁴ Кареев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия. С. 3—10, 386, 392.

диктатуре³⁵. Общим знаменателем, который позволяет втиснуть в рамки единого понятия весь этот пестрый конгломерат государственных институтов едва ли не всех времен и народов, ученый считал "неограниченную" власть государства: "Общее тут — большее или меньшее устранение общественных сил от дел правления, сосредоточение неограниченной власти в лице главы государства, управление государством исключительно при помощи государевых слуг"³⁶.

С высоты этой предельно абстрактной генерализации Н.И. Кареев трактовал и французскую монархию Старого порядка. Последняя интересовала его не как исторически сложившийся, более или менее эффективно функционировавший и постоянно развивавшийся комплекс государственных институтов, а как "самый рельефный", "типический" образец абсолютизма³⁷. Собственно, вся эволюция французской государственности на протяжении почти полутора тысяч лет укладывалась историком в достаточно простую схему: на смену "античному абсолютизму" Римской империи пришла политическая "феодализация", после чего на рубеже средневековья и нового времени опять началось возрождение абсолютизма, что "в сущности" означало "возвращение к политическим формам императорского Рима"³⁸.

Характеристика Н.И. Кареевым отдельных аспектов функционирования французского государства Старого порядка также довольно абстрактна и схематична. Конкретные факты лишь изредка привлекались им в качестве иллюстративного материала к общим положениям своей интерпретации.

Итак, что же являла собой монархия Старого порядка в изображении "патриарха русской школы" историков Французской революции? В сжатом виде его представления на сей счет могут быть выражены формулой "всепоглощающее государство"³⁹. "Не-свобода", составлявшая, по его мнению, суть абсолютизма, проявлялась, прежде всего, в "полном подчинении всей народной жизни тому, что королевская власть считала своим правом и своим интересом, отождествляя их с правом и интересом самого государства, единственным судьей которых был притом опять-таки сам монарх"⁴⁰. Я не случайно выделил курсивом слово "всей". Н.И. Кареев и в самом деле не только полагал, что "абсолютное государство

³⁵ Там же. С. 419. Подробнее см.: Ростиславлев Д.А. Н.И. Кареев о яковинской диктатуре // Исторические этюды о Французской революции. М., 1998.

³⁶ Кареев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия. С. 4.

³⁷ Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т. 2. С. 384, 386.

³⁸ Кареев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия. С. 3, 18, 27, 425 — 426 и др.

³⁹ Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т. 2. С. 416.

⁴⁰ Кареев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия. С. 194.

нового времени с неограниченной королевской властью во главе стремилось быть всем во всем"⁴¹, но и был убежден, что оно, действительно, преуспело в этом стремлении. По словам историка, французская монархия того периода полностью соответствовала идеалу неограниченной власти, описанной Ж. Боденом⁴².

Абсолютный характер власти французского короля, утверждал Н.И. Кареев, проявлялся в том, что "вся пацция сосредоточивалась в его особе, и государство как бы воплощалось в личности государя"⁴³. В афористичной форме такое положение вещей выражала известная фраза, якобы высказанная Людовиком XIV, "государство — это я". Хотя русский ученый и отмечал, что подлинность этих слов "подвергается сильному сомнению", тем не менее, считал, что они вполне соответствуют "некоторым собственным заявлениям Людовика XIV и в особенности всему его поведению"⁴⁴.

По словам Н.И. Кареева, в "сословной монархии", существовавшей до установления абсолютизма, "король делился в той или иной мере политическими правами с сословиями, представленными на государственных сеймах (во Франции роль таковых играли Генеральные штаты. — А.Ч.). Последние вотировали палаты, принимали участие в издании законов, наблюдали отчасти за действиями администрации, нередко даже выбирали королей"⁴⁵. При абсолютизме же все эти функции перешли к монарху и подчиненному ему бюрократическому аппарату: "Королевская власть и бюрократия взяли на себя законодательную функцию государства, вполне устранив общественные силы от какого бы то ни было участия в издании законов и в преобразовательной деятельности государства. То же самое произошло в области управления и суда, которые все более и более бюрократизировались"⁴⁶.

Согласно Н.И. Карееву, абсолютизму был присущ откровенно волюнтаристский характер управления, когда политические решения определялись исключительно "особенностями психики лиц", стоявших во главе государства, что вело к "противоречивости, непоследовательности или общей несуразности в ведении дел". В качестве "классического образца сумбурности" ученый приводил факт создания Людовиком XV системы тайной дипломатии ("секрета короля"), действовавшей параллельно с офици-

⁴¹ Там же. С. 306; Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т. 2. С. 415.

⁴² Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т. 2. С. 392.

⁴³ Там же. С. 537.

⁴⁴ Там же. С. 548. См. также с. 537; Кареев Н.И. Западно-европейская абсолютная монархия. С. 328.

⁴⁵ Кареев Н.И. Западно-европейская абсолютная монархия. С. 425. См. также с. 121.

⁴⁶ Там же. С. 430.

альной дипломатией. Ученый полагал, что в этом случае король руководствовался "циническим легкомыслием", внося "в управление государством одну путаницу" едва ли не для собственного развлечения⁴⁷.

Столь же откровенный произвол, по словам Н.И. Кареева, абсолютистское государство проявляло и в том, что касалось личных прав подданных: "Король был волен в жизни и смерти своих подданных, как волен был и в их свободе..."⁴⁸. Огромное влияние при абсолютизме, по мнению Н.И. Кареева, имела полиция. Утверждая, что "полицейскому произволу было подчинено все"⁴⁹, он даже называл французскую монархию "полицейским государством". "Что особенно характеризует полицейское государство, так это — неуважение к личным правам: ... произвольные аресты, конфискации, преследование иноверия, перлюстрация частной переписки, цензурные запрещения, сожжения книг рукой палача, гонения, воздвигавшиеся на писателей и т.п."⁵⁰ Суд был лишен какой бы то ни было независимости, являясь "лишь одним из административных ведомств, мало чем отличавшимся от такого, например, ведомства, как полиция"⁵¹.

Доказывая неограниченный характер королевской власти во Франции, Н.И. Кареев, однако, вынужден был как-то объяснять историю многовекового противостояния монархии и традиционных судебных учреждений (парламентов), которая совершенно не вписывалась в его схему: "Эта история взаимных отношений королевской власти и парламента во Франции в высшей степени поразительна ... Ни в каком современном государстве с самым либеральным устройством правительство не потерпит, чтобы должностные лица судебного ведомства вмешивались в законодательную деятельность государства и устраивали общие забастовки судебных учреждений, абсолютная же монархия двух последних Бурбонов должна была это терпеть и ничего не могла с этим поделать"⁵². Впрочем, сколько-нибудь убедительного объяснения этому феномену ученый так и не предложил. Действительно, если подходить к государственным институтам Старого порядка с теми же критериями, что и к "современному государству с самым либеральным устройством", то распря между монархией и традиционными судами, действительно, могла представляться лишь очередным проявлением "общей несуразности в ведении дел". Ссылка же на то, что парламенты как "средневековые учреждения" лишь "доживали до французской революции, общий же тон политической жиз-

⁴⁷ Там же. С. 141 — 142.

⁴⁸ Там же. С. 171.

⁴⁹ Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т. 2. С. 558.

⁵⁰ Там же. Т. 3. С. 44.

⁵¹ Кареев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия. С. 172.

⁵² Там же. С. 133.

ни задавался не ими, а абсолютной королевской властью"⁵³, выглядела скорее как уход от проблемы, а не ее решение, ибо противоречила даже тем немногим конкретным фактам о неуклонно нараставшем на протяжении всего XVIII в. остром соперничестве короны и якобы "доживавших" свой век суверенных судов, которые приводил сам Н.И. Кареев.

"Всепоглощающий" характер абсолютизма проявлялся, по его словам, в тотальном подчинении общества королевской власти, влияние которой распространялось во всех направлениях — и по вертикали, и по горизонтали. По вертикали — через централизацию страны и ликвидацию местного самоуправления, в чем решающую роль, по мнению историка, играли интенданты, обладавшие в провинциях столь широкой властью, что он постоянно сравнивал их с персидскими сатрапами или турецкими пашами⁵⁴. По горизонтали влияние монархии распространялось путем вмешательства государственной власти практически во все области жизни общества — от экономики до культуры. Так, в хозяйственной сфере оно проявлялось в регламентации экономики в целях удовлетворения фискальных потребностей государства или, иными словами, в политике меркантилизма⁵⁵. В области же духовной культуры имело место, с одной стороны, "королевское меценатство" для лояльных трону деятелей искусства, с другой — "подавление всякой духовной свободы ... строгая цензура и сожжение рукой палача произведений печати, в которых проявлялся сколько-нибудь вольный дух, преследование писателей, неугодных властям и сильным мира"⁵⁶.

Общая оценка Н.И. Кареевым исторической роли французского абсолютизма, особенно со второй половины XVII в., носила крайне негативный характер. И если в начальный период своего существования абсолютная монархия еще совершала, по его словам, некоторую созидательную ("органическую") работу, то после смерти Кольбера она стала тормозом для развития страны, которая с этого времени вступила в эпоху "государственного расстройств", "экономического разорения", "задержки в развитии", продолжавшуюся вплоть до Революции XVIII в. Любопытно, что в общем курсе новой истории Н.И. Кареев даже счел излишним подробно освещать данную эпоху, именно потому, что с точки зрения прогресса она являла собою "застой", а то и "возвращение вспять"⁵⁷.

⁵³ Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т. 2. С. 389.

⁵⁴ Там же. Т. 2. С. 415, 558; Т. 3. 48; Кареев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия. С. 154.

⁵⁵ Кареев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия. С. 193 — 195; Он же. История Западной Европы в новое время. Т. 2. С. 416.

⁵⁶ Кареев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия. С. 306 — 307.

⁵⁷ Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т. 2. С. 536.

Знакомясь с кареевской характеристикой дореволюционной Франции Старого порядка, человек, знакомый с реалиями русской истории, думаю, не мог не испытывать ощущения *déjà vu*: описанные историком порядки до боли напоминают картины российской действительности в изображении оппозиционных самодержавию публицистов. Однако в названных работах Н.И. Кареев избегал прямых сравнений французского абсолютизма и русского самодержавия, хотя упоминание о том, что Россия до 1905 г. принадлежала к числу абсолютных монархий⁵⁸, показывает, что он относил оба государства к одному типу. О том же свидетельствует и единственное в его книге об абсолютизме обращение к примеру из русской истории, когда, объясняя разницу между законотворчеством при сословной и абсолютной монархиях, автор вдруг предлагает "отвлечься на минуту от истории Запада" и заводит речь о различиях в процедуре принятия "Соборного уложения" Алексея Михайловича и Свода законов Российской империи Николая I⁵⁹. Такая, несколько неожиданная иллюстрация русским примером рассуждений, строившихся до того на французском материале, давала понять, что, по мнению историка, исторический процесс в обеих странах идет в общем направлении.

Однако подобная, пусть даже имплицитная, констатация сходства в развитии французской монархии Старого порядка и Российской империи предполагала вывод о неизбежности в России такой же революции, какая покончила с абсолютизмом во Франции. Тем более таким выводом было бы чревато открытое отождествление двух указанных типов государственности. Видимо, поэтому Н.И. Кареев, ограниченный в названных работах цензурными рамками, напрямую такого отождествления и не проводил.

Но он это сделал в книге "Великая французская революция", вышедшей уже после падения в России империи. Теперь он уже прямо называл французское государство Старого порядка "самодержавной или абсолютной монархией"⁶⁰, подчеркивая тем самым идентичность французского и российского абсолютизмов. Не сдерживаемый более цензурой, Н.И. Кареев открыто заявил о том, что ранее им только подразумевалось: Французская революция — прямой аналог революции в России. "Наша революция 1905 г., писал он, — была как бы повторением того, что произошло во Франции за сто шестнадцать лет перед тем. В 1789 г. французы сбросили с себя иго королевского самодержавия и сделали попытку его замены конституционной монархией... В 1792 г. во Франции произошла отмена королевской власти и была провозглашена респуб-

⁵⁸ Кареев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия. С. 5, 386.

⁵⁹ Там же. С. 119 — 120.

⁶⁰ Кареев Н.И. Великая французская революция. Пг., 1918. С. 17 (курсив мой. — А.Ч.).

лика. В России повторилось то же самое в 1917 г.⁶¹ Подобно многим своим современникам, Н.И. Кареев верил, что история Французской революции является провозвестием того пути, который предстоит пройти России. Неудивительно, что исходные пункты этого маршрута — монархия Бурбонов и монархия Романовых — представлялись ему столь схожими между собой.

Я так подробно остановился на кареевской интерпретации французского абсолютизма не только потому, что из наших историков Французской революции "патриарх русской школы" больше других уделял внимания данному сюжету, но и потому, что предложенная им трактовка оказалась, как мы увидим далее, "типической" для всей отечественной историографии Революции.

В этом нетрудно убедиться, обратившись, например, к уже упоминавшейся в первой главе научно-популярной книге об абсолютизме, написанной Е.В. Тарле⁶². У нас нет оснований полагать, что, работая над ней, автор находился под влиянием кареевской концепции. Е.В. Тарле написал это сочинение в 1906 г., то есть за два года до появления "Западноевропейской абсолютной монархии" Н.И. Кареева. Вышедшую же ранее "Историю Западной Европы в новое время", где Н.И. Кареев впервые подробно сформулировал свое видение французского абсолютизма, Е.В. Тарле в сносках не упоминает. А если еще вспомнить о разных методологических предпочтениях обоих историков — Тарле симпатизировал марксизму, который Кареев отвергал, — то вряд ли мы бы удивились, обнаружив в их интерпретациях абсолютизма, как минимум, некоторые различия. Однако, напротив, не только в основных положениях, но и во многих частностях эти интерпретации практически совпадают.

Подобно Н.И. Карееву, Е.В. Тарле рассматривает абсолютизм как некий внеисторический феномен, встречавшийся в разные времена и у разных народов: в Вавилонском царстве Хаммурапи, Древнем Египте, Римской империи, средневековой Англии (до XIII в.) и т.д., а наиболее характерным или, точнее, наиболее известным его образцом также считает французскую монархию Старого порядка⁶³. Предложенное Е.В. Тарле ее описание в основе своей повторяет кареевское. Французский монарх якобы обладал ничем не ограниченной, "бесконтрольной властью над человеческой жизнью, честью и достоинством" подданных⁶⁴, в подтверждение чего вновь приводился знаменитый тезис "государство — это я"⁶⁵. Подобная неограниченная власть применялась совершенно

⁶¹ Там же. С. 4.

⁶² Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной Европе. Исторические очерки [1906] // Тарле Е.В. Сочинения: В 12 т. М., 1958. Т. 4. С. 313—440.

⁶³ Там же. С. 321—325, 360.

⁶⁴ Там же. С. 330.

⁶⁵ Там же. С. 346.

волюнтаристским образом, граничившим с произволом, — “без плана, без руководящей мысли, без будущего”, “от случайности к случайности, от авантюры к аванюре”⁶⁶. Тарле сравнивал ее с корабельной пушкой, сорвавшейся во время шторма с креплений. Так, преследование Людовиком XIV гугенотов, которое “страшно вредило плану торгово-промышленного развития Франции”, было, по мнению ученого, вызвано всего лишь желанием “абсолютизма, избавленного от реальных забот”, “занять свои досуги”⁶⁷.

В XVIII в. французская абсолютная монархия, по словам Е.В. Тарле, представляла собой настоящее “экономическое бедствие”, ибо ее действия вели к “экономическому распаду” и “хроническому голоданию нации”⁶⁸. Ну а поскольку ни к каким реформам она не была способна по сути своей — подобную мысль автор книги повторяет неоднократно⁶⁹, — “результат был предрешен всей исторической эволюцией французского народа, революционному поколению оставалось выполнить продиктованную задачу”⁷⁰.

И, наконец, для указанной книги Е.В. Тарле, так же, как и для рассмотренных выше работ Н.И. Кареева, характерна экстраполяция французского исторического опыта на русскую действительность. Причем, если в трудах Кареева, написанных в условиях цензурных ограничений, такая экстраполяция скорее подразумевается, нежели декларируется, то в сочинении Тарле, появившемся во время первой русской революции (1906), исторические параллели между двумя странами проведены вполне открыто. Подобно своему старшему коллеге, Е.В. Тарле писал “Франция”, держа в уме “Россия”.

Ну а уж если даже столь уважаемые профессиональные историки считали возможным проводить прямые аналогии между французской монархией Старого порядка и русским самодержавием — аналогии, имевшие чисто политический подтекст, — то совсем не удивительно, что русская историческая публицистика периода революции 1905 — 1907 гг. соответствующими аналогиями просто изобиловала. Так, в брошюре М. Олениной “Весна народов” мы видим тот же самый набор стереотипных характеристик монархии Бурбонов, что и в научно-популярных трудах названных

⁶⁶ Там же. С. 336. См. также с. 333.

⁶⁷ Там же. С. 365.

⁶⁸ Там же. С. 328, 340, 361.

⁶⁹ “Это обстоятельство коренится в тех же основных, генетических чертах неограниченной монархии: именно вследствие сознания или предчувствия того, что всякая коренная реформа политического строя для него равнозначна с самоупразднением, абсолютизм еще задолго до кризиса так упорно гонит от себя мысль о реформе и помощь реформаторов”. — Там же С. 354. См. также с. 344 — 355.

⁷⁰ Там же. С. 350.

выше исследователей: "самодержавный король"⁷¹, обладавший неограниченной властью ("государство — это я"⁷²), "был хозяином жизни и имущества подданных"⁷³. В стране царил полицейский произвол ("По доносу полиции всякого могли бросить в тюрьму и продержат там сколь угодно долго времени"⁷⁴), "судили судьи, назначенные правительством"⁷⁵, свирепствовала цензура ("книги, учившие любви к ближнему, братству, равенству всех людей, уничтожались как опасные"⁷⁶) и т.д. и т.п. Короли, заявляет автор, "довели свой народ до полного истощения"⁷⁷, в результате чего и произошла Французская революция.

Точно так же описана власть французского монарха и в уже упоминавшейся брошюре анонимного социал-демократа: «Самодержавный господин, с неограниченной властью, он держал в своих руках судьбы целого государства. "Государство — это я", — с гордостью сказал один из королей французских, Людовик XIV»⁷⁸.

После революции 1917 г. аналогия между монархиями Бурбонов и Романовых в значительной степени утратила свою политическую остроту, однако представления о французском государстве Старого порядка как о "королевском самодержавии" суждена была долгая жизнь в отечественной историографии Французской революции.

Советские исследователи Революции уделяли вопросам функционирования государственных институтов Старого порядка гораздо меньше внимания, нежели историки "русской школы", и, касаясь этой темы, фактически ограничивались воспроизведением дефиниций, выработанных предшественниками. Отчасти такая ситуация была связана с процессами, происходившими тогда в соседней профессиональной "галактике" — специалистов собственно по истории Старого порядка. После утверждения в отечественной историографии "классового подхода", они направили свои усилия, прежде всего, на установление "социально-классовой природы" абсолютизма⁷⁹, а изучение его государственных институтов, напротив, оказалось сведено к минимуму. Соответственно и специалисты по Французской революции, говоря о Старом порядке, теперь рассуждали преимущественно о "классовой основе" аб-

⁷¹ Весна народов (Великая французская революция) / Сост. М. Оленина. — Н. Новгород, 1906. С. 7.

⁷² Там же. С. 3.

⁷³ Там же. С. 69.

⁷⁴ Там же. С. 7.

⁷⁵ Там же. С. 8.

⁷⁶ Там же. С. 14.

⁷⁷ Там же. С. 2.

⁷⁸ Великая французская революция. СПб., 1906. С. 7.

⁷⁹ См.: Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Наука "убеждать", или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е — начало 50-х гг. XX века). Тюмень, 2003. С. 34 и далее.

солютизма, а при характеристике самой монархии довольствовались беглым перечнем стереотипных определений: "самодержавная", "неограниченная" и т.д. Причем если подобные представления о "классовой основе" претерпели в ходе острых дискуссий 20–50-х годов довольно существенную эволюцию, то видение "надстройки" все время оставалось неизменным.

Так, Н.М. Лукин в своей работе "Максимилиан Робеспьер" определял власть Людовика XVI как "королевское самодержавие". Правда, тут же, в соответствии с теорией "торгового капитализма" М.Н. Покровского, оговаривал, что «это самодержавие было далеко не безграничным. Король» был не только "первым дворянином своего государства". Само усиление его власти произошло благодаря тесному союзу с *торговым капиталом*... Интересы героев первоначального накопления определяли всю внешнюю и в значительной степени внутреннюю политику Людовика XVI, как и его ближайших предшественников на троне»⁸⁰.

В 30-е годы теория "торгового капитализма" была официально осуждена, а поддерживавшая ее "школа Покровского" подвергнута жестокой критике. И вот уже в 1933 г. С.А. Лотте, автор обобщающего очерка о Французской революции, заявляет, в соответствии с новыми идеологическими веяниями, что абсолютизм "целиком опирался на дворянство, при этом — на его менее прогрессивные слои"⁸¹. Однако в описании ею самого государственного механизма Франции того времени мы вновь слышим хорошо знакомые мотивы: "В дореволюционной Франции существовала абсолютная монархия, то есть самодержавная, не ограниченная никаким представительным учреждением королевская власть"; «Особа короля священна и совершенно независима — "то, что благоугодно государю, имеет силу закона"»; "Административная практика абсолютизма характеризовалась произволом, попытками крайней централизации, полным беззаконием и игнорированием экономических нужд и интересов данной местности" и т.д., и т.д. Ну и, разумеется, в подтверждение — традиционное "государство — это я"⁸².

Еще лаконичней высказался Ф.В. Погемкин, так охарактеризовавший французскую монархию во введении к известному коллективному труду о Революции XVIII в.: «Располагая неограниченной властью, освященной теорией так называемого "божественного права", король мог по своему усмотрению решать все дела административные и судебные, объявлять войну или заключать мир, издавать или отменять любые законы»⁸³. Парадоксально, но этой лапидарной формулировкой, да разве что еще краткой репликой о

⁸⁰ Лукин Н.М. Максимилиан Робеспьер // Лукин Н.М. Избранные труды. М., 1960. Т. 1. С. 23.

⁸¹ Лотте С.А. Великая французская революция. М.; Л., 1933. С. 41.

⁸² Там же. С. 40, 41 — 42, 44.

⁸³ Французская буржуазная революция, 1789 — 1794. М.; Л., 1941. С. 1.

всевластия на местах интендантов, подобных персидским сатрапам⁸⁴, практически исчерпывается все, что создатели этого 850-страничного тома сочли необходимым сказать о французском абсолютизме. Видимо, им механизм действия государственных институтов предреволюционной Франции представлялся настолько очевидным, что просто не заслуживал более подробного описания.

И в послевоенные годы советская историография Французской революции, характеризуя монархию Старого порядка, продолжала воспроизводить те же самые стереотипы, восходящие к сочинениям представителей "русской школы". Приведу в качестве примера два наиболее широко известных в нашей стране и неоднократно переиздававшихся обобщающих труда по истории Французской революции, написанные соответственно А.З. Манфредом и В.Г. Ревуненковым.

Первое издание работы А.З. Манфреда вышло в 1950 г.⁸⁵, второе, радикально переработанное и значительно дополненное — в 1956 г.⁸⁶, третье — уже после смерти автора⁸⁷. Таким образом, хотя данное сочинение сохраняло определенную научную актуальность, в частности благодаря последнему переизданию, до конца XX в., изложенные в нем идеи соответствовали уровню, достигнутому данным направлением отечественного франковедения к середине 1950-х годов. Вот какой виделась тогда французская абсолютная монархия одному из ведущих советских историков Революции XVIII в.:

«Король по-прежнему обладал неограниченной, самодержавной властью; ему принадлежало окончательное решение всех внутренних и внешних дел государства, он назначал и смещал министров и чиновников, издавал и отменял законы, карал и миловал. Людовик XVI ... любил напоминать о своих самодержавных правах и ссылаться на "божественное начало" своей неограниченной власти. В годы его правления царял полный произвол ... Огромный бюрократический аппарат абсолютистской монархии охватывал своими щупальцами все области общественной и даже личной жизни ... Невежественные и продажные чиновники ревностно следили за неизбежностью установленных порядков и подвергали мелочной опеке и контролю производство, торговлю, строительство, просвещение, культуру, все сферы духовной жизни и частную жизнь подданных короля... С крайней придирчивостью правитель-

⁸⁴ "... Все провинции управлялись интендантами, пользовавшимися огромной властью. Современники сравнивали этих всемогущих чиновников с персидскими сатрапами". — Там же. С. 2.

⁸⁵ Манфред А.З. Французская буржуазная революция конца XVIII в. 1789 — 1794. М., 1950.

⁸⁶ Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII века. М., 1956.

⁸⁷ Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983.

ство контролировало и держало под неусыпным полицейским надзором произведения человеческой мысли... Всякое печатное слово находилось под строгой цензурой»⁸⁸.

Если заранее не знать, что автор этих строк написал их в середине XX в., вполне можно было бы подумать, что мы имеем дело с текстом рубежа XIX – XX столетий, так сильно все здесь сказанное напоминает пассажи из работ Н.И. Кареева о “всепоглощающем” государстве.

Впрочем, ничуть не меньшее ощущение *déjà vu* испытываешь при ознакомлении с характеристикой французской абсолютной монархии в трудах В.Г. Ревуненкова, написанных в гораздо более поздний период. Хотя широкую известность и в профессиональных кругах, и среди широкой читающей публики этому автору принесло участие в дискуссии 60 – 70-х годов о классовой природе якобинской диктатуры, ему приходилось высказываться в печати не только по этой теме, но и по самому широкому спектру проблем Французской революции, в частности как автору обобщающего труда о ней, на текущий момент последнего в отечественной историографии. Первое издание этой работы появилось в двух томах в 1982 – 1983 гг.⁸⁹ Последующие, вышедшие одной книгой, – в 1989, 1996 и 2003 гг.⁹⁰ Причем каждое из них автор не только пополнял некоторым фактическим материалом, но и постоянно раздвигал хронологические рамки текста, добавляя к нему все новые главы. Иначе говоря, в определенном смысле можно сказать, что мы имеем дело не столько с переизданиями одного произведения, сколько с серией обобщающих трудов по истории Французской революции, над которой В.Г. Ревуненков работал на протяжении последних двух десятилетий XX в. В каждой из этих книг есть раздел о положении Франции накануне Революции, и от издания к изданию он увеличивался в объеме за счет включения в него все новых фактических данных, однако концептуальная характеристика французского абсолютизма не претерпевала ни малейших изменений:

“В XVIII в., как и раньше, французские короли обладали абсолютной, т.е. неограниченной властью... Король мог устанавливать и собирать любые налоги, не спрашивая разрешения у кого-либо. Он мог издавать и отменять любые законы, объявлять войну и за-

⁸⁸ Там же. С. 21 – 23.

⁸⁹ Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. Падение монархии 1789 – 1792. Л., 1982; Он же. Очерки по истории Великой французской революции. Якобинская республика и ее крушение. Л., 1983.

⁹⁰ Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции, 1789 – 1799. 2-е изд. Л., 1989; Он же. Очерки по истории Великой французской революции, 1789 – 1814. 3-е изд., доп. СПб., 1996; Он же. История Французской революции. СПб., 2003.

ключать мир, решать по своему усмотрению все административные и судебные дела ... Главной фигурой в провинциальном управлении уже давно стали интенданты. Центральная власть отправляла на места высших чиновников судебных и иных ведомств, облеченных всей полнотой власти: административной, финансовой, судебной, а впоследствии даже и военной... При дворе короля царили интриги и творился чудовищный произвол. Король в гневе мог бросить в тюрьму кого угодно и держать его там десятки лет без суда, даже без предъявления обвинений"⁹¹.

Как видим, если у В.Г. Ревуненкова и были острые противоречия с А.З. Манфредом в оценках якобинской диктатуры, то характеристики французского абсолютизма, данные обоими историками, полностью совпадают. Более того, эти характеристики, как видим, практически целиком совпадают и с интерпретацией французской монархии Старого порядка Н.И. Кареевым. Так же, как и он, оба крупнейших советских специалиста по истории Французской революции фактически сводят суть абсолютистского государства к знаменитому "государство — это я", причем, в отличие от Н.И. Кареева, сомневавшегося в подлинности данного высказывания, считают, что Людовик XIV, действительно, подобным образом сформулировал основополагающий принцип своего правления⁹².

Ознакомившись с представлениями отечественных историков Французской революции о том государственном строе, который она разрушила, нетрудно убедиться, что за сто с лишним лет эти представления не претерпели существенных изменений. Почти все из рассмотренных нами авторов считали французскую монархию Старого порядка "самодержавной", а те, кто этот термин не использовал, характеризовали ее как "неограниченную", что, строго говоря, означает то же самое, ведь словарь В.И. Даля определяет "самодержавие" как "управление *самодержавное*, монархическое, полновластное, неограниченное, независимое от государственных учреждений, соборов или выборных, от земства и чинов"⁹³. Любопытно заметить, что, хотя уже в середине XX в. отечественные лингвисты ограничили употребление понятия "самодер-

⁹¹ Ревуненков В.Г. Очерки... 1982. С. 22 — 25; 1989. С. 29 — 32; 1996. С. 36 — 39. В издании 2003 г. автор смягчил некоторые формулировки, в частности были сняты первое и последнее из процитированных здесь предложений (прочие остались без изменений). Однако в целом эта правка носила скорее косметический характер и не затрагивала сути авторской концепции абсолютизма. См.: Ревуненков В.Г. История Французской революции. С. 33 — 36.

⁹² Манфред А.З. Великая французская революция. С. 36; Ревуненков В.Г. Очерки... 1982. С. 23; 1989. С. 30; 1996. С. 37.

⁹³ Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. доп. и испр. СПб.; М., 1882. Т. 4. С. 133.

жавие" исключительно российским контекстом⁹⁴, в исторической литературе оно, как мы видели, по-прежнему применялось также и по отношению к дореволюционной Франции.

Но обладал ли французский король реально такой же властью, как царь в России? Действительно ли французская монархия была "самодержавной" или хотя бы, по меньшей мере, воспринималась как таковая своими современниками?

* * *

Начнем с теоретического аспекта проблемы и рассмотрим, как представляли себе французскую монархию Старого порядка ее идеологи.

Уже с конца XIII в., находившиеся на службе у французского короля правоведы — легисты — прилагали немало усилий, стремясь обосновать "абсолютный" характер власти своего монарха. Для этого они активно использовали формулировки римского права, вычленив их из исторического контекста и перенося на французскую почву: *Quod principi placuit legis habet vigorem* (Что угодно государю имеет силу закона), *Princeps legibus solutus est* (Государь выше закона), *Princeps id est lex* (Государь и есть закон) и т.д.⁹⁵

Однако эти принципы, из раза в раз воспроизводившиеся авторами юридических трактатов, вовсе не следует воспринимать как адекватное отражение политической реальности того времени. Речь скорее шла о желаемом, нежели о действительном. В самом деле, достаточно вспомнить о событиях французской истории XIV — XV вв. — о прекращении основной линии Капетингов; о претензиях английских королей на французский престол, поддержанных во время Столетней войны частью элит Франции; о гражданских войнах между королем и его могущественными вассалами, такими, как герцог Бургундский, — чтобы убедиться, насколько реальные возможности французских монархов воплотить свою волю в закон, обязательный для всех подданных, были далеки от провозглашаемых легистами принципов. Соответственно апелляция к нормам римского права, закреплявшим в древности за императором практически неограниченную власть, в исторических условиях Франции XIV — XV вв. никоим образом не могла предполагать реального наделения короля столь же безбрежными полномочиями, а скорее имела вполне конкретную и гораздо более скромную цель — обеспечить французскому мо-

⁹⁴ "Самодержавие... в дореволюционной России: неограниченная верховная власть царя, а также система, основанная на такой власти". — Ожегов С.И. Словарь русского языка (1-е изд. — 1949). М. 1973. С. 639.

⁹⁵ См.: Krynen J. Droit romain et Etat monarchique. A propos du cas français // Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Age. P., 1995.

нарху всю полноту верховной власти в его собственных владениях. Выводимый из римского права принцип *Rex Franciae in regno suo princeps est* (Король Франции — император в своем королевстве) использовался легистами для обоснования “абсолютного” характера власти французского монарха, что собственно означало независимость во внешней политике от Папы и от императора Священной Римской империи, претендовавших тогда на главенство в христианском мире, а во внутренней — право на *imperium*, высшую власть в государстве⁹⁶.

Однако признание за королем абсолютной власти никоим образом не означало наличия у него власти неограниченной, которую он мог бы использовать по собственному произволу. Обратимся к мнению Клода Сейсселя (1450/55 — 1520), одного из наиболее авторитетных в XVI в. специалистов в данной области права. Этот выходец из Савойи, долгое время преподававший юриспруденцию в Туринском университете, с 1492 г. находился на службе у французских королей Карла VIII и Людовика XII. После воцарения Франциска I (1515) Сейссель ушел в отставку, избрав духовную карьеру, но перед этим написал для молодого короля сочинение “Великая монархия Франции”, где изложил основные принципы устройства и функционирования государства. Доказывая преимущества единоличной власти, Сейссель, тем не менее, подчеркивал: “Абсолютная власть государя и монарха, каковая при неразумном использовании называется тиранией, является ограниченной и упорядоченной (*réduite à civilité*)”⁹⁷. В представлении Сейсселя, такие ограничения имеют моральный характер (религиозные заповеди), правовой (законы) и институциональный (суверенные суды — Парламент и Счетная палата). Причем суверенные суды, подчеркивал он, “специально созданы для этой цели — ограничивать абсолютную власть, которой хотели бы пользоваться государи”⁹⁸.

Мнение Сейсселя о правомерности подобной функции суверенных судов не разделялось другими, более поздними идеологами французского абсолютизма. Однако никто из них не ставил под сомнение сам принцип необходимости существования ограниченной для королевской власти.

Чаще всего в роли такого ограничителя выступала религия. Моральные требования, предъявляемые ею к монарху, носили в эпоху Старого порядка вполне реальный и достаточно действен-

⁹⁶ Подробнее см.: *Krynen J. L'Empire du roi. Idées et croyance politiques en France XIII^e — XV^e siècle. P., 1993.*

⁹⁷ *Seysseil Cl. La Grant Monarchie de France. P., 1519. Цит. по: Richet D. La France moderne: l'esprit des institutions. P., 1973. P. 44.*

⁹⁸ *Ibid. P. 45.* О взглядах К. Сейсселя см. также: *Малов В.Н. Три этапа и два пути развития французского абсолютизма // ФЕ 2005. М., 2005. С. 116 — 117.*

ный характер; они еще не превратились всего лишь в благие и Мелло к чему обязывающие пожелания, как это произойдет позднее, вместе с секуляризацией общественного сознания. При коронации французский король давал клятву защищать христианскую религию, а потому откровенное нарушение им традиционных норм морали — в своей основе христианской — было чревато утратой им легитимности. Даже те идеологи монархии, кто считал короля стоящим выше земных законов (а это мнение, как мы увидим, разделяли далеко не все), полагали, что он *обязан* согласовывать свои действия с требованиями высшей справедливости. Именно об этом счел необходимым напомнить Франциску I президент Парламента Гийар в 1527 г.: "Мы не собираемся ставить под сомнение или оспаривать вашу власть ... Но мы хотим сказать, что вы не желаете или что вы не должны желать всего того, что можете, ведь только в этом заключаются здравый смысл и благоразумие, которые есть нечто иное, как справедливость"⁹⁹.

Знаменитый гуманист и правовед Жан Боден (1530 — 1596), изложивший в трактате "Шесть книг о Государстве" (1576) учение о суверенитете, которое в историографической традиции справедливо считается краеугольным камнем теории абсолютизма, также признавал существование установленных свыше законов, ограничивавших власть короля.

Суверенитет, согласно Бодену, это высшая власть в государстве. Одним из главных ее признаков является неделимость. "Ведь тот, кто имеет право устанавливать для всех законы, иначе говоря, приказывать или запрещать что-либо по своему усмотрению, таким образом, что никто не вправе ему возражать или противиться его распоряжениям, не разрешит никому другому заключать мир, объявлять войну, собирать налоги, принимать присягу и почести"¹⁰⁰. В зависимости от того, кому принадлежит суверенитет — всему народу, его части или одному человеку, — государства делятся на демократии, аристократии и монархии. Определяющий признак монархии как формы правления — принадлежность "абсолютного суверенитета" одному-единственному лицу, государю¹⁰¹.

Однако в зависимости от способа применения этой единоличной власти Боден делит все монархии на три вида: королевские сеньориальные и тиранические: "Королевская или легитимная монархия — это та, где подданные подчиняются законам монарха, а монарх — естественным законам (*lois de nature*), обеспечивающим естественную свободу и неприкосновенность собственности подданных. Сеньориальная монархия — та, где государь, став силой

⁹⁹ Цит. по: *Knecht R. François I and the "Lit de justice": A "legend" defended // French History. 1993. N 1. P. 81.* Курсив мой. — А.Ч.

¹⁰⁰ *Bodin J. Les six livres de la République (1576). P., 1986. Livre 2. P. 26.*

¹⁰¹ *Ibid. P. 7, 31.*

оружия и в честной войне повелителем над собственностью и людьми, управляет подданными, как отец семейства своими рабами. Тираническая монархия — та, где монарх, попирая естественные законы, обращается со свободными людьми как с рабами, а с их собственностью, как со своей"¹⁰².

Таким образом, если в классификации Бодена граница между сеньориальной монархией и тиранией представляется довольно размытой¹⁰³, то между ними двумя, с одной стороны, и королевской монархией — с другой, она, напротив, весьма четкая. Главным отличием королевской или легитимной монархии от остальных является соблюдение государем "естественных законов", которые определяют границы его власти, не распространяющейся на сферу личных свобод его подданных и на их собственность.

Представления о существовании некоего "естественного закона" сложились еще в античности. Его классическое определение дал Цицерон: "Истинный закон — разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга, приказывая ... На все народы в любое время будет распространяться один извечный и неизменный закон, причем будет один общий как бы наставник и повелитель всех людей — Бог, создатель, судья, автор закона"¹⁰⁴. В средние века идея "естественного закона" получила развитие в томистской теологии. Таким образом, применяя данное понятие, Боден опирался на давнюю традицию западноевропейской общественной мысли, однако, в отличие, например, от Цицерона, придавал ему более конкретный смысл, трактуя как прямой запрет государю "королевской или легитимной монархии" посягать на личную свободу и собственность подданных. Ну а поскольку Францию Боден считал именно "королевской монархией", власть французского государя, согласно этой теории, отнюдь не представлялась неограниченной. В отличие, кстати, от власти царя "Московии", которую Боден относил к "сеньориальным монархиям", ибо там "подданные называются холодами (Chlopes), то есть рабами"¹⁰⁵.

¹⁰² Ibid. P. 34 — 35.

¹⁰³ Война, согласно Бодену, может стать источником власти не только для сеньориального монарха, но и для тирана: "Государь, который путем войны или другими несправедливыми средствами превратил свободных людей в рабов и лишил их имущества, является не сеньориальным монархом, а тираном" (Ibid. P. 36). Иначе говоря, различие между первым и вторым зависит лишь от такого субъективного и амбивалентного фактора, как признание завоевательной войны либо "честной" (bonne), либо "несправедливой" (injuste).

¹⁰⁴ Цицерон. О государстве. III. XXII. 33 // Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. М., 1966. С. 64.

¹⁰⁵ Bodin J. Op. cit. Livre 2. P. 37. О правовых взглядах Ж. Бодена см. также: Малов В.Н. Три этапа и два пути... С. 117 — 119.

Другие специалисты по французскому праву, современники Бодена, полагали, что власть короля ограничена не только установленными свыше "естественными законами", но и вполне конкретными нормами позитивного права, имманентно присущими французской "конституции", то есть государственному устройству страны. В 1586 г. президент Парижского парламента Ашиль де Гарлей (Harlay) так объяснял это Генриху III: "У нас, Сир, есть два вида законов: один — законы и ордонансы короля, другой — ордонансы королевства, неизменные и нерушимые, в соответствии с которыми вы взошли на королевский трон. Таким образом, вы должны соблюдать законы королевства, которые нельзя нарушить, не поставив под сомнение вашу власть"¹⁰⁶. Именно с 80-х годов XVI в. тезис о существовании подобных нерушимых "законов королевства", называемых также "фундаментальными", получил во французской правовой мысли широкое распространение и в дальнейшем, до самого конца Старого порядка, воспринимался как непреложная истина. Правда, поскольку "фундаментальные законы" как таковые никогда официально не формулировались¹⁰⁷, относительно их числа и содержания не было единства мнений ни среди специалистов по обычному праву, ни позднее — среди историков: одни насчитывали их не больше двух, другие доводили их число до пяти. Однако все соглашались с тем, что "фундаментальными законами" бесспорно можно признать, как минимум, "салический" порядок наследования короны и запрет на отчуждение королевского домена¹⁰⁸.

Не останавливаясь на теоретиках абсолютизма первой половины XVII в., являвшихся, по оценке французского историка Д. Рише, во многом интерпретаторами и эпигонами Бодена¹⁰⁹, сразу перейду к взглядам Жака-Бениня де Боссюэ (1627 — 1704) — пожалуй, последнего крупного идеолога абсолютной монархии во Франции. Знаменитый проповедник, историк и теолог, епископ Боссюэ был в 1670 — 1680 гг. воспитателем дофина, для которого написал своего рода инструкцию по управлению государством — трактат "Политика, извлеченная из Священного Писания".

Признавая королей наместниками (*gouverneurs*) Бога на земле, Боссюэ был убежден, что они должны обладать в своих государст-

¹⁰⁶ Цит. по: *Cosandey F., Descimon R. L'absolutisme en France. P., 2002. P. 56.*

¹⁰⁷ "При купюжном (обычном) праве трудность состояла в том, чтобы определить, какая норма является фундаментальной, какая нет. В разные периоды при решении разных конкретных проблем некоторые корпорации либо общественные группы пытались объявить фундаментальными те нормы, которые признавались не всеми... На самом же деле фундаментальными следует считать лишь законы, основанные на прецеденте, принимаемые традицией и опирающиеся на общий консенсус". — *Richet D. Op. cit. P. 46 — 47.*

¹⁰⁸ Подробнее см.: *Ibid. P. 46 — 54; Cosandey F., Descimon R. Op. cit. P. 55 — 62.*

¹⁰⁹ *Richet D. Op. cit. P. 45.* Подробнее о взглядах некоторых из них см.: *Малов В.Н. Три этапа и два пути... С. 119 — 125.*

вах абсолютной властью. В его понимании, абсолютный характер власти монарха состоял в следующем: "Государь ни перед кем не должен отчитываться за свои распоряжения"; "Когда государь выносит приговор, других приговоров быть не может"¹¹⁰; "Не может существовать иной силы принуждения (*force coactive*, от лат. *coactio* — принуждать. — А.Ч.), кроме силы государя"¹¹¹.

Иными словами, абсолютному монарху, согласно Боссюэ, принадлежала вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти в стране. Вместе с тем, это отнюдь не означало, что король обладал неограниченной властью. Словно отвечая упомянутым нами историкам, Боссюэ писал: "Королевская власть абсолютна. Дабы сделать это понятие одиозным и недопустимым, некоторые нарочито смешивают абсолютное правление с самовластным (*arbitraire*). Но нет ничего более непохожего одно на другое..."¹¹²

По количеству предусмотренных для монарха ограничений Боссюэ оставляет Бодена далеко позади себя. Уже сама по себе характеристика, данная Боссюэ королевской власти, содержит указание на пределы ее применения: "Существуют четыре основные черты или качества королевской власти. Во-первых, она священна; во-вторых, носит отеческий характер; в-третьих, абсолютна; в-четвертых, *подчинена разуму*"¹¹³. Под разумом Боссюэ имеет в виду не только присущее людям здравомыслие ("управление — это труд, требующий разума и соображения"¹¹⁴), но и промысел Божий, нашедший воплощение в "естественном законе": "Все законы основываются на главном из них — на законе природы, так сказать, на здравом смысле и естественной справедливости"¹¹⁵.

Видя, подобно Бодену, в установленном свыше "естественном законе" действенный ограничитель применения монархом своей власти, Боссюэ, однако, идет еще дальше, утверждая, что ее "абсолютный" характер отнюдь не освобождает королей и от соблюдения норм позитивного права¹¹⁶. Причем, речь идет не только о "фундаментальных законах", менять которые не могут даже короли¹¹⁷, но и обо всех существующих в обществе правовых нормах:

¹¹⁰ Bossuet J.B. *Politique tirée de propres paroles de l'Écriture Sainte*. IV. I. 1 — 2 // *Cœuvres de Bossuet*. P., 1866. Т. 1. P. 333 — 334.

¹¹¹ "Принудительной силой называется власть проводить в жизнь и исполнять законно принятые решения. Одному только государю принадлежит право выносить законные решения; ему же одному принадлежит и принудительная сила". — *Ibid.* IV. I. 3.

¹¹² *Ibid.* IV. I. P. 333.

¹¹³ *Ibid.* III. I. 1. P. 322. Курсив мой. — А.Ч.

¹¹⁴ *Ibid.* V. I. 1. P. 342.

¹¹⁵ *Ibid.* I. IV. 2. P. 307.

¹¹⁶ *Ibid.* IV. I. 4. P. 335.

¹¹⁷ «Это прежде всего о них, о фундаментальных законах написано, что, когда их нарушают, "все основания земли колеблются" (Пс. 81. 5), после чего империи не могут не пасть». — *Ibid.* I. IV. 8.

“Короли, таким образом, подчиняются, как и все остальные люди, справедливости законов, и потому, что сами должны быть справедливыми, и потому, что должны подавать народу пример соблюдения законности; однако они не могут подвергаться предусмотренным законами наказаниям; то есть они, говоря языком теологии, подчиняются законам не как власти принудительной (*puissance coactive*), а как власти указующей (*puissance directive*)”¹¹⁸.

На первый взгляд может показаться, что данное положение носит исключительно декларативный характер и ни к чему реально монарха не обязывает, поскольку именно он и является творцом тех законов (кроме “фундаментальных”), подчинения которым от него требуют. Разве не может принять он по собственному произволу такие законы, соблюдение которых его потом ни в чем бы не стесняло? Оказывается, нет. Во всяком случае, по мнению Боссюэ. Перечисляя *обязанности* государя (характерно, что перечень их значительно превосходит по объему перечень королевских полномочий), Боссюэ подчеркивает: “Цель управления — благо и сохранение государства. Чтобы его сохранить, надо в первую очередь поддерживать в нем правильное устройство (*constitution*)... Правильное устройство государственного организма обеспечивают две вещи — религия и законность (*justice*)”¹¹⁹. Причем, и сама законность имеет в своей основе присущее религии представление о высшей справедливости: “При справедливом Боге, нет места сугубо произвольной власти”¹²⁰.

Таким образом, в представлении Боссюэ, признание королей наместниками Бога на земле не только служило оправданием “абсолютного” характера их власти, но и налагало на них строгие обязательства: “Они получили власть свыше, а потому... не должны думать, что вольны распоряжаться ею по своей прихоти; они обязаны использовать ее со смирением и сдержанностью, как вещь, которую получили от Бога и за которую им придется дать Богу ответ”¹²¹.

Государь, по мнению Боссюэ, не может иметь интереса, отличного от интереса своих подданных; правильно организованное управление (*gouvernement réglé*) должно иметь целью, прежде всего,

¹¹⁸ Ibid. IV. I. 4. P. 336.

¹¹⁹ Ibid. VII. I. P. 383 — 384. Я перевожу здесь *justice* как “законность”, а не как “справедливость”, чтобы не смешивать его с понятием *équité*, которое тоже переводится на русский язык как “справедливость”. С определенной долей условности, можно сказать, что у Боссюэ понятие *équité* означает справедливость, установленную свыше, а *justice* — справедливость, воплощенную в закон, то есть собственно “законность”.

¹²⁰ Ibid. VIII. I. 4. P. 415 — 416.

¹²¹ Ibid. III. II. 4. P. 324.

защиту их прав¹²². В противном случае монарх превращается в тирана: "Истинное призвание государя — заботиться о нуждах народа, тогда как тиран думает только о себе"¹²³.

Антиподом "упорядоченному государству" (*État policé*) для Боссюэ является уже упоминавшееся "самовластное правление", которое он подробно характеризует, чтобы показать различие двух типов власти:

"У людей встречается и такой вид правления, который называют самовластным, но которого не встретить в наших полностью упорядоченных государствах. Для подобного вида правления характерны четыре особенности. Во-первых, подданные являются там рабами от рождения, так сказать настоящими сервами, и среди них нет свободных людей. Во-вторых, там ни у кого нет права собственности; все достояние принадлежит государю, и не существует права наследования, даже от отца к сыну. В третьих, государь имеет право распоряжаться по своей прихоти не только имуществом, но и жизнью подданных, как поступают с рабами. И наконец, в-четвертых, там нет другого закона, кроме его воли... Эти четыре особенности весьма далеки от наших нравов; а потому самовластное правление не имеет у нас места. Абсолютное правление не то же самое, что самовластное. Оно абсолютно в том, что касается внешнего принуждения; нет никакой силы, способной принудить государя, который в этом смысле независим от любой человеческой власти"¹²⁴.

В отличие от Бодена, утверждавшего в трактате "Шесть книг о Государстве", что подданным лучше проявлять смирение, даже если монарх нарушает "естественные законы"¹²⁵, Боссюэ фактически допускал право подданных на сопротивление власти, нарушающей их права. Причем, формально он, казалось бы, строго следовал за своим предшественником, заявляя, что "подданные не должны противиться насилию со стороны государя, кроме как, не бунтуя и не ропща, почтительными ремонстрациями и просьбами изменить его поведение"¹²⁶. Однако, по сути, учение Боссюэ содержало достаточно предпосылок и для более радикальных выводов.

Так, из тезиса о том, что короли служат наместниками Бога на земле, он выводил положение об иерархии правовых норм, освобождавшее человека от обязанности подчинения монарху, если распоряжения последнего противоречат установленным свыше законам: "Точно так же, как не надо подчиняться наместнику, ес-

¹²² Ibid. I. III. 5. P. 306; I. IV. 6. P. 308.

¹²³ Ibid. III. III. 5. P. 327.

¹²⁴ Ibid. VIII. II. 1. P. 417.

¹²⁵ Правда, сам Боден своему призыву не последовал и в 1589 г. поддержал противников Генриха III, оправдывая это тем, что "король превратился в тирана".

¹²⁶ Bossuet J.B. Op. cit. VI. II. 6. P. 379.

ли он действует вразрез с приказами короля, тем более не надо подчиняться королю, если он нарушает приказы Бога"¹²⁷. Если же вспомнить, что, согласно Боссюэ, религия должна быть основой законности, то при подобном подходе любое серьезное нарушение норм права могло бы быть расценено как "нарушение приказов Бога".

Кроме неподчинения со стороны подданных, сочинение Боссюэ изобилует обещаниями и других кар не только тирану, но и просто нерадивому монарху: "Все зло, которое грабители причинят его людям, пока он, покинув тех, предается своим удовольствиям, падет на его голову"; "Государь, бесполезный для блага народа, будет наказан так же, как тиран, который этот народ тиранит"¹²⁸. И если содержащаяся в этих пассажах угроза выглядит еще не слишком определенно, то в следующем она более чем конкретна: «Государь, пробудивший своими насилиями ненависть к себе, постоянно находится на волосок от смерти. В нем видят не человека, а свирепого зверя. "Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом" (Прит. 28, 15)»¹²⁹.

Заметим, это пишет не какой-нибудь оппозиционный публицист, анонимный автор "мазаринады" периода Фронды, а один из ближайших сподвижников Людовика XIV — короля, чье правление историки традиционно считают временем наивысшего расцвета абсолютизма. Тем не менее нарисованный Боссюэ идеал абсолютной монархии не только не имеет ничего общего с неограниченной властью, но и прямо противопоставлен ей автором.

Любопытно, что идеи Боссюэ о принципиальном отличии французской монархии от "самовластного правления" оказываются во многом близки взглядам его младшего современника Шарля Луи де Монтескье (1689—1755), которого отнюдь нельзя отнести к числу апологетов абсолютизма. Классифицируя все государства по трем видам правления — республика, монархия и деспотизм, Монтескье наделял последний практически теми же самыми признаками, которые Боссюэ находил у "самовластного правления". Если монархией, согласно Монтескье, "управляет один человек, но посредством установленных неизменных законов", то при деспотизме "все вне всяких законов и правил движется волей и произволом одного лица"¹³⁰; если "в хорошо управляемых монархиях почти всякий человек является хорошим гражданином", то при деспотизме "все люди рабы"¹³¹; если при монархическом правлении право собственности гарантировано законом, то при деспотическом "личность не имеет обеспеченного имущества" и даже

¹²⁷ Ibid. VI. II. 2. P. 376.

¹²⁸ Ibid. III. III. 5—6. P. 328.

¹²⁹ Ibid. III. III. 14. P. 333.

¹³⁰ Монтескье Ш.Л. О духе законов. II. 1. М., 1999. С. 17.

¹³¹ Там же. III. 7—8. С. 31—32.

случается, что "государь объявляет себя собственником всех земель и наследником всех своих подданных"¹³².

Однако в отличие от Боссюэ, избегавшего упоминать конкретные страны, где существует самовластье¹³³, Монтескье, рассуждая о деспотизме, прямо называл государства, где такое правление существует. К их числу он, кстати, относил и Россию, из истории которой постоянно черпал примеры, иллюстрирующие особенности деспотической власти¹³⁴.

Францию же Монтескье деспотическим государством не считал, хотя и относился достаточно критически к существовавшим в ней порядкам. Французское королевство, по его мнению, являло собой классический образец монархии, где власть государя имеет институциональные и правовые ограничения. Что касается последних, то именно управление в соответствии с нормами права и служило для Монтескье отличительной чертой данного вида государственного устройства, где "все определяет и сдерживает сила законов"¹³⁵. В свою очередь, соблюдение законов, отмечал он, контролируют особые учреждения — "политические коллегии" (Монтескье обозначает этим эвфемизмом парламенты), которые вместе с "посредствующими властями" (сословными институтами) фактически выступают институциональными ограничителями королевской власти¹³⁶. Как видим, крупнейший политический мыслитель французского Просвещения оказался полностью солидарен с ведущими идеологами абсолютной монархии в отрицании неограниченного характера власти французского короля.

А как же знаменитые слова "государство — это я!", якобы произнесенные Людовиком XIV на заседании Парижского парламента 13 апреля 1655 г.? Увы, данное высказывание, цитируемое бесконечной чередой авторов в подтверждение претензий французских монархов на неограниченную ("самодержавную") власть, есть не что иное, как апокриф. Вот мнение на сей счет видного французского историка, автора новейшего биографического исследования о "короле-солнце", Ф. Блюша: "Хотя так и не удалось найти того, кто придумал эти слова сумасшедшего тирана, на протяжении почти трех столетий невежды приписывали их Людовику XIV... В этом фрагменте черной легенды нет ничего достоверного"¹³⁷.

¹³² Там же. V. 9, 14—15. С. 56, 60—64.

¹³³ "Вот что называется самовластным правлением. Я не хочу рассматривать, законно оно или нет. Есть народы и огромные империи, которых оно устраивает, и мы не должны их смущать относительно их формы правления. Довольствуемся тем, что скажем: оно царварское и одиозное". — *Bossuet J.B. Op. cit. VIII. ll. 1. P. 417.*

¹³⁴ См., например: *Монтескье Ш.А. Указ. соч. V. 14. С. 59—62* и др.

¹³⁵ Там же. III. 3. С. 27.

¹³⁶ Там же. II. 4. С. 23—25.

¹³⁷ *Bluche F. Louis XIV vous parle. Mots et anecdotes. P., 1988. P. 239.*

Действительно, ни один из источников не содержит ни малейшего намека на подобный факт. Хотя юный Людовик и в самом деле был очень недоволен намерением парламента вновь вернуться к обсуждению зарегистрированных накануне налоговых эдиктов, его слова, обращенные к судьям и занесенные в парламентские регистры, звучали следующим образом: "Господа, каждый знает о несчастьях, вызванных собраниями членов парламента (имеется в виду Фронда. — А.Ч.). Я намерен впредь этого не допускать, а потому требую прекратить обсуждение внесенных мною эдиктов, так как я хочу видеть исполненными. Господин первый президент, я вам запрещаю терпеть подобные собрания, и пусть ни один из вас об их созыве не просит". После чего король, как отмечает секретарь, "тут же удалился". Существует и другой, независимый источник, повествующий об этом заседании, — дневник одного из парижских буржуа. Но и там нет ни слова о претензии юного монарха на отождествление себя с государством¹³⁸.

"Король-солнце" не только никогда не произносил знаменитой фразы, но и более того, как считает Ф. Блюш, "не смог бы это сделать по той простой причине, что никогда так не думал, даже будучи в зените своего могущества и славы. Он будет считать себя слугой государства, отдаст ему всего себя, возможно, он будет думать, что является основной опорой государства. Но ни в коей мере он не будет считать, что воплощает государство"¹³⁹.

Добавим также, что не только Людовик XIV, но и никто другой из французских королей эпохи Старого порядка не мог предъявить подобных претензий, поскольку неотъемлемым элементом доктрины французского абсолютизма было признание государем "совершенно конкретных ограничений его власти традиционными правами и привилегиями корпораций, то есть разнообразных формальных групп подданных"¹⁴⁰.

* * *

Многочисленные и разнообразные ограничения власти французского короля не только признавались в теории, но и существовали на практике. Более того, на деле их оказывалось даже больше, чем перечислялось в вышеупомянутых трактатах. Рассмотрим некоторые из них.

Правовые ограничения, налагаемые на короля фундаментальными законами, носили вполне реальный характер. Так, в соответствии с "салическим" порядком наследования, французская кор-

¹³⁸ Цит. по: *Vonglis B. L'État c'était bien lui. Essai sur la Monarchie absolue*. P. 1997. P. 21 — 22.

¹³⁹ *Блюш Ф. Людовик XIV*. М., 1999. С. 93.

¹⁴⁰ *Копосов И.Е. Абсолютная монархия во Франции // ВМ. 1989. № 1. С. 44*

на передавалась по мужской линии в соответствии с принципом первородства: от отца к рожденному в браке сыну, при отсутствии у короля сыновей — к следующему по старшинству из его братьев, при отсутствии таковых — к первому из принцев крови. Сколь бы напряженными и даже враждебными ни были отношения между монархом и дофином, король не мог лишить наследника права на корону. В царствование Людовика XIII, например, Гастон Орлеанский участвовал едва ли не во всех затевавшихся тогда государственных заговорах против политики его царственного брата и даже эмигрировал из-за несогласия с ней, однако при этом по-прежнему был дофином. Королю ничего не оставалось, как терпеть его происки и надеяться на рождение сына, после чего коварный брат автоматически терял право на престол.

Если попытки нарушить подобный порядок наследования иногда все же имели место, то их полный крах лишней раз подтверждает действительность и прочность данного правового института. Так, в 1593 г., когда члены Католической лиги, не желая видеть королем протестанта Генриха IV, попытались возвести на французский престол испанскую инфанту Клар-Изабель-Евгению, родную племянницу покойного Генриха III, Парижский парламент этому решительно воспротивился, издав особое постановление, где подчеркивалось: "салический" порядок наследования является фундаментальным законом и не подлежит изменению.

Еще более показателен пример Людовика XIV. Потеряв на протяжении короткого периода времени большинство прямых преемников — сына и двух внуков, он июльским эдиктом 1714 г. включил в число возможных наследников короны своих побочных сыновей — герцога Мэнского и графа Тулузского, а 23 мая 1715 г. приравнял их к принцам крови. То и другое было явным нарушением традиционного порядка престолонаследия. Кроме того, согласно завещанию монарха, оба новоиспеченных принца должны были войти в Регентский совет при малолетнем Людовике XV. Однако уже 2 сентября 1715 г., на другой день после смерти Людовика XIV, его завещание было фактически кассировано Парижским парламентом, который разрешил герцогу Филиппу Орлеанскому формировать Регентский совет по собственному усмотрению, не считаясь с волей покойного короля. Оба бастарда в Совет не попали, а два года спустя (2 июля 1717 г.) их официально лишили и права наследования. Таким образом, изменить фундаментальные законы королевства оказалось не по силам даже Людовику Великому, наиболее могущественному из французских монархов Старого порядка.

Французским королям не приходилось и мечтать о возможностях русских самодержцев, которые только в XVIII в. дважды меняли порядок престолонаследия. Причем на протяжении большей части столетия в России действовал принятый Петром I закон от 5 февраля 1722 г., согласно которому император назначал себе

преемника по собственному усмотрению, и только в конце века Павел I установил порядок, схожий с "салическим".

Французским королям не приходилось равняться с русскими самодержцами и в том, что касалось распоряжения коронными владениями. Если в России раздача царями государственных земель в частную собственность приближенным являлась обычной практикой, то во Франции фундаментальный закон о неотчуждаемости королевского домена лишал государя такой возможности.

Помимо фундаментальных законов, значение которых для ограничения свободы действий монарха признавалось практически всеми теоретиками юриспруденции Старого порядка, *де факто* существовали и другие, менее заметные, но не менее эффективные правовые "ограничители" королевской воли, в частности кутюмное (обычное) право. Хотя теоретически король и считался единственным источником позитивного права, на деле он был лишь одним из таковых: фактически во Франции имел место ярко выраженный юридический плюрализм. Вот как описывал его французский историк и правовед XVI в. Этьен Паскье (1529—1615): "Существующее право во Франции покоится на четырех опорах: королевские ордонансы, разнообразные кутюмы провинций, общие постановления суверенных судов и некоторые моральные положения, которые утвердились у нас в результате давнего и продолжительного использования и которыми мы обязаны римлянам"¹⁴¹. Причем соотношение указанных правовых систем было далеко не симметричным. Подданным французского монарха гораздо чаще приходилось иметь дело с местными кутюмами, регулировавшими все то многообразие отношений, которые возникали между отдельными лицами в повседневной жизни по самым разным поводам, нежели с королевскими ордонансами общегосударственного значения.

Теоретически король как носитель высшей власти в стране обладал полномочиями и возможностью вносить, по своему усмотрению, необходимые ему изменения в обычное право. Однако на практике эта задача представлялась трудновыполнимой. Французское королевство складывалось на протяжении нескольких столетий путем присоединения разных земель, каждая из которых имела свое, исторически сложившееся обычное право и, как правило, сохраняла его, даже входя в состав единого государства. Соответственно в юридическом плане страна походила на пестрое лоскутное одеяло. Далеко не везде существовало писаное право, тем более оно мало где было систематизировано. Поэтому прежде чем приступить к унификации правовых норм, центральной власти предстояло их кодифицировать. Грандиозная работа по кодификации и унификации права началась еще в

¹⁴¹ Pasquier E. Recherches de la France (1587). — Цит. по: Cosandey F., Descimon R. Op. cit. P. 51.

XVI в., но до конца Старого порядка завершить ее так и не удалось¹⁴². Хотя она была отнюдь не бесплодной и ее материальным результатом стали многочисленные объемистые сборники кутюмов разных провинций, этот промежуточный результат наглядно демонстрировал, сколь далека еще конечная цель — единое право для всей страны. Вот что писал об этом П.Н. Ардашев, крупнейший специалист в дореволюционной России по истории французского Старого порядка: «Кутюмы», то есть гражданские кодексы обычного права — а в дореволюционной Франции насчитывалось до трехсот различных "кутюмов", — различались не только между различными областями, но иногда между двумя соседними городами или селениями одной и той же области; мало того, различные кварталы одного и того же города или селения не всегда жили под одним и тем же юридическим режимом»¹⁴³. Любопытно, что еще в конце 80-х годов XVIII в. видный правовед Ж.Э.М. Порталис (в будущем один из создателей Кодекса Наполеона) считал несбыточной мечту о том, что Франция когда-нибудь обретет единое для всей страны законодательство¹⁴⁴.

При такой неоднородности правового поля нельзя было рассчитывать и на единообразное применение по всей территории государства издаваемых королем законов. «Известно, — писал в 1783 г. один из бретонских администраторов, — до какой степени корпоративные учреждения привержены ко всему, что называется обычаем; в тысяче случаев обычай заступает место закона и часто бывает даже сильнее последнего»¹⁴⁵. Принимаемые центральной властью решения, как правило, исполнялись на местах лишь в той степени, в какой они не противоречили локальному обычаю, а то и вовсе могли саботироваться. Приводя весьма красноречивые примеры того, как это происходило на практике, П.Н. Ардашев замечает: «Между законодательной нормой и конкретной действительностью, между текстом регламента и административной практикой при старом порядке лежит целая пропасть»¹⁴⁶. Кутюмы играли роль своего рода амортизационной "подушки", ослаблявшей и даже гасившей импульсы, идущие от центра государства к периферии, и тем самым выступали эффективным правовым "ограничителем" королевской власти.

Так же *de facto* во Франции существовали и вполне реальные институциональные ограничения власти государя. Хотя в теории король был единственным носителем суверенитета, а все осталь-

¹⁴² Об основных ее этапах см.: *Richet D. Op. cit. P. 34–36; Cosandey F., Descimon R. Op. cit. P. 52–55.*

¹⁴³ *Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка. 1774–1789. СПб., 1900. Т. 1. С. 99–100.*

¹⁴⁴ Там же. С. 97.

¹⁴⁵ Там же. С. 111.

¹⁴⁶ Там же. С. 107.

ные государственные органы обладали лишь теми полномочиями, которыми их наделил монарх, на практике некоторые из государственных институтов имели настолько высокую степень автономии, что могли в определенных случаях препятствовать проведению в жизнь решений короля.

Речь идет, прежде всего, о суверенных судах, к числу которых относились парламенты, Большой совет, счетные и налоговые палаты (в отечественной исторической литературе последние нередко называют также "палатами косвенных сборов")¹⁴⁷. Всего к концу Старого порядка во Франции насчитывалось 13 парламентов и 4 аналогичных им по своим полномочиям верховных суда, 15 счетных и 10 налоговых палат. Отпочковавшиеся в разное время от центрального государственного аппарата, они постепенно оказались достаточно независимы от короны. Во многом это определялось тем, что с XVI в. государство продавало судебские должности, которые, таким образом, становились частной собственностью тех, кто их купил. Даже король не мог сместить оффисье — владельца такой должности — с его поста без выплаты ему стоимости должности.

Суверенные суды и, прежде всего, парламенты обладали не только широкими полномочиями в сфере правосудия, но имели возможность оказывать реальное влияние и на процесс законодательства. Любой закон получал силу только после регистрации его парламентами, что фактически давало им право вето. Нередко они регистрировали закон с поправками, существенно менявшими его содержание. Для преодоления сопротивления парламентов центральная власть использовала такое чрезвычайное средство, как королевское заседание: в присутствии государя закон подлежал регистрации без возражений. Однако нередко случалось, что и после королевского заседания парламент выступал с протестом против принудительной регистрации закона и считал себя вправе этот закон игнорировать.

Суверенным судам подчинялись и многочисленные местные органы юстиции. Оффисье всех этих судебных учреждений составляли особый социальный слой, характеризовавшийся ярко выраженной корпоративной солидарностью и стремлением к кастовой замкнутости. Судейские даже претендовали на роль особого сословия, стоящего на страже законности и старались препятствовать любым попыткам отхода королевской власти от сложившегося порядка управления.

Продолжавшийся, то затихая, то вновь обостряясь, на протяжении практически всей истории Старого порядка конфликт ме-

¹⁴⁷ Подробнее о суверенных судах см., например: *Аргашев П.Н.* Указ. соч. Гл. 7; *Малыш В.Н.* Ж.Б. Коальбер. Абсолютистская бюрократия и французское общество. М., 1991; *Цатурова С.К.* Офицеры власти. Парижский парламент в первой трети XV века. М., 2002.

жду короной и традиционными судебными учреждениями получила широкое освещение в научной литературе, в том числе отечественной¹⁴⁸, что позволяет не останавливаться здесь подробно на данном сюжете. Замечу лишь, что, по мнению ряда современных исследователей, определяющей особенностью развития французской государственности в целом на протяжении XVII—XVIII вв. было стремление монархии к освобождению от контроля традиционных институтов, в первую очередь суверенных судов, и к созданию централизованного административного аппарата (то есть собственно бюрократии), который позволил бы наиболее эффективно и безболезненно провести модернизацию общества. Однако эти устремления монархии в полной мере так и не увенчались успехом. «...Новейшие исследования показывают, что было бы ошибкой преувеличивать степень "абсолютности" монархии Людовика XIV и ее разрыв с предшествующей традицией, как ошибочно было бы недооценивать и значение совершившегося в XVII в. перехода от раннего к зрелому абсолютизму. Абсолютизм Бурбонов до самого конца своего существования носил черты незавершенности, и, возможно, объяснением этому отчасти служит незавершенность вычленения высшей бюрократии, его непосредственной опоры, из среды магистратов верховных судов»¹⁴⁹.

Именно неудача предпринятых королями усилий реально, а не только в теории, сосредоточить в своих руках всю полноту государственной власти, значительная часть которой *de facto* принадлежала традиционному аппарату судебных должностных лиц, и обусловила в дальнейшем крах всех попыток монархии по модернизации общества. Об этом свидетельствуют не только более чем скромные результаты преобразований, проводившихся Ж.Б. Кольбером в царствование Людовика XIV, но также история большинства реформаторских начинаний, предпринятых королевской властью в XVIII в.¹⁵⁰ Исходившие от королевских министров Машо д'Арнувиля (1749), Тюрго (1776), Калонна (1786), Ломени де Бриенна (1787) инициативы по более справедливому распределению налогов и обложению привилегированных сословий, по ликвидации цехов и свободной торговле хлебом не были осуществлены именно из-за оп-

¹⁴⁸ См., например: Малов В.Н. Фронта // ВИ. 1986. № 2; Берго И.Б. Идеино-политический конфликт парламентов и абсолютизма в памфлетной войне вокруг судебной реформы Мопу (1770—1774) // ФЕ. 1984. М., 1986; Она же. Парламенты и политическая борьба во Франции накануне Великой французской революции // НиНИ. 1988. № 6; Она же. Парламентская оппозиция абсолютизму и попытки реформ в 1749—1776 годах // Французская революция XVIII века: экономика, политика, идеология. М., 1988.

¹⁴⁹ Колосов Н.Е. Высшая бюрократия во Франции XVII века. Л., 1990. С. 227.

¹⁵⁰ Малов В.Н. Ж.Б.Кольбер... С. 206-209.

позиции традиционных государственных институтов и сословий, сломить которую правительству оказалось не по силам¹⁵¹.

В некотором роде реакцией на постоянные неудачи реформаторских начинаний короны, встречавших сопротивление традиционных институтов, стала разработка французской политической философией XVIII в. понятия "просвещенного деспотизма". "Его появление, — пишет английский историк Н. Хеншелл, — говорило о потребности в сильном правителе, способном преодолеть чашу привилегий и сепаратизм, руководствуясь высшим законом природы, действующим независимо от того, одобрен он парламентами и штатами или нет"¹⁵². Как мы видели, понятие "деспотизм" ассоциировалось в правовой мысли Франции с ничем не ограниченной властью. Соответственно прозвучавший из уст Вольтера, физиократов и ряда других видных представителей Просвещения призыв использовать именно такую форму правления для беспрепятственного проведения необходимых обществу реформ, свидетельствует о том, что никто из них не считал французскую монархию неограниченной.

Действительно, находившийся в распоряжении французской монархии Старого порядка арсенал средств принуждения на деле был значительно более скромным, чем изображалось в историографии Революции. Поскольку суверенные суды, которым подчинялись также нижестоящие органы правосудия и даже частично полиция, обладали высокой степенью независимости от короны, правительство нередко сталкивалось с серьезными трудностями при попытке использовать судебные репрессии в политических целях. Один из наиболее ярких примеров здесь — процесс над бывшим сюринтендантом финансов Николая Фуке в 1661 — 1664 гг. Ни Кольбер, ни даже сам Людовик XIV не смогли принудить Палату правосудия, назначенную ими же из числа наиболее видных оффисье, к вынесению смертного приговора подсудимому, хотя судьи и подвергались сильнейшему нажиму со стороны правительства¹⁵³. Другой не менее показательный пример — скандальное "дело об ожерелье королевы" в 1786 г., когда, несмотря на откровенно выраженное желание Людовика XVI добиться обвинительного приговора кардиналу де Рогану, Парижский парламент пошел наперекор воле монарха и вообще оправдал подсудимого¹⁵⁴.

¹⁵¹ См., например: *Лебедева Е.И.* Дворянство и налоговые привилегии накануне революции // *Французская революция XVIII века: экономика, политика, идеология; Она же.* Собрания нотаблей кануна Великой французской революции и эволюция политических позиций дворянства // *ФЕ.* 1985. М., 1987.

¹⁵² *Хеншелл Н.* Миф абсолютизма. СПб., 2003. С. 218.

¹⁵³ Подробно см.: *Малов В.Н.* Ж.Б. Кольбер... Гл. 3.

¹⁵⁴ Подробно см.: *Пименова Л.А.* Дело об ожерелье Марии Ангуанетты // *Казус: индивидуальное и уникальное в истории.* 1996. М., 1997. Вып. 1.

Напротив, когда требовалось воспрепятствовать какому-либо из постановлений центральной власти, с которым традиционные органы правосудия не были согласны, парламенты легко могли возбудить судебное преследование против его исполнителей¹⁵⁵. Едва ли такие трибуналы мы, вслед за Н.И. Кареевым, сможем назвать "лишь одним из административных ведомств", мало чем отличающимся от полиции.

Столь же преувеличены и встречающиеся в отечественной историографии Французской революции утверждения о строгости правительственной цензуры при Старом порядке. Впрочем, если судить только по нормативным актам, то такие утверждения могут показаться вполне оправданными, а сама цензура не то что суровой, но и просто жестокой. Вышедшая в апреле 1757 г. королевская декларация угрожала смертной казнью (!) всем издающим "писания, которые содержат нападки на религию, имеют намерения взволновать умы, посягают на наш авторитет и грозят нарушить порядок и спокойствие в наших землях"¹⁵⁶. Однако сами же современники признавали, что подобная угроза, являвшаяся эмоциональной реакцией на имевшую место тремя месяцами ранее попытку Дамьена убить короля, "никого не испугала: все сразу поняли, что такой бесчеловечный закон не будет исполняться"¹⁵⁷.

И действительно, характерный в целом для Старого порядка "разлад между законодательной нормой и конкретной действительностью" (П.Н. Ардашев) в сфере книгопечатания носил почти гротескную форму. Принимая нередко по требованию церкви и парламентов строгие цензурные меры *de jure*, правительство на деле предоставляло издателям достаточно широкую свободу. Средством преодоления подобного противоречия между буквой закона и реальной практикой стал институт "негласных разрешений". В тех случаях, когда запретить какую-либо книгу уже не представлялось возможным, например, из-за ее известности, но которую, не нарушая закона, нельзя было и разрешить официально, власти «сглади давали разрешения, не предусмотренные законом, поначалу чисто устные, никак не закрепленные на бумаге, потом — зарегистрированные в завуалированной форме — составлен "список напечатанных за границей произведений, которые разрешено продавать во Франции", куда включены эти получившие негласное разрешение книги»¹⁵⁸.

В конкретном же преломлении этот разрыв между теорией и практикой порой выглядел и вовсе парадоксально. Так, в 1752 г. начальник цензурного ведомства и одновременно большой друг про-

¹⁵⁵ См.: Ардашев П.Н. Указ. соч. С. 110.

¹⁵⁶ См.: Шартье Р. Культурные истоки Французской революции. М., 2001. С. 59.

¹⁵⁷ Там же.

¹⁵⁸ Там же. С. 61.

светилей К.Г. Ламуаньон де Мальзерб издал, по требованию духовенства и судейских чиновников, официальное распоряжение об изъятии у Дидро материалов готовившихся к печати томов "Энциклопедии", после чего уже как частное лицо поехал к философу и взял у него эти бумаги на хранение, чтобы спасти их от конфискации¹⁵⁹.

Справедливости ради заметим, что, несмотря на подобные курьезы, либерализм цензурного ведомства все же имел свои границы. Время от времени авторов и книгоиздателей запрещенной литературы привлекали к ответственности, однако подобные случаи имели место относительно нечасто, а тяжесть наказания была несопоставима с предусмотренной законом. Так, в 1750—1779 гг., когда число осужденных по книжным делам достигло апогея, в год за подобные нарушения попадало в тюрьму в среднем до 13 человек, а срок заключения для авторов обычно составлял чуть более шести месяцев, для издателей — до ста дней. Впрочем, уже в 80-е годы XVIII в. число осужденных за нарушения цензурных запретов заметно пошло на убыль¹⁶⁰.

До сих пор мы говорили в основном об ограничениях центральной власти. Что же касается власти представителей короля на местах — интендантов, то и в их положении мы находим значительные расхождения между теорией и практикой. В принципе полномочия интенданта не ограничивались никакими правовыми нормами. Королевское "поручение", по которому он получал свой пост, составлялось в достаточно общих выражениях и не содержало перечни его должностных прав и обязанностей. Соответственно в сферу ответственности интенданта входило и судопроизводство, и местное управление, и фискальные функции, и хозяйственные вопросы. Однако этот неопределенно широкий *de jure* круг полномочий интенданта на практике серьезно ограничивался правами и притязаниями множества местных судебных и административных учреждений, обладавших большей или меньшей степенью независимости от центральной власти. К таковым принадлежали, прежде всего, парламенты и сохранившиеся в ряде областей местные представительные органы — провинциальные штаты. Кроме того, большинство городов и коммун имели выборные органы самоуправления, и хотя формально интенданты как представители центральной власти должны были осуществлять надзор и контроль за их деятельностью, в действительности такой контроль из-за постоянного сопротивления местных элит и институтов нередко оказывался чисто номинальным. То есть реальный объем власти того или иного интенданта во многом определялся той, по выражению П.Н. Ардашева, "административно-правовой средой", в которой этому интенданту приходилось действовать¹⁶¹. Но, как

¹⁵⁹ Там же. С. 53.

¹⁶⁰ Там же. С. 75—76.

¹⁶¹ Подробно см.: Ардашев П.Н. Указ. соч. Гл. 7—8.

бы то ни было, никогда ни один интендант не обладал, вопреки утверждениям оппозиционной публицистики времен Фронды, а вслед за ней и упоминавшихся нами историков, столь же широкими, то есть фактически неограниченными в отношении местных дел полномочиями, как персидские сатрапы или турецкие паши.

* * *

Таким образом, как показывают результаты специальных исторических исследований о французской монархии Старого порядка, ни в одном из рассмотренных нами аспектов она не имела ни малейшего сходства с тем квазитоталитарным государством, образ которого на протяжении ста с лишним лет создавался отечественной историографией Французской революции. В чем же причины подобной долговечности этого историографического фантома? Думаю, отнюдь не в том, что историки Революции были не достаточно осведомлены относительно результатов исследований своих коллег из соседней профессиональной "галактики". По крайней мере, такие представители "русской школы", как Н.И. Кареев и Е.В. Тарле, если судить по научному аппарату их работ, хорошо знали современную им литературу о Старом порядке. Например, неоднократно цитировавшуюся мною выше монографию П.Н. Ардашева Н.И. Кареев анализировал самым детальным образом и ценил очень высоко¹⁶².

Видимо, истоки мифа о "королевском самодержавии" надо искать не столько в научной плоскости, сколько в идеологической. Причем, восходят они к временам самой Французской революции. Ее идеологи уже в 1789 г. требовали передачи народу "суверенитета", то есть "абсолютной и неделимой" власти, как если бы она принадлежала монархии не только в теории, но и в реальности. Вот что пишет об этом французский историк Ф. Фюре: "Хотя старая административная монархия никогда не была абсолютной в современном значении этого слова (тем более монархия конца XVIII в.), все здесь происходит так, будто созданные ею представления о своей власти стали частью национального сознания. Став нацией и слившись в едином волеизъявлении, французы, сами того не сознавая, вернулись к мифическому образу абсолютизма, поскольку именно он определяет и представляет социальную совокупность. Медленное движение гражданского общества к власти происходит во имя этого самодержавия..."¹⁶³

¹⁶² См.: Кареев Н.И. Работы русских ученых по истории французской революции // Известия Санкт-Петербургского Политехнического Института. СПб., 1904. Т. 1. С. 76—80; Он же. Историки Французской революции. Т. 3. Изучение Французской революции вне Франции. Л., 1924. С. 203—209.

¹⁶³ Фюре Ф. Постигание Французской революции. СПб., 1998. С. 44.

Или иными словами, как отмечает другой французский историк Ж. Ревель, сама Революция собственно и создала "абстрактное понятие абсолютизма". После того, как реальная абсолютная монархия пала, ее мифологизированный образ стал частью коллективного воображаемого, где выступал антиподом нового порядка, установленного Революцией. "Она [монархия] продолжала существовать в политическом и моральном воображаемом как некий механизм, устройство и значение коего больше не принималось, но отдельные элементы которого представлялись однозначно порочными. Привилегии, беззаконие, произвол, Бастилия и *letters de cachet*, злоупотребления, аморальность, грабеж и разорение Нации — все это было проявлением сути пагубной политики"¹⁶⁴.

Представления о неограниченной власти свергнутого короля стали общим местом революционной публицистики, наделявшей французскую монархию практически теми же чертами, какими ее идеологи наделяли деспотизм. В дальнейшем образ абсолютной монархии как государства, основанного исключительно на произволе, перешел практически без изменений из публицистики эпохи Революции в либеральную историографию — в сочинения Б. Констана и А.А.Ж. де Сталь, А. Тьера и О. Минье, Ж. Мишле и Л. Блана¹⁶⁵. А ведь именно их труды и оказали, по признанию Н.И. Кареева, решающее влияние на восприятие Французской революции в России людьми его поколения, то есть теми, с кого собственно и началось профессиональное изучение этой революции в нашей стране¹⁶⁶.

Более того, российская почва оказалась особенно благоприятной для того, чтобы миф о "королевском самодержавии" не только прижился на ней, но расцвел пышным цветом. Считая Французскую революцию провозвестием того, что должно произойти в России, русская интеллигенция второй половины XIX — начала XX в. охотно приписывала французской монархии Старого порядка те черты самодержавия, с которыми была хорошо знакома по своему повседневному опыту. Отечественные историки Французской революции не стали исключением и, ведя в своих работах речь о Старом порядке, тоже отдавали должное этой мифологеме. В советское же время, когда прямые, а еще чаще имплицитные, аналогии между Французской и Октябрьской революциями стали неотъемлемым элементом исторической литературы по данной теме¹⁶⁷, представления о том.

¹⁶⁴ Revel J. Monarchie absolue // Dictionnaire critique de la Révolution française. Idées. P., 1992. P. 293 — 294.

¹⁶⁵ "От Констана до Гизо и Мишле, разумеется, с различными вариациями, утверждалось как само собой разумеющееся, что абсолютизм не заслуживает оправдания, поскольку основан на произволе и отсутствии принципов..." — Ibid. P. 294.

¹⁶⁶ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 289.

¹⁶⁷ Подробнее см., например: Кондратьева Т. Большевики-якобинцы: И призрак терридора. М., 1993.

что Франция, как и Россия, имела в своей истории период самодержавного правления, приобрели характер аксиомы. И даже в постсоветский период этот историографический миф, как мы видели, все еще в силу набранной инерции продолжает в той или иной степени свое существование.

История мифа о "королевском самодержавии" может рассматриваться как весьма показательный и достойный хрестоматии пример деформирующего влияния идеологии на научные исследования. Что бы ни происходило за последнее столетие в историографии Старого порядка, какие бы открытия ни делались специалистами в данной области, все равно либеральные, а затем советские историки Французской революции, по необходимости посещая эту, соседнюю с ними научную "галактику", в большинстве своем видели там только то, что позволяли им увидеть узкие иллюминаторы идеологических стереотипов.

“БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ”: МИФОЛОГЕМА ИЛИ “РЕАЛЬНОСТЬ”?

Достаточно абстрактное, чтобы поро-
ждать разнообразные символы, достаточ-
но конкретное, чтобы служить непосред-
ственно достигаемым предметом ненави-
сти, понятие буржуазии...

Ф. Фюре “Прошлое одной иллюзии”

Теперь настал черед обратиться ко второй части ключевой формулы марксистской интерпретации французских событий конца XVIII в., а именно к трактовке их как “буржуазной революции”. Согласно марксистской социологии, “буржуазный” характер революции определяется, прежде всего, ее целью, каковой является “уничтожение феодального строя или его остатков, установление власти буржуазии, что создает условия для капиталистического развития”. Кроме того, особенностью “ранних буржуазных революций”, к которым относили и Французскую революцию XVIII в., признавалось то, что их “руководителем, гегемоном была буржуазия”¹.

Впрочем, тезис о том, что именно буржуазия сыграла ведущую роль во Французской революции, появился в историографии задолго до возникновения марксизма. Еще в 1790 г. Э. Бёрк в своих знаменитых “Размышлениях о революции во Франции” назвал “людей денежного интереса” в числе инициаторов и главных действующих лиц восстания против монархии². Его политический оппонент Дж. Макинтош, автор одной из первых исторических работ о причинах Французской революции, хотя и спорил с Берком по другим вопросам, эту мысль не только поддержал, но и развил: “Представители торговых и финансовых кругов всех европейских стран меньше страдали предрассудками, были более либеральными и образованными, чем земельные собственники — джентри. Их кругозор расширился, благодаря разветвленным связям со всем человечеством: сказалось большое влияние торговли на распространение в современном мире духа свободолюбия. Мы не должны удивляться, что этот просвещенный класс более других предан свободе и является самым ревностным сторонником политических преобразований”³.

¹ Советский энциклопедический словарь. М., 1979. С. 181.

² *Burke E. Reflections on the Revolution in France // The Works of the Rt. Hon. Edmund Burke. L., 1808. Vol. 5. P. 204 – 207.*

³ *Mackintosh J. Vindiciae Gallicae // Mackintosh J. The Miscellaneous Works. Philadelphia, 1846. P. 426.*

Впрочем, и для Бёрка, и для Макинтоша, и для других участников дебатов о Французской революции, развернувшихся в Англии 90-х годов XVIII в., этот тезис не имел принципиального значения. Те, кто его высказывал, вольно или невольно проецировали на французские события ситуацию в британском обществе, где торгово-промышленные круги действительно уже достаточно давно были активным субъектом политики. Однако, узнавая больше о происходившем во Франции, некоторые авторы порой существенно меняли свой взгляд на роль предпринимателей в Революции, как это сделал, например, Бёрк⁴.

Развернутое обоснование данный тезис получил несколько позднее — во французской либеральной историографии эпохи Реставрации, став краеугольным камнем трактовок Французской революции, предложенных Ф. Минье и А. Тьером. Суть событий конца XVIII в. они видели в борьбе за власть между общественными "классами": "аристократией" ("привилегированными"), "буржуазией" ("средним сословием") и "народом". Так, Минье утверждал, что падение абсолютной монархии в 1789 г. было прямым следствием предшествующего возвышения "буржуазии": "Сила, богатство, просвещение, самостоятельность среднего сословия увеличивались со дня на день, и оно должно было побороть королевскую власть и ограничить ее"⁵. Этому "классу" Минье отводил ведущую роль в Революции с ее начала и до 10 августа 1792 г. — дня, когда, по его словам, произошло "восстание народа против среднего сословия и конституционной монархии, подобно тому, как 14-ое июля было днем восстания среднего сословия против привилегированных классов и абсолютизма короны"⁶.

Именно после трудов историков эпохи Реставрации, отмечал известный французский исследователь А. Собуль, тезис о том, что революция была "завершением долгой экономической и общественной эволюции, которая и привела буржуазию к власти и к экономическому господству", стал неотъемлемой чертой "классической" (то есть либеральной и социалистической) интерпретации революционных событий: "Со времен Реставрации историки либеральной школы, даже если они нисколько не интересовались экономическими истоками общественного развития, энергично подчеркивали одну из главных особенностей нашей национальной истории: появление, рост и конечную победу буржуазии; занимая промежуточное место между народом и аристократией, буржуазия постепенно создала кадры и выработала идеи нового общества, освящением которого стал 1789 год"⁷.

⁴ Подробнее см.: Чудинов А. В. Размышления англичан о Французской революции: Э. Бёрк, Дж. Макинтош, У. Годвин. М., 1996. С. 87.

⁵ Минье Ф. История Французской революции. СПб., 1906. С. 34.

⁶ Там же. С. 155.

⁷ Собуль А. Классическая историография Французской революции о нынешних спорах // ФЕ. 1976. М., 1978. С. 155.

Для марксистской историографии, которая в XX в. начала играть весьма заметную роль внутри "классического" направления, данный постулат имел крайне важное идеологическое значение. Как известно, сочинения французских либеральных историков эпохи Реставрации о противоборстве буржуазии и дворянства явились тем источником, откуда основоположники марксизма, по их собственному признанию, почерпнули идею классовой борьбы, ставшую одной из фундаментальных основ их учения. Придав ей значение универсального социологического закона, К. Маркс и Ф. Энгельс объявили революции "движущей силой" истории в целом. Сама же история в их учении представляла чередой социально-экономических формаций, сменявших друг друга в ходе революционных потрясений. Во Французской революции XVIII в. классики марксизма видели наиболее яркий пример "буржуазной революции", приведшей к смене феодального строя капиталистическим. «Франция, — писал Энгельс в предисловии к немецкому изданию 1885 г. "Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта", — разгромила во время великой революции феодализм и основала чистое господство буржуазии с такой классической ясностью, как ни одна другая европейская страна»⁸. Согласно теоретикам марксизма, во Французской революции XVIII в. именно "буржуазия была тем классом, который действительно стоял во главе движения"⁹.

В советский период, когда марксизм был императивно предписан отечественной историографии в качестве единственно возможной методологии, положения о "буржуазном характере" Французской революции и о ведущей роли в ней буржуазии, изначально лежавшие в основе ряда ключевых положений марксистской теории, воспринимались советскими исследователями как непреложные постулаты.

Тесная связь подобной трактовки Революции с марксистско-ленинской идеологией долгое время не позволяла отечественным историкам принять многие из тех результатов, что были получены в ходе исследований, проводившихся по данной проблематике за рубежом с середины 50-х годов. Предпринятая тогда в Западной Европе и Америке ревизия концептуальных основ "классического" видения Французской революции послужила мощным стимулом для активизации соответствующих научных изысканий историками всех направлений. Большинство же представителей советской историографии сначала просто игнорировало идущие на Западе дискуссии по этим проблемам, а с середины 70-х годов заняло весьма негативную позицию по отношению к предпринимавшимся зарубежными исследователями попыткам

⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 259.

⁹ Маркс К. Буржуазия и контрреволюция // Там же. Т. 6. С. 114.

сделать основы марксистской интерпретации предметом научного обсуждения¹⁰.

Смягчение, а затем и полное прекращение идеологического контроля за историческими исследованиями во второй половине 80-х годов открыло возможность для свободной дискуссии и на эту тему, о чем свидетельствуют выступления участников "круглого стола" 1988 г., и прежде всего А.В. Адо, Е.В. Киселевой и А.В. Ревякина. В том же и следующем году вышли по данной проблематике статьи А.В. Ревякина¹¹, а в 1989 г. — коллективный труд под редакцией А.В. Адо "Буржуазия и Великая французская революция", состоявший из четырех очерков, авторы которых постарались учесть и использовать результаты соответствующих зарубежных работ последнего времени.

Однако на этом движение в данном направлении, увы, приостановилось. Отчасти снижение интереса отечественных исследователей к социально-экономической проблематике было связано с общим изменением приоритетов мировой историографии, отдававшей в конце XX в. предпочтение вопросам общественного сознания и развития культуры. Вместе с тем, эта общая для различных национальных школ историков тенденция была в нашем случае дополнена влиянием сложившейся у многих представителей среднего поколения российских историков Французской революции "аллергии" на марксистскую методологию, которая им в советские годы навязывалась в качестве единственно возможной. Их отход от марксизма имел своим побочным результатом резкое сокращение в постсоветский период числа исследований по социально-экономической тематике, некогда приоритетной для марксистской историографии. Показательно, что в 1990-е годы у нас в стране была опубликована всего лишь одна (!) статья по социально-экономической истории Французской революции¹².

Предпринятая в 2001 г. попытка оживить интерес к теме "Французская революция и буржуазия" проведением соответствующего "круглого стола"¹³ сколько-нибудь заметного отклика в научном сообществе не получила и продолжения практически не имела. Но от того, что о проблеме перестали говорить, она отнюдь не исчезла. Более того, необходимость ее изучения становится все

¹⁰ Подробнее см.: Чудинов А.В. Смена вех: 200-летие Революции и российская историография // ФЕ. 2000. М., 2000. С. 7–9.

¹¹ Ревякин А.В. Революция и экономическое развитие Франции в первой половине XIX века // Французская революция XVIII века: экономика, политика, идеология. М., 1988; Он же. Французская революция и буржуазия // ФЕ. 1987. М., 1989.

¹² См.: Французская революция XVIII в.: Указатель литературы на русском языке за 1986–1999 гг. // ФЕ. 2000. М., 2000.

¹³ "Круглый стол" Французская революция XVIII века и буржуазия // НИИ. 2002. № 1.

более острой, поскольку год от года увеличивается разрыв между уровнем знаний о событиях во Франции конца XVIII в., достигнутым мировой историографией, и интерпретациями Французской революции в отечественной научно-популярной и учебной литературе, адресованной более или менее массовому читателю, — разрыв, на который обращали внимание еще участники “круглого стола” 1988 г.¹⁴ Природа не терпит пустоты, и пока профессиональные историки молчат, популяризаторы вынуждены тиражировать давно устаревшие клише: “Буржуазия возглавила революцию. Она боролась против феодально-абсолютистского строя и стремилась к полному его уничтожению”¹⁵.

* * *

Для начала определимся с терминами. Кто был “буржуазией” во Франции XVIII в.? На первый взгляд, вопрос выглядит наивно, ведь речь идет об одном из основных понятий, уже не одно десятилетие употребляемых в отечественной научной литературе. Его дефиниции есть практически во всех словарях и энциклопедиях. Так, согласно “Большой советской энциклопедии”, буржуазия — “господствующий класс капиталистического общества, обладающий собственностью на средства производства и существующий за счет эксплуатации наемного труда”¹⁶. А вот какое определение дает вышедший уже в постсоветский период “Иллюстрированный энциклопедический словарь”: “общественный класс собственников капитала, получающих доходы в результате торговой, промышленной, кредитно-финансовой и другой предпринимательской деятельности”¹⁷. Как видим, в обоих случаях на первом месте — социально-экономическое содержание понятия. Подобная трактовка опирается на труды теоретиков марксизма, также вкладывавших в данную категорию прежде всего социально-экономическое содержание: “современная буржуазия сама является продуктом ... ряда переворотов в способе производства и обмена”¹⁸ и т.д. Именно капиталистическая, предпринимательская буржуазия, по мнению основоположников марксизма, и одержала верх во Французской революции XVIII в.: “Победа буржуазии означала тогда победу нового общественного строя, победу буржуазной собственности над феодальной, ... конкуренции над цеховым строем” и т.д.¹⁹

¹⁴ Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции. М., 1989. С. 93.

¹⁵ Всемирная история. Т. 16. Европа под влиянием Франции. М.: Минск, 2000. С. 15.

¹⁶ Большая советская энциклопедия. М., 1971. Т. 4. С. 127.

¹⁷ Иллюстрированный энциклопедический словарь. М., 1995. С. 105.

¹⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 421.

¹⁹ Там же. Т. 6. С. 115.

Аналогичным образом трактовала буржуазию конца XVIII в. и советская историография. Характеризуя социальный состав населения предреволюционной Франции, авторы вышедшего в 1941 г. фундаментального коллективного исследования по истории Революции относили к верхушке буржуазии "крупных финансистов, откупщиков, крупных купцов-оптовиков, арматоров-работорговцев, промышленников, владевших копиями, железозаводчиков", а к средней буржуазии — "купцов, владельцев небольших мануфактур и т.д."²⁰, то есть лиц, занятых предпринимательством в сфере производства, торговли или финансов. Точно так же описывали буржуазию Старого порядка отечественные авторы и других обществ работ о Французской революции²¹. Да и сегодня эта точка зрения достаточно часто встречается в отечественной учебной и научно-популярной литературе. Так, авторы вышедшей в наши дни "Всемирной истории" под буржуазией, которая во Франции XVIII в. "возглавила революцию", понимают "промышленников и коммерсантов"²². О том же говорится в одном из весьма популярных постсоветских учебников для вузов: "Во второй половине XVIII в. против абсолютизма поднимается мощная волна оппозиции. Промышленники, которые уже не нуждались в опеке абсолютизма, были во главе этой оппозиции"²³.

Между тем, в свете дискуссий, прошедших в зарубежной историографии во второй половине XX в., подобное представление о буржуазии Старого порядка выглядит сегодня излишне упрощенным. Еще почти полвека назад английский историк А. Коббен в нашумевшей лекции "Миф Французской революции" (1954) поставил под сомнение его обоснованность²⁴. Развивая свои мысли в книге "Социальная интерпретация Французской революции", он подчеркивал, что марксистская историография, характеризуя социальную структуру Старого порядка, относит к "классу буржуазии" социальные группы, имевшие разное положение в обществе, разные интересы и по-разному смотревшие на перспективу преобразований. Объединение же их всех в одном понятии "буржуазия" лишь затушевывает эти реально существовавшие различия²⁵.

²⁰ Французская буржуазная революция / Под ред. В.П. Волгина и Е.В. Тарле. М.: А., 1941. С. 7.

²¹ См.: Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983. С. 27 — 28; Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. 1789 — 1814 гг. 3-е изд., доп. СПб., 1966. С. 34.

²² Всемирная история. Т. 16. С. 7, 15.

²³ Новая история стран Европы и Америки / Под ред. Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза. М., 1997. С. 67.

²⁴ См.: Cobban A. The Myth of the French Revolution // Cobban A. Aspects of the French Revolution. L., 1968.

²⁵ Cobban A. The Social Interpretation of the French Revolution. Cambridge, 1964. P. 55.

Более того, отмечал Коббен, та социальная группа, которая при Старом порядке собственно и называлась "буржуазией", в действительности не имела ничего общего с предпринимательскими слоями или, иными словами, с "буржуазией" в марксистском понимании: "Это были рантье и собственники, жившие "на дворянский манер", то есть ничем не занимаясь, в основном на доходы от собственности и проценты от государственных и частных займов. По своему богатству и образу жизни они принадлежали к дворянству среднего достатка и во многом разделяли его судьбу — какой бы она ни была — во время Революции"²⁶.

В данной связи любопытно заметить, что в советской историографии не проводилось различия между термином "буржуазия" в том смысле, в котором его употребляли французы XVIII в., и марксистским понятием "буржуазии" как "класса". Например, А.З. Манфред, процитировав известную фразу Робеспьера: "Внутренние опасности исходят от буржуазии" и т.д., комментировал ее следующим образом: "Робеспьер говорил об опасности, исходившей от буржуазии. Это значит, что он хорошо понимал, какой класс стоит за противниками монтаньяров"²⁷. Подобное смешение понятий вело к искусственной модернизации представлений политика XVIII в., которому фактически приписывалась способность к классовому анализу в марксистских категориях.

Критика Коббеном марксистской концепции "буржуазной революции", как известно, положила начало продолжительным дебатам между сторонниками "классической" и "ревизионистской" интерпретаций французских событий конца XVIII в. Не станем задерживаться на перипетиях этой дискуссии: они подробно рассмотрены в специальной литературе²⁸. Замечу лишь, что, несмотря на весьма негативное в целом отношение к начатой Коббеном "ревизии", представители западной "классической" историографии, как правило, соглашались с тем, что проблема с определением понятия "буржуазия" — одного из ключевых для данной проблематики — действительно существует. Вот как об этом, например, писал Ж. Лефевр: "Признаем также, что г-н Коббен прав, выделяя различные категории внутри буржуазии и сожалея, что роль движения идей преуменьшается до крайности. Я и сам утверждал, что прогрессивная часть буржуазии состояла не только из тех, кто, развивая производство, подрывал основу Старого порядка..."²⁹ Впро-

²⁶ Ibid. P. 58.

²⁷ Манфред А.З. Указ. соч. С. 322.

²⁸ См., например: Блуменау С.Ф. От социально-экономической истории к проблематике массового сознания. Французская историография революции конца XVIII века (1945—1993 гг.). Брянск, 1995; *Comninel G. Rethinking of the French Revolution: Marxism and the Revisionist Challenge*. L., 1987; *Doyle W. Des origines de la Révolution française*. P., 1988. Ch. 1.

²⁹ *Lefebvre G. Le mythe de la Révolution française // Annales historiques de la Révolution française* (далее — AHRF). 1956. № 145. P. 342.

чем, даже признавая правоту Коббена в этом вопросе, Лефевр, как мы видим, попытался смягчить его вывод: на самом ведь деле английский историк говорил не о "различных категориях внутри буржуазии", а о различных "буржуазиях".

Предложенное Коббеном "дробление" прежде единого понятия "буржуазия" на несколько было неприемлемо для историков-марксистов по идеологическим соображениям. Собуль прямо расценивал это как посягательство на классовый подход, святая святых марксистской интерпретации: «...Слово "буржуазия" чаще всего употребляется во множественном числе даже французскими историками. Не таится ли здесь более или менее явное намерение отрицать социальную реальность или по крайней мере реальность существования классов?»³⁰ Однако и он отнюдь не возражал против того, чтобы само понятие было уточнено: "...Вспомним о спорах по поводу слова буржуазия. История может двигаться вперед только при том условии, что она будет опираться на ясно разработанные направляющие концепции... Важно было бы договориться об этих необходимых концепциях и определениях, разумеется, могущих подвергаться изменениям и усовершенствованию"³¹.

В отечественной историографии, пожалуй, впервые попытка исследовать состав буржуазии Старого порядка, идя от исторических реалий, а не от постулатов марксистской теории, была принята в упоминавшемся выше коллективном труде "Буржуазия и Великая французская революция" Е.М. Кожокиным. Проведя на основе широкого фактического материала, в том числе собранного за последние десятилетия зарубежными учеными, детальный анализ содержания этой социальной категории в XVIII в., он, однако, попытался соединить полученные результаты с традиционными для советской историографии представлениями о буржуазии как "капиталистическом классе". Вследствие этого искусственного сочетания образ буржуазии Старого порядка получился довольно аморфным: "образование многослойное, имевшее капиталистическое ядро и более или менее удаленные, но тяготевшие к нему по характеру доходов, по экономическим, политическим, культурным устремлениям социальные группы"³².

Вместе с тем, Е.М. Кожокин подчеркнул, что социальный слой, определявшийся при Старом порядке как собственно "буржуазия", имел в действительности мало общего с капиталистическим предпринимательством. В XVIII в., указывал он, термином "буржуа" обозначали «ротюрье, не занимающегося какой-либо производительной деятельностью, человека, пользующегося определен-

³⁰ Собуль А. Указ. соч. С. 163.

³¹ Там же. С. 169.

³² Кожокин Е.М. Французская буржуазия на исходе Старого порядка // Буржуазия и Великая французская революция. М., 1989. С. 32.

ным достатком, живущего "на благородный манер", на государственную или частную ренту»³³. Причем со второй половины XVIII в. именно это значение слова было доминирующим. Впрочем, Кожокин отмечал, что существовало и другое, также применявшееся в XVIII в., более широкое и менее четкое значение термина "буржуазия" — верхний слой городских жителей, принадлежавших к третьему сословию и обладавших (в зависимости от местных нюансов) определенным юридическим статусом³⁴.

В зарубежной научной литературе также нет единой дефиниции этого понятия. Констатируя, что в XVIII в. оно употреблялось в разных смыслах, авторы выбирают какой-либо из них в зависимости от собственных предпочтений. Так, видный английский специалист по истории Старого порядка У. Дойл предлагает следующее, достаточно широкое определение: «Изначально слово "буржуа" означало просто жителя города, но, исходя из того, что буржуа, по определению, не занимались физическим трудом, они отличались этим от остального городского населения. Буржуазия, таким образом, состояла из имущих ротюрье, живших в основном в городах...»³⁵ При подобном подходе в категорию "буржуазии", действительно, попадает некоторая часть предпринимателей, например крупные торговцы — негоцианты. Однако и здесь понятие "буржуазия" имеет скорее культурно-правовое, нежели социально-экономическое значение, поскольку большинство соответствующих данному определению социальных групп (судейские, держатели должностей, рантье) не имело ничего общего с капиталистическим предпринимательством³⁶.

Близкой к этой точки зрения придерживаются и такие авторитетные французские исследователи, как П. Губер и Д. Рош. Рассмотрев разные определения понятия "буржуазия", существовавшие во Франции XVI — XVIII вв., они пришли к выводу, что, согласно наиболее распространенному из них, в него входила верхушка городского населения (*bons citoyens*), состоявшая в основном из лиц трех категорий: держателей должностей (*officiers*), торговцев (*marchands*) и получателей различного рода рент. Их всех объединял лишь одинаковый, "буржуазный", образ жизни, отличный от того, что вели, с одной стороны, дворяне, с другой — простолюдины. В остальном каждая из перечисленных категорий имела мало общего с другими, тоже входившими в состав "буржуазии". Они столь радикально отличались друг от друга и по источникам дохода, и по роли в общественно-политической жизни, и даже по своей социальной психологии, что авторы исследования сочли возможным назвать соответствующую главу "Буржуа и буржуазии".

³³ Там же. С. 35.

³⁴ См.: Там же. С. 33—35.

³⁵ Doyle W. Des origines... P. 172.

³⁶ Ibid. P. 177—178.

употребив понятие во множественном числе. Причем из всех этих "буржуазий" к капиталистическому предпринимательству имела прямое отношение лишь одна — торговцы³⁷.

Что касается предпринимательства, то новейшие исследования показывают: занимавшийся им экономически активный слой французского общества конца XVIII в. состоял не только из ротиэри, но и в значительной степени из представителей привилегированных сословий³⁸. В свое время французские историки-марксисты предложили определять буржуазию по следующим признакам: 1) свободно распоряжается средствами производства; 2) применяет на основе свободного договора рабочую силу, располагающую только своей способностью к труду; 3) присваивает вследствие этого разницу между стоимостью произведенного товара и оплатой затраченного труда³⁹. Однако, если приложить эти критерии к реально существовавшей социальной структуре Старого порядка, то окажется, что им в полной мере соответствуют такие дворяне, как Ле Камю де Анмар, основатель знаменитых медеплавильен Ромийи, или Игнас де Вандель, владелец еще более знаменитого металлургического предприятия Крезю, но уж никак не те бездеятельные рантье, которые собственно и назывались "буржуазией". Таким образом, казавшееся некогда простым и самоочевидным понятие утрачивает в свете новейших исследований прежний смысл и определенность, распадаясь фактически на несколько других, одинаково именуемых, но почти не связанных между собой.

Итак, кого же во Франции конца XVIII в. можно считать "буржуазией"? Именованный таким образом слой экономически пассивных рантье? Городскую верхушку третьего сословия в целом? Капиталистических предпринимателей, в число которых входили представители всех сословий, в том числе привилегированных? Или, действительно, точнее говорить не об одной, а о многих "буржуазиях"?⁴⁰

³⁷ Goubert P., Roche D. Les Français et l'Ancien Régime. P., 1984. T. 1. P. 170 — 185.

³⁸ См., например: Кожокин Е.М. Указ. соч. С. 25 — 27; Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой французской революции. М., 1987. С. 48 — 50; Richard G. Noblesse d'affaires au XVIII siècle. P., 1974.

³⁹ См.: Собыль А. Указ. соч. С. 164.

⁴⁰ При отсутствии четких критериев понятия "буржуазия" французские историки решают эту задачу каждый по-своему. Причем даже те из них, кто тяготеет к Обществу робеспьеристских исследований, объединяющему сторонников "классической интерпретации", находят сегодня возможным употреблять это понятие во множественном числе — "буржуазии" (см., например, сборник статей: Bourgeoisies de province et Révolution. P., 1987), хотя, как мы видели, еще относительно недавно Собыль расценивал подобное дробление понятия ни больше ни меньше как покушение на теорию классовой борьбы. Перечень же таких "буржуазий" каждый историк, похоже, определяет сам. Так,

Впрочем, какой бы ответ мы ни выбрали, сама по себе констатация того, что буржуазия была "разной", логически влечет за собой новый вопрос: Какая именно буржуазия совершила Революцию?

Коббен, пожалуй, первым поставивший эту проблему в подобном ракурсе, предложил проводить различие между буржуазией "растущей" (*rising*) и "приходящей в упадок" (*falling*). К первой он относил предпринимателей, занятых в торговой, промышленной и финансовой сферах, ко второй — оффисье и близких к ним по своим интересам лиц свободных профессий. При Старом порядке первая из этих двух социальных групп, по мнению английского историка, процветала благодаря происходившему в стране экономическому росту. Положение второй, напротив, ухудшалось из-за неуклонного падения цен на покупные должности и сокращения доходов их держателей. Соответственно, предприниматели не имели сколько-нибудь серьезных оснований желать ниспровержения Старого порядка, а потому и не играли в Революции столь заметной роли, как оффисье, которые собственно и возглавили движение против монархии. Именно держатели должностей и лица свободных профессий, то есть категории населения, далекие от капиталистического предпринимательства, и оказались, по словам Коббена, той "революционной буржуазией", что разрушила Старый порядок. И хотя Революция действительно освободила экономическую деятельность от многих существовавших еще со времен средневековья ограничений, в этом она лишь продолжила политику, начатую еще министрами-реформаторами при Старом порядке⁴¹. Свои размышления о том, какая буржуазия совершила Революцию, английский историк подкрепил ссылками на состав Учредительного собрания и Конвента, где торговцы, мануфактуристы и финансисты находились в явном меньшинстве (соответственно 13 и 9%), а большинство депутатов третьего сословия составляли оффисье (43 и 25%) и лица свободных профессий (30 и 44%)⁴².

В дискуссии, вызванной выступлением Коббена, не раз отмечалось, что его концепция не свободна от некоторых упрощений и неточностей. Так, по мнению Дойла, исследовавшего динамику цен на продаваемые должности во Франции XVIII в., Коббен ошибался, говоря об устойчивой тенденции к снижению их рыночной стоимости. По утверждению Дойла, накануне Революции цены на большинство должностей, напротив, росли, что, по его мнению, не

Ж.Л. Иссартель, анализируя социoproфессиональный состав местных органов власти в регионе Средней Роны, выделяет "буржуазию Старого порядка", "торговую буржуазию" и "фабричную буржуазию". — *Issartel J.L. Sociétés populaires et élections dans la région du Rhône moyen (1791-an II) // AHRF. 1998. N 314. P. 615, 618.*

⁴¹ Cobban A. *The Social Interpretation...* P. 54—67.

⁴² Cobban A. *The Myth of the French Revolution.* P. 111.

дает оснований расценивать оффисье как "приходящую в упадок буржуазию"⁴³.

Вместе с тем, многочисленные исследования, мощным стимулом для проведения которых стала указанная дискуссия, подтвердили, что поставленные Коббеном проблемы в целом актуальны и заслуживают самого пристального внимания. Не затрагивая всех аспектов этих дебатов, коснусь некоторых из них.

Наблюдение Коббена относительно существенных различий в экономических интересах и политических устремлениях разных "буржуазий" — в частности, предпринимателей, с одной стороны, и оффисье вместе с лицами свободных профессий ("буржуазии таланта", как их еще иногда называют) — с другой — нашло подтверждение в целом ряде локальных исследований. Возьмем для примера такие большие, но столь непохожие друг на друга города, как Тулуза и Марсель.

Тулуза, где торговля и промышленность имели относительно слабое развитие, была известна, прежде всего, как один из ведущих административно-судебных центров. Расположенные там многочисленные суды обеспечивали городу важную роль в жизни страны и служили основным источником дохода для населения. Неудивительно, что именно судейские и, прежде всего, адвокаты парламента составляли наиболее влиятельную и богатую социальную категорию внутри третьего сословия⁴⁴. Их образ жизни, существенно отличавшийся от того, который вело большинство коммерсантов, был близок к образу жизни дворян-землевладельцев. Свободные средства судейские также предпочитали вкладывать в приобретение земли⁴⁵. Хотя социальная мобильность между группами, составлявшими верхушку третьего сословия, например между капиталистической и некапиталистической буржуазией, имела место, однако масштабы ее были достаточно ограничены. Так, отцы 31,6% адвокатов тоже были адвокатами; 23,6 — юристами других специальностей (прокурорами, нотариусами и т.д.); 15,8 — буржуа-рантье и лишь 12% — коммерсантами⁴⁶. В период "предреволюции" судейские в целом и адвокаты парламента в частности играли, как самая просвещенная и политически наиболее актив-

⁴³ Doyle W. The Price of Offices in Pre-Revolutionary France // Historical Journal. 1984. N 27. Впрочем, в научной литературе высказывалось также мнение, что, несмотря на некоторое подорожание должностей к концу Старого порядка, на протяжении предшествовавшего этому столетия все же преобладала тенденция к падению цен на них. — См.: Mousnier R. Les Institutions de la France sous la monarchie absolue. P., 1980. Vol. 2. P. 346—347; Малов В.Н. Ж.-Б. Кольбер. Абсолютистская бюрократия и французское общество. М., 1991. С. 100—101.

⁴⁴ Berlanstein L.R. The Barristers of Toulouse in the Eighteenth Century (1740—1793). Baltimore, 1975. P. 3, 47—55.

⁴⁵ Ibid. P. 55—60, 67—77.

⁴⁶ Ibid. P. 34—35.

ная социальная группа, ведущую роль в организации парламентской оппозиции монархии. С началом же Революции и переходом Тулузского парламента в лагерь ее противников лидерами "анти-аристократического" и антимонархического движения стали опять же не торговцы или мануфактуристы, а служащие судов и высшей инстанции⁴⁷. Ни о каком противоборстве предпринимательской буржуазии и дворян-землевладельцев не было и речи⁴⁸. Даже такой авторитетный представитель "классической" историографии, как Ж. Годшо, признавал, что политическая борьба в Тулузе конца XVIII в. не вписывается в марксистские представления о "классовом конфликте"⁴⁹.

В Марселе, одном из ведущих центров морской торговли, между негоциантами и собственно "буржуазией", то есть верхним слоем городского населения, не связанным с коммерцией, при Старом порядке тоже существовали глубокие различия не только по источникам доходов, но и по культурному уровню и повседневному образу жизни⁵⁰. С начала же Революции эти социальные группы повели между собой острую борьбу за влияние в городе. Как показал в своем исследовании британский историк У. Скотт, негоцианты, наиболее богатая и просвещенная часть населения, традиционно игравшая ведущую роль в жизни Марселя, связывали с созывом Генеральных штатов надежды на умеренные реформы по улучшению государственного управления. Однако, оказавшись в период избирательной кампании объектом резких нападок со стороны некапиталистической "буржуазии", они заняли оборонительную позицию, пытаясь сохранить свое руководящее положение. За подписание "патриотических" петиций негоцианты увольняли подчиненных, причем даже столь уважаемых, как капитаны морских судов; оказывали грубое давление на избирателей, наполняя собрания "буржуазии" своими людьми; а 19 августа 1789 г. даже тайно обратились к властям с просьбой ввести в Марсель королевские войска и предать суду "патриотических" лидеров. И все же марсельским негоциантам не удалось сохранить принадлежавшую им ранее власть в городе: в феврале 1790 г. был избран новый, "буржуазный" муниципалитет⁵¹.

⁴⁷ Ibid. P. 141 et suiv.

⁴⁸ *Sentou J. Fortunes et groupes sociaux à Toulouse sous la Révolution*. Toulouse, 1969. P. 469.

⁴⁹ *Godschol J. La Révolution française dans le Midi toulousain*. Toulouse, 1981. P. 33.

⁵⁰ Как писал современник, "это будто два разных народа, которые под именем марсельцев составляют один". — См.: *Carrière Ch. Négociants marseillais au XVIII^e siècle: Contribution à l'études des économies maritimes*. P. 1973. T. 1. P. 248; *Кожокин Е.М.* Указ. соч. С. 34.

⁵¹ *Scott W. The urban bourgeoisie in the French revolution: Marseille, 1789—92* // *Reshaping France: town, country and region during the French Revolution* / Ed. by A. Forrest, P. Jones. Manchester, 1991. P. 86—104.

Если даже французские предприниматели при Старом порядке и поддерживали идею тех или иных преобразований, при этом они были далеки от каких-либо революционных устремлений⁵². Французский историк Ж.П. Ирш пришел к подобному выводу в результате анализа такого массового источника, как прошения торговых палат и консульских судов, поданных в 1788 г. королю и в Королевский совет в связи с предстоявшим созывом Генеральных штатов, а также соответствующей официальной корреспонденции. Его исследование показало, что реальные чаяния предпринимателей не имели ничего общего с экономическим либерализмом, который проповедовали физиократы. Скорее наоборот. В физиократах — “людях системы” — коммерсанты видели своего злейшего врага и крайне негативно относились к выдвигавшимся философами Просвещения требованиям равенства перед законом и отмены привилегий. Не принимая идею единой и общей для всех свободы как отсутствия ограничений, деловая элита Франции стремилась к упрочению своих традиционных корпоративных свобод. “В конечном счете, — писал Ирш, — сами эти прошения были не чем иным, как требованием привилегий, подкреплявшимся ссылками на предыдущие привилегии. Надо ли нам удивляться тому, что для мышления, отвергавшего абстрактное единство закона, привилегия оставалась основной формой свободы?”⁵³

Исследование Ирша продемонстрировало, что, вопреки широко распространенному в “классической” историографии мнению, капиталистические предприниматели не испытывали вражды к дворянам-землевладельцам⁵⁴. Напротив, видя в земельной собственности наиболее надежный, а потому и наиболее притягательный объект инвестиций, владельцы торгового капитала рассматривали свой переход в статус землевладельца через аноблирование, либо иным путем, как оптимальную для себя перспективу. Вот почему, отмечает Ирш, “ничто не кажется более чуждым идеологии предпринимательской Франции, чем дух 4 августа”⁵⁵. Даже если “капиталистическая буржуазия” и выиграла от Революции, заключает историк, сознательно действующим субъектом последней она явно не была.

* * *

Анализ социального состава депутатского корпуса Учредительного собрания и Конвента, предпринятый Коббеном, пробудил у исследователей повышенный интерес к этой теме. Хотя в це-

⁵² См., например: Goubert P., Roche D. *Op. cit.* P. 184.

⁵³ Hirsch J.P. Les milieux du commerce, l'esprit de système et le pouvoir, à la veille de la Révolution // *Annales. Economies. Sociétés. Civilisations*. 1975. № 6. P. 1361.

⁵⁴ *Ibid.* P. 1355.

⁵⁵ *Ibid.* P. 1364.

лом его "ревизия" "классического" видения Революции, как уже отмечалось, вызвала весьма раздраженную реакцию историков-марксистов, даже оппоненты дали высокую оценку проведенному им анализу состава депутатского корпуса. "Прежде всего, — писал Ж. Лефевр, — воздадим должное г-ну Коббену за то усердие, с каким он составил перечень членов Учредительного собрания и Кофвента по признаку их социального происхождения, подобно исследованиям такого рода, предпринимавшимся по инициативе Измира английскими историками в отношении палаты общин. Эти исследования можно было углубить, и французским ученым следует заняться ими"⁵⁶. Слова Лефевра — своего рода "воспоминание о будущем". С 1939 по 1953 г. он и группа его сотрудников уже пытались составить биографический словарь депутатов Учредительного собрания, однако их проект так и не был завершен⁵⁷.

Прошло еще почти 40 лет, прежде чем задача, поставленная Лефевром, была решена. Правда, сделали это не его коллеги по марксистской историографии. В 70-е годы изучением состава Учредительного собрания занялась Эдна Хинди Лёмэй, ученица Ф. Фюре. Результатом ее работы стали не только две монографии и серия статей⁵⁸, но и подготовленное под ее руководством фундаментальное издание — "Словарь депутатов Учредительного собрания"⁵⁹. В нем информация обо всех 1315 членах Собрания, найденная в департаментских, муниципальных и частных архивах, структурирована по единой форме, что позволяет осуществлять просопографический анализ как депутатского корпуса в целом, так и отдельных его частей. В частности, благодаря "Словарию", появилась возможность исследовать реальный вклад предпринимателей, волею судьбы оказавшихся среди "отцов Революции", в законотворческую работу по демонтажу Старого порядка и созданию Нового, а также изучить их отношение к революционным переменам.

⁵⁶ *Lefebvre G.* Op. cit. P. 341 — 342.

⁵⁷ *Тырсенко А.В.* Новый опыт биографического словаря: "Словарь депутатов Учредительного собрания" Эдны Хинди Лёмэй // Исторические этюды о Французской революции: Памяти В.М. Далина. М., 1998. С. 121 — 122.

⁵⁸ См., например: *Lemay E.H.* Composition de l'Assemblée nationale constituante: les hommes de la continuité // *Revue d'histoire moderne et contemporaine.* 1977. № 24; *Idem.* La vie quotidienne des Députés aux Etats Généraux, 1789. P., 1989; Лёмэй Э.Х. Как умирали "отцы революции" // Исторические этюды о Французской революции... Список статей Э.Х. Лёмэй по данной проблематике см.: *Lemay E.H., Patrick A.* Revolutionaries at Work: The Constituent Assembly 1789 — 1791. Oxford, 1996. P. 136.

⁵⁹ *Lemay E.H.* Dictionnaire des Constituants 1789 — 1791 / Avec la collaboration de C. Favre-Lejeune, la participation de Y. Fauchois, J. Félix, M.L. Netter et J.L. Ormières et l'assistance d'A. Patrick. Préface de F. Furet. P., 1991. 2 vols. Далее ссылки на это издание даются в основном тексте в скобках.

Лёмэй, так же, как и Коббен, отнесла к числу предпринимателей тех, кто занимался торговыми (*négociant, marchand, armateur, libraire*) и финансовыми (*banquier*) операциями, а также владельцев промышленных предприятий (*maître des forges, entrepreneur des manufactures, manufacturier-négociant* и т.д.). Всего таковых она насчитала 93⁶⁰. И хотя эти уточненные цифры несколько отличаются от полученных ранее Коббеном (85), в целом нарисованная им картина не претерпела существенных изменений. Если он определял долю предпринимателей среди представителей третьего сословия в 13%, то Лёмэй — в 14%. Просто, Коббен выводил этот процент из общего числа 648, а Лёмэй — из 665, включив сюда представителей колоний (не дворян) и заместителей, занявших места выбывших депутатов. Подавляющее же большинство депутатов от третьего сословия, по подсчетам Лёмэй, так же, как и Коббена, составляли оффисье (330, или 50%) и лица свободных профессий (174, или 26%, из них 146 — адвокаты)⁶¹. И хотя эти уточненные данные несколько разнятся с цифрами Коббена, в целом статистическое исследование Лёмэй подтвердило его вывод: среди депутатов третьего сословия преобладали люди, не связанные с капиталистической деятельностью⁶².

Впрочем, хотя раздел работы Лёмэй, посвященный депутатам-предпринимателям, и завершается этой констатацией, сама по себе последняя еще не дает оснований для выводов об их реальной роли в Учредительном собрании. Гипотетически ведь вполне возможно представить себе ситуацию, когда энергичное и сплоченное меньшинство диктует свою волю социально инородному большинству. А значит, такие выводы можно сделать лишь на основе анализа содержательной стороны парламентской деятельности депутатов-предпринимателей.

Для определения степени активности того или иного члена Собрании Лёмэй предлагает два критерия: выступления на общих заседаниях и работа в парламентских комитетах. Из 1315 депутатов от всех сословий 605 ни разу не брали слово, хотя их присутствие на об-

⁶⁰ Пользуясь случаем, хочу уточнить ранее публиковавшиеся мною расчеты (Чудинов А.В. Прощание с эпохой (размышления над книгой В.Г. Ревуненкова) // ВИ. 1998. № 7. С. 159; Он же. Смена вех: 200-летие Революции и российская историография. С. 19–20.). Цифру 94 депутата-предпринимателя я получил, ошибочно включив в их число представителя Тулона Ф.Т. Жома, в действительности — буржуа. Долю в 14,3% я вывел из числа депутатов третьего сословия (654), не учитывая депутатов-недворян от колоний, как это сделала Лёмэй и что, очевидно, является более точным.

⁶¹ Lemay E.H. Les révélations d'un dictionnaire: du nouveau sur la composition de l'Assemblée Nationale Constituante (1789–1791) // AHRF. 1991. № 284. P. 177–178.

⁶² Lemay E.H. Composition de l'Assemblée nationale constituante... P. 347–348.

щих заседаниях подтверждается источниками. Еще 561 человек выступали редко и коротко. И, наконец, 149 были постоянными ораторами. Именно они, несмотря на свою малочисленность (11,3% от общего числа), и задавали тон работе Собрания⁶³. В свою очередь, ораторов Лёмэй делит на тех, кто выступал "очень часто" (53) и "часто" (96). В основе этой классификации — частота упоминаний каждого из депутатов в индексе выступлений, помещенном в 23-м томе собрания парламентских дебатов. В первую категорию попали те, перечень выступлений которых занял в индексе более двух колонок, во вторую — более $\frac{3}{4}$ колонки (р. 996). Разумеется, подобный критерий весьма условен, ибо за скобками остается собственно содержание выступлений. Ведь один-единственный доклад может иметь большее политическое значение, чем десяток реплик в прениях, а упоминание о нем займет в индексе значительно меньше места. Однако с количественной стороны активности того или иного оратора такая классификация все же дает достаточно четкое представление.

Наиболее активно вели себя на общих заседаниях депутаты от третьего сословия: 32 из них выступали "очень часто" (ср.: от духовенства — 1, от дворян — 20), 59 — "часто" (от духовенства — 11, от дворян — 26)⁶⁴. Однако предпринимателей среди ораторов было крайне мало: ни одного первой категории и только 4 — второй, а именно — крупный торговец шелком из Лиона Пьер-Луи Гудар (Goudard); владелец большого торгового дома в Бордо Пьер-Поль Нэрак (Nairac); тулузский негодник и промышленник Пьер-Огюстен Руссийу (Roussillou); руанский банкир, получивший накануне Революции дворянское звание, Жан-Бартелеми Ле Куте де Кантелеу (Le Couteulx de Canteleau). Отметим такую характерную особенность их выступлений: все четверо проявляли интерес, прежде всего, к вопросам, связанным с их профессиональной деятельностью и, как правило, не вмешивались в обсуждение общеполитических проблем. Так, Гудару неоднократно доверяли делать доклады от имени Комитета сельского хозяйства и торговли, в частности, о преобразовании таможенной системы (р. 415. См. также: Тематический указатель выступлений, р. 998 — 1013). В них он продемонстрировал блестящее знание истории законодательного регулирования торговли во Франции, снискав авторитет одного из наиболее компетентных экспертов в данной области, но в дискуссиях на любые другие темы неизменно хранил молчание. Нэрак также брал слово исключительно при обсуждении вопросов, входивших в сферу его профессиональной компетенции: торговля, колонии, таможни, порты, налоги, Ост-Индская компания (р. 710 — 711). Руссийу лишь однажды, 28 марта 1791 г., пришлось говорить о беспорядках, происшедших накануне в Тулузе, темами всех остальных его выступлений были опять же торговля, колонии, таможни, Ост-Индская компа-

⁶³ Lemay E.H. Les révélations d'un dictionnaire... P. 161 — 162.

⁶⁴ Ibid. P. 167.

ния. Круг интересов Ле Куто был несколько шире. Этому депутату доводилось выступать и по проблемам межгосударственных отношений, и по отдельным вопросам текущей политики. Однако основной сферой его компетенции все же было денежное обращение (р. 566—567). Именно выступления на эту тему и создали ему репутацию высококвалифицированного специалиста в сфере финансовой политики. В то же время ни один из четырех, насколько позволяют судить имеющиеся в распоряжении исследователей источники, не принимал активного участия в работе по формированию конституционных основ Нового порядка.

Что касается работы в парламентских комитетах, то здесь активность депутатов-предпринимателей, на первый взгляд, вполне соответствовала среднестатистическим показателям. Из 93 человек в комитетах состояли 48, то есть чуть больше 51%. Точно такая же пропорция была характерна и для представителей третьего сословия в целом (ср.: духовенство — 27%, дворяне — 37%)⁶⁵. Однако и здесь позиция предпринимателей имела свою специфику. Так, они значительно реже, чем другие депутаты, записывались сразу в несколько комитетов, предпочитая сосредотачиваться на работе в одном. Хотя формально именно такое поведение и предписывалось каждому члену Собрания, практика участия в нескольких комитетах (до 8 одновременно) имела широкое распространение⁶⁶. Из общего числа работавших в комитетах представителей дворянства и третьего сословия (соответственно 115 и 334 человека) в двух и более комитетах состояли 43,5% (50 и 145 человек). Даже для значительно менее активных депутатов от духовенства эта цифра составляла 38% (34 из 89)⁶⁷. Однако соответствующая доля предпринимателей еще ниже — 37,5% (18 из 48). Из них 13 были членами двух комитетов, 4 — трех и лишь 1 — четырех. Причем последний, лионский книгоиздатель Ж.А. Перисс Дюлюк (Périsse Duluc), оказавшийся в данном отношении "рекордсменом", в двух из четырех комитетов провел лишь по одной неделе (р. 743).

В выборе предпринимателями комитетов, так же, как и в рассмотренной нами выше тематике выступлений ораторов из их числа, четко прослеживается интерес к проблемам, имевшим непосредственное отношение к их профессиональной деятельности. Из 34 комитетов Учредительного собрания депутаты-предприниматели входили в 19:

1. Сельского хозяйства и торговли — 13 человек
2. Продовольствия — 13
3. Финансов — 9
4. Колоний — 5

⁶⁵ Ibid. P. 186.

⁶⁶ Lemay E.H., Patrick A. Op. cit. P. 60—61.

⁶⁷ Lemay E.H. Les révélations d'un dictionnaire... P. 186.

5. Флота — 5
 6. Расчетов по долгам государства (Liquidation) — 4
 7. Ассигнатов — 3
 8. Расследований — 3
 9. Продажи национальной собственности — 3
 10. Денежного обращения (Mopnaies) — 2
 11. Налогообложения — 2
 12. Докладов — 2
 13. Конституционный — 2
 14. Здравоохранения — 1
 15. Комитет 12-ти — 1
 16. По делам духовенства — 1
 17. Десятины — 1
 18. Редакционный — 1
 19. По проблеме нищеты — 1
- Итого: 72 места

Как видим, ровно половина мест (36) приходится на комитеты (сельского хозяйства и торговли; продовольствия; колоний; флота), занимавшиеся регулированием внутренней и внешней торговли, еще 24, или 1/3 — на комитеты (финансов; расчетов по долгам; ассигнатов; продажи национальной собственности; денежного обращения; налогообложения; 12-ти), занимавшиеся финансовой политикой, и лишь 12, или 1/6 — на все остальные. Впрочем, при ближайшем рассмотрении выясняется, что реальное участие данной категории депутатов в решении общеполитических задач было даже еще более ограниченным, чем можно предположить по этим и так весьма скромным цифрам. В Конституционном комитете вышеупомянутый Перисс Дюлюк и Г.Ж.К. Рикар де Сил (Ricard de Sealt), негодант и адвокат из Тулона, "проработали" всего лишь по 8 дней (р. 743, 806). В Комитете докладов, куда стекалась информация о положении на местах, тот же Рикар де Сил и бретонский негодант Ж. Делавиль-Леру (Delaville-Leroulx) числились чуть более полутора месяцев (р. 273, 806). Менее двух месяцев провел в Комитете расследований и нантский негодант Ж. Н. Ги-небо де Сен-Мем (Guineband de Saint-Mesme) (р. 441).

Таким образом, и по этому показателю депутаты-предприниматели едва ли могут рассматриваться как наиболее активная часть депутатского корпуса. Впрочем, об единстве их политической позиции говорить также не приходится.

Для идентификации последней в распоряжении исследователя есть целый ряд критериев. О взглядах того или иного политика мы, разумеется, можем судить, прежде всего, по его выступлениям. Однако выше уже отмечалось, что подавляющее большинство членов Собрания либо вообще никогда не брали слова на заседаниях, либо делали это крайне редко. К тому же, депутаты-предприниматели, как мы видели, вообще особой разговорчивостью не отлича-

лись. Некоторое представление об отношении молчаливого большинства к происходившему дают результаты голосований. "Некоторое" — потому, что мы, к сожалению, располагаем поименными данными только по двум из них: об эмиссии ассигнатов (29 сентября 1790 г.) и о присоединении Авиньона (4 мая 1791 г.). Правда, оба имели важное политическое значение: ассигнаты, выпускавшиеся для погашения государственного долга, должны были обеспечиваться национализированной собственностью церкви; а присоединение Авиньона, находившегося под светской властью папы, означало прямое покушение на авторитет римского первосвященника. Таким образом, вотируя по каждому из этих вопросов, депутаты косвенно выражали свое отношение к католической церкви — одной из основных опор Старого порядка. Однако данные по обоим голосованиям охватывают не весь депутатский корпус: на упомянутых заседаниях, как обычно⁶⁸, присутствовали далеко не все депутаты: на первом — 913, на втором — 861 человек⁶⁹. Кроме этих сведений, сохранился также составленный противниками Революции перечень депутатов, поддержавших предложение об отказе Франции от колоний. Но "это не список собственно участников голосования, а имена тех, кого предполагали проголосовавшим по данному вопросу"⁷⁰.

Еще один критерий политической ориентации — членство в клубах: Якобинском, Фельянон, 89 года и др. Но и он распространяется не на всех: даже Клуб фельянов, наиболее популярный среди членов Учредительного собрания, посещало лишь 27% от их общего числа⁷¹. Определенный материал для размышлений дают приводимые Лёмэй данные списка "ловых" и нескольких списков "правых" депутатов, составленные современниками Революции. Списки "правого" меньшинства представляют собой достаточно надежный источник: в большинстве случаев их данные совпадают и подтверждаются другими критериями или, по меньшей мере, им не противоречат. Напротив, к перечню "левых" приходится относиться с большей осторожностью: пытаюсь создать более выгодное впечатление об их численности, составители списка включили в него некоторое количество явно случайных лиц, а то и вовсе "мертвые души" — людей, умерших несколькими месяцами ранее.

И, наконец, о политической принадлежности ряда депутатов свидетельствуют подписанные ими протесты. Тем не менее ни один из названных критериев не может рассматриваться как са-

⁶⁸ Только в самом начале работы Учредительного собрания — летом 1789 г. — явка на заседания составляла около 1000 человек, все остальное время она была значительно меньше, опускаясь порой до 600 и ниже. — Lemay F.H., Patrick A. Op. cit. P. 12—14.

⁶⁹ Lemay E.H. Les révélations d'un dictionnaire... P. 160.

⁷⁰ Ibid. P. 181.

⁷¹ Ibid. P. 184.

модостаточный, и чтобы определить политическую позицию интересующей нас части депутатского корпуса, нам придется использовать всю их совокупность.

Начнем с голосований — критерия, имеющего наиболее широкий охват. В заседании, где принималось решение о выпуске ассигнат, участвовало 67 депутатов-предпринимателей. Из них 45 вместе с "левыми" вотировали "за" эмиссию, 23 вместе с "правыми" — "против". По вопросу о присоединении Авиньона из 60 представителей торгово-промышленных кругов: 34 вместе с "левыми" голосовали "за", 21 с "правыми" — "против" и 5 воздержались.

Исходя из этих данных, депутатов, принявших участие в голосованиях (всего 78 человек), разделим условно на такие группы:

1. "Левые" (дважды голосовали "за") — 27 человек
2. "Правые" (дважды — "против") — 10
3. Предположительно "левые" (один — "за", второй — не голосовал или воздержался) — 15
4. Предположительно "правые" (один — "против", второй — не голосовал или воздержался) — 15
5. "Колеблющиеся" (один раз "за", другой — "против"; или один раз "воздержался") — 11.

Теперь по каждой группе в отдельности рассмотрим, насколько это предварительное деление соответствует остальным критериям.

1. "Левые". Правомерность подобной идентификации политических воззрений лиц, предварительно отнесенных к первой группе, полностью подтверждается и другими критериями. 24 человека из 27 были включены современниками в список "левых"; 11 упомянуты в перечне тех, кто поддержал отказ от колоний; 16 состояли в Клубах якобинцев и фельянов. В то же время никого из них нет ни в одном из списков "правых". Что же касается тех трех, кто дважды проголосовал вместе с "левыми", но не был внесен современниками в соответствующий перечень, то принадлежность двоих из них к "левому" крылу Собрания подтверждается другими данными. Б. Труйе (Trouillet), торговец из Лиона, был упомянут в перечне противников сохранения колоний и состоял в Клубе фельянов (р. 906); подпись Л.Ж.А. Шеппера (Schepers), негоцианта и директора торговой палаты в Лилле, стоит под "Письмом к избирателям", составленным Ф.А. Мерленом (р. 855). И, наконец, хотя "левые" симпатии третьего из не попавших в соответствующий список — нормандского негоцианта Ж.П.Н. Перре-Дюамеля, — проявившиеся в двойном голосовании "за", не находят иного подтверждения, у нас нет никаких оснований ставить их под сомнение: других следов своей работы в Собрании этот малозаметный депутат не оставил (р. 744). Таким образом, итог проверки по совокупности критериев для первой группы следующий — 27 "левых".

2. "Правые". Из 10 депутатов этой группы, предварительно идентифицированных нами как "правые", 6 были и современниками

ми включены в списки "правых", причем все — не по одному разу. Из них двое — Л.Д. Лефор-Жеффрие (Lefort-Geffrier) и Ж.С. Валетт (Valette), негодяны соответственно из Орлеана и Анже-ра, — подписали 8 сентября 1791 г. протест против принятия Конституции; двое — вандомский негодянт Ж.Б. Креньер (Crenière) и опять же Лефор-Жеффрие — подписали 19 апреля 1790 г. декларацию в защиту католицизма как государственной религии; кроме того, Креньер шестью днями ранее участвовал в коллективном протесте против отмены титулов.

Однако троих из тех, кто дважды голосовал "против", современники включили в список "левых". Что касается крупного бретонского негодянта и арматора П.Л. Мазюрье де Пеннанеша (Mazurié de Pennanesh), это, очевидно, произошло по недоразумению: его имя фигурирует и в двух списках "правых" (р. 650). Орлеанский торговец шелком П.Э.Н. Буве-Журдан (Bouvet-Jourdan) принадлежал к молчаливому большинству и, кроме двух голосований заодно с "правыми", ничем себя не проявил (р. 141). Возможно, неизвестные нам составители перечня "левых" отнесли его к таковым просто для увеличения их численности. Ведь, как характеризует данный источник Лёмэй: "Нас достаточно часто удивляет включение в него определенных имен: не было ли интереса в том, чтобы раздуть его сверх всякой меры?"⁷²

А вот принадлежность к "левым" версальского торговца тканями Ф.А.Л. Буазландри (Boislandry) сомнений не вызывает. Член Якобинского клуба, а затем Клуба фельянов, он, выступая на Собрании по вопросам территориального деления и налогов, не раз высказывался в поддержку Революции. При обсуждении в августе 1789 г. Декларации прав человека и гражданина он составил мемуар из 74 пунктов, половина из которых была посвящена правам личности. Имя этого депутата упоминается среди отказавшихся от колоний, а в списке "левых" он значится как "очень активный". Негативное же отношение к введению ассигнат было обусловлено его экономическими, а не политическими воззрениями. Свою точку зрения на сей счет он, полемизируя с Мирабо, изложил 5 сентября 1790 г. в длинной речи, а в 1792 г., уже после завершения работы Учредительного собрания, — в отдельном памфлете (р. 108 — 109). Также едва ли можно отнести к "правым" и руанского мануфактуриста П.Н. де Фонтене (de Fontenay), хотя тот и проголосовал дважды "против" и не числился в списке "левых". Член клубов Массиак, 89-го года и Фельянов, он 10 февраля 1791 г. послал в *Moniteur* открытое письмо, протестуя против "клеветнических утверждений", будто он принадлежит к сторонникам монархического строя (р. 362).

Таким образом, проверка по совокупности критериев подтверждает правомерность политической идентификации лиц, вклю-

⁷² Ibid. p. 181.

ченных нами во вторую группу, за исключением лишь Буазландри и Фонтене. Итого: 8 "правых", 2 "левых".

3. *"Предположительно левые"*. Из 15 человек, отнесенных нами по итогам голосования в эту группу, 10 были включены и современниками в список "левых". Впрочем, даже сочетание этих двух критериев далеко не всегда позволяет идентифицировать того или иного депутата как действительно "левого". Руанский торговец лесом Д. Лефор (Lefort), хотя и проголосовал за присоединение Авиньона и попал в указанный список, все же должен быть определен как "правый": 4 мая 1791 г. он участвовал в коллективном протесте против гражданского устройства духовенства и дважды включался в списки "правых" (р. 570). Сомнительна принадлежность к "левым" и марсельского негодьянта М. Руссье (Roussier): еще 5 сентября 1790 г. он сложил с себя депутатские полномочия, а потому мог попасть в перечень голосовавших по ассигнатам (29 сентября 1790 г.) и в список "левых" (3 марта 1791 г.) только по недоразумению. По другим же критериям его политические симпатии идентификации не поддаются (р. 831). Подобная ошибка в списке "левых" — случай отнюдь не исключительный. Парижский торговец галантереей Ж.Л. Пуаньо (Poignot) был зачислен туда, а также в перечень противников колоний (12 мая 1791 г.), и вовсе после своей смерти, происшедшей 21 января 1791 г. Однако голосование "за" по вопросу об ассигнатах и членство в Клубе 89-го года подтверждают его принадлежность к "левым" (р. 760). Правомерность причисления к ним и остальных семи упомянутых в списке "левых" также подтверждается другими критериями — содержанием выступлений и принадлежностью к политическим клубам (4 были якобинцами и фельянами).

Из 5 депутатов третьей группы, которые не числятся в списке "левых", 4 мы все же можем идентифицировать именно как таковых (2 якобинца, 1 фельян и "оратор" Нэрак, разделявший взгляды большинства), а одного — П.Ф. Лалье (Laslier), торговца лесом из Рамбуйе, — как "правого". Он подписал протест против принятия Конституции и был дважды включен в списки "правых" (р. 541). Итого результат по третьей группе: 12 "левых", 2 "правых", 1 не идентифицирован.

4. *"Предположительно правые"*. Из 15 человек, условно отнесенных к этой группе, — для 6 принадлежность к правому крылу подтверждается тем, что и современники включали их в списки "правых", причем пятерых — дважды. Кроме того, негодьянты Е.Ж. Ожье (Augier) из Ангулема и Ж. Гаше-Делиль (Gaschet-Delisle) из Бордо подписали протест против принятия Конституции. Также к "правым" может быть отнесен и А. Катрефаж де Ларокетт (Quatrefages de Laroquette) — негодьянт из Нима. Хотя его имя и упоминается в списке "левых", он голосовал не только против присоединения Авиньона, но и, как он сообщил в частной переписке, против отмены дворянских титулов (р. 780). Наконец, мн-

онский торговец кожами Э. Дюран (Durand) не оставил о своем пребывании в Собрании иных сведений, кроме голосования по вопросу об ассигнатах "против", а по вопросу об Авиньоне — "воздержался" (подал незаполненный бюллетень) (р. 323).

5 человек из этой группы мы должны отнести к "левым". Негоциант из Лаваля Ф.П. Ланье де Воссене (Lasnier de Vausseuay), хотя и голосовал против эмиссии ассигнат, состоял в Якобинском клубе и числился в перечне противников колоний (р. 543). Негоциант из Тьера Ж. Рибероль де Мартинанш (Ribérolles des Martinanches), тоже будучи противником выпуска ассигнат, принадлежал к якобинцам, затем — к фельянам (р. 805). "Оратор" Ле Кутто де Кантело, голосовавший против присоединения Авиньона, был фельяном. Имевший по вопросу об Авиньоне такое же мнение, парижский торговец шелком А.Ф. Жермен д'Орсанвиль (Germain d'Orsanville) в выступлении 28 августа 1790 г. четко высказался в пользу продажи конфискованных у церкви национальных имуществ (р. 401—402). Кроме того, все четверо входили в список "левых". Негоциант из Муассака А.Р. Гуж-Карту в этом списке не состоял и голосовал против ассигнат, но при обсуждении Декларации прав выдвинул свой проект, близкий по идеям к проекту Сийеса (р. 415—416).

Политические пристрастия двух марсельских негоциантов, вошедших в эту группу, нам по имеющимся данным идентифицировать не удалось. С одной стороны, оба голосовали против эмиссии ассигнат, с другой — были включены современниками в список "левых". Из них Ж.А. Делаба (Delabat), довольно долго отсутствовавший в Собрании по состоянию здоровья и ни разу не выступавший, ничем другим себя не проявил (р. 267), а Л. Лежан (Lejeans), хотя и брал дважды слово, но лишь по частным вопросам (р. 577—578).

Итого в четвертой группе — 8 "правых", 5 "левых" и 2 не идентифицированы.

5. "Колеблющиеся". Из 11 депутатов, предварительно выделенных в пятую группу, к "левым", по результатам последующей проверки, отходят 8. Принадлежность к этому крылу 5 из них, в том числе "оратора" Руссийу, определяется по членству в Клубе фельянов. Что касается остальных трех, то левые симпатии нантского негоцианта Ж.Э. Сигонь де Мопассана (Sigogne de Maupassant) проявились в его выступлениях по проблеме государственного долга (р. 214), а имена парижского ювелира А.Н. Лемуана-старшего (Le Moine aîné) и торговца из Валансьена П.Ж. Никодема (Nicodème) упомянуты в перечне противников колоний. Наконец, все восемь внесены в список "левых". А вот крупный торговец лесом из Мулена Л.А.Э. Лебрен (Lebrun), хотя и упомянут в списке решивших отказаться от колоний, все же должен быть идентифицирован скорее как "правый", поскольку подписал декларацию против гражданской организации духовенства (р. 558). Политиче-

скую же принадлежность двоих — К.Ф. Беназе (Benazet), торговец из Каркассона, и бретонского негодянта Ф. П. Делаттра-старшего (Delattre aîné) — определить по имеющимся данным не удалось.

Итого результат по пятой группе — 8 "левых", 1 "правый", 2 не идентифицированы.

б. Остались 15 депутатов-предпринимателей, не принимавших участия ни в одном из двух голосований, результаты которых нам известны. Из них 3 можно уверенно причислить к "левым": Ш. Дарш (Darche), владелец металлургического предприятия в Мариенбурге, и бретонский арматор И. Муайо (Mouyot) были членами Якобинского клуба, откуда перешли к фельянам, а затем снова вернулись к якобинцам. Оба упомянуты в списке "левых", а Муайо еще и в перечне отказавшихся от колоний (р. 260, 707). К противникам колоний был отнесен и марсельский торговец шелком П. Пелу (Peloux), являвшийся также членом Клуба фельянов (р. 738). "Правым" из этой группы можно признать только лангедокского негодянта Ш.К.А. Моннерона (Mouneron), чье имя фигурирует в двух соответствующих списках. Политические симпатии остальных 11 депутатов этой группы не определяются. Трое из них, правда, упомянуты в списке "левых", составленном 3 марта 1791 г., но явно по ошибке: парижский торговец лесом Т.Ж. Дезескут (Desescoutes) сложил депутатские полномочия 19 мая 1790 г. (р. 282), а владелец металлургического предприятия в Сартре Ф.Р. Герен (Guérin) — 24 октября 1790 г. (р. 437); негодянт же из Ножана-ле-Ротру Ф.И. Маргон (Margonne) и вовсе умер 4 ноября 1790 г. (р. 632).

Подведем общий итог. Опираясь на всю совокупность критериев, мы идентифицировали политическую принадлежность 93 депутатов-предпринимателей таким образом: 57 "левых", 20 "правых", 16 не определены. Разумеется, подобное деление носит несколько условный характер и при получении дополнительных сведений может быть уточнено по отдельным позициям. Не учитывает оно и существовавшего внутри каждого из двух обозначенных нами политических направлений, особенно среди "левого" большинства, широкого разнообразия взглядов, проявившегося в последующем делении на все новые "партии". Тем не менее полученные результаты дают веские основания констатировать, что капиталистические элементы не только составляли явное меньшинство среди депутатов Учредительного собрания, как это убедительно продемонстрировали А. Коббен и Э.Х. Лэмэй, но и меньшинство к тому же политически расколотое. При всей гибкости применявшихся критериев мы смогли отнести к сторонникам Революции (в максимально широком смысле) лишь немногим более половины депутатов-предпринимателей. Довольно большая (17%) доля лиц, чьи политические симпатии так и остались невыясненными, обусловлена тем, что данная часть депутатского корпуса проявляла, за редким исключением, весьма

низкую активность в вопросах, непосредственно не связанных с их профессиональной деятельностью.

В поддержку традиционного представления советской и то-риографии о том, что предпринимательские слои играли ведущую роль во Французской революции, сторонники марксистской интерпретации истории могут, конечно, привести и такой аргумент: «То, что предпринимательская буржуазия не имела большинства в Учредительном собрании, знал и К. Маркс, но он не думал, что это ставит под сомнение буржуазный характер революции, потому что выражать интересы буржуазии могут не только сами буржуа, но и такие идеологи и политики, которые по своему индивидуаль-ному положению далеки от буржуазии, как "небо от земли"»⁷³. Действительно, *выражать* интересы какой-либо из общественных групп вполне может человек, к ней не принадлежащий, однако логично предположить, что членам этой группы их собственные ин-тересы известны все же лучше, чем кому бы то ни было. Разумеет-ся, речь идет о реальных интересах, а не о тех, которые им *post hoc* припишут авторы той или иной теории. Однако если принять мар-ксистскую гипотезу о том, что депутатское большинство в Учреди-тельном собрании и в самом деле "выражало интересы" предпри-нимательских слоев, то поведение депутатов, непосредственно принадлежавших к этим слоям, в таком случае будет выглядеть, по меньшей мере, странным: в основной своей массе они не проявля-ли большой активности в поддержке политики Собрания, в кото-рой они, казалось бы, должны быть заинтересованы больше дру-гих, а значительная их часть этой политике и вовсе противилась.

Таким образом, если у Французской революции и были "твор-цы", то вряд ли их стоит искать среди того разрозненного и поли-тически пассивного меньшинства, которое составляли в Учреди-тельном собрании капиталистические предприниматели.

* * *

Огромный материал, накопленный за последние десятилетия в области экономической истории, заставляет по-новому взглянуть и на вопрос о связи революционных событий конца XVIII в. с даль-нейшим развитием капитализма во Франции. Сегодня, пожалуй, может показаться излишне оптимистичным тот вывод, который советские историки считали аксиомой, а именно, что революция дала "самый мощный импульс формированию новой социально-экономической системы — системы капитализма"⁷⁴. И дело здесь не только в том, что торгово-промышленные круги французского общества оказались одной из наиболее пострадавших от револю-

⁷³ Смирнов В.П. Две жизни одного издания // НиНИ. 2002. № 3. С. 225.

⁷⁴ Ревуненков В.Г. Указ. соч. С. 505.

ции сторон. Да, мы помним, что посягательства на крупную собственность были неотъемлемым атрибутом массовых волнений революционной эпохи уже с самого ее начала (например, "дело Ревельона"). И что "негоциантизм" в эпоху Террора, действительно, рассматривался как вполне достаточный повод для преследований, которым в качестве "спекулянтов" (assarageurs) подверглись многие предприниматели. И что война в самом деле катастрофически подорвала бурно развивавшуюся накануне Революции заморскую торговлю. И все же, как показал в своем фундаментальном исследовании А.В. Адо, происшедшее в ходе Революции перераспределение земельной собственности в пользу крестьянства имело гораздо более долгосрочные негативные последствия для развития капитализма во Франции, нежели все вышеперечисленные факторы⁷⁵. При отсутствии статистических цифр по Франции в целом, наиболее показательными в данном отношении до сих пор остаются результаты исследования Ж. Лефевра по департаменту Нор, где с 1789 по 1802 г. доля крестьян в общем объеме земельной собственности выросла с 30 до 42% (+40%), буржуазии — с 16 до 28% (+75%), тогда как доля дворянства сократилась с 22 до 12% (-45%), а духовенства — с 20% до 0⁷⁶.

Передел земли в пользу мелких собственников и связанное с ним упрочение традиционных форм крестьянского хозяйства оказали во многом определяющее влияние на темпы и специфику промышленного переворота во Франции XIX в. «Шедшая в этот период парцелляция земельной собственности в сочетании с сохранением традиционных общинных институтов вела к тому, что даже обнищавший крестьянин имел возможность не покидать деревню, обладая клочком земли и обращаясь к общинным угодьям и правам пользования. Это усиливало аграрное перенаселение, задерживало отлив бедноты в города и создавало в деревнях громадный резерв рабочей силы, остро нуждавшейся в дополнительном заработке. Тем самым продлевалась во времени относительная стойкость "доиндустриальных" (ремесленных и мануфактурных) форм промышленного производства, прибыльность которых обеспечивалась использованием дешевого труда деревенской бедноты, а не модернизацией с применением машин и новой технологии. Агротехническая перестройка также шла замедленно, черты традиционной системы ведения хозяйства обнаруживали большую живучесть...»⁷⁷ Данный вывод об относительно невысоком уровне агрикультуры в хозяйствах новых владельцев земли подтверждается статистическими сведениями, собранными французским аграрным историком Ж.К. Тутзном, которые свидетельствуют о рез-

⁷⁵ См.: Адо А.В. Крестьяне и Великая французская революция. М., 1987. С. 356—359.

⁷⁶ См.: Там же. С. 358.

⁷⁷ Там же. С. 365.

ком падении урожайности большинства зерновых в послереволюционный период. Так, по сравнению с 1781 — 1790 гг. среднестатистическая урожайность зерновых в 1815 — 1824 гг. снизилась с 8 до 7,5, пшеницы — с 11,5 до 8,24, ржи — с 8 до 6,5, ячменя — с 11 до 8,4 центнера с гектара⁷⁸.

Одним из важнейших факторов, затруднявших проведение во Франции промышленной революции и аграрного переворота, стал "инвестиционный голод". Кризис промышленности и торговли, порожденный Французской революцией и войной, вызвал переориентацию владельцев капиталов на спекулятивные операции с недвижимостью, получившие широкий размах в результате массовой распродажи национальных имуществ. Как показал в ряде своих работ об экономических последствиях революции А.В. Ревякин, «важным признаком преобладания торгового капитала в начале XIX в. был заметный рост вложений буржуазии в недвижимую собственность в ущерб инвестициям. Такого рода непроизводительные вложения привлекали буржуазию не только своей "надежностью", что в условиях политической и военной нестабильности было немаловажным мотивом поведения, но и высоким общественным престижем, которым пользовались крупные землевладельцы. Стремясь приспособиться к общественным отношениям, в основе которых лежала собственность на землю как главное средство производства, торговый капитал проявлял свою неспособность к их коренному преобразованию»⁷⁹. И хотя капитализм во Франции развивался, несмотря на все сложности и неблагоприятные обстоятельства, причинно-следственная связь этого процесса с революционными событиями конца XVIII в. выглядит сегодня уже не столь бесспорной, как это казалось сравнительно недавно. Значительное и все более усугублявшееся на протяжении первой половины XIX в. экономическое отставание Франции от Англии, а во второй половине столетия и от Германии, заставляет серьезно задуматься над тем, происходило ли развитие французского капитализма "благодаря революции" или же "несмотря на нее".

Таким образом, как мы смогли убедиться, понятие "буржуазная революция" — еще одна ключевая категория марксистской интерпретации событий во Франции конца XVIII в. — довольно слабо согласуется с результатами конкретных исторических исследований и выглядит скорее мифологемой, порождением идеологии, нежели результатом изучения исторических реалий.

⁷⁸ Toutain J.C. Le produit de l'agriculture française de 1700 à 1958: 1. Estimation du produit au XVIII^e siècle. P., 1961. P. 74.

⁷⁹ Ревякин А.В. Буржуазия после Французской революции (первая половина XIX в.) // Буржуазия и Великая французская революция. С. 150.

Часть вторая
"ЧЕРНЫЕ ЛЕГЕНДЫ"
ИСТОРИОГРАФИИ

Глава 1

"ОТРАВЛЕННЫЕ СТРЕЛЫ
ПРОТИВ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ"

Раны от меча заживают, раны от языка остаются.

Японская пословица

Помимо непоколебимой приверженности к формационной схеме объяснения Французской революции, еще одной характерной для советской историографии чертой было весьма подозрительное, а то и откровенно негативное отношение к любым попыткам критики "классической" интерпретации данного события. Долгое время подобный подход ассоциировался у отечественных историков, прежде всего, с консервативным направлением исторической науки. Резко нетерпимое отношение к нему советских исследователей было напрямую связано с их уверенностью в том, что за любыми расхождениями в оценке Революции скрываются идеологические разногласия, а те, в свою очередь, являются отражением классовой борьбы. "Начиная с Реставрации, — писал Н.М. Лукин, — и вплоть до наших дней не было, кажется, эпохи, когда классовая борьба не находила бы своего отражения в наиболее ярких работах по истории Великой революции, когда то или иное понимание этой революции не становилось бы орудием борьбы на идеологическом фронте"¹. Соответственно, при такой постановке вопроса оппонент по научной полемике превращался в "классового врага", с которым надо не обсуждать дискуссионные проблемы, а бороться.

¹ Лукин Н.М. Альфонс Олар (1849—1928) [1928] // Лукин Н.М. Избранные труды. М., 1960. Т. 1. С. 196. В начале своего научного пути автор этих строк также отдал дань подобным представлениям, являвшимся общим местом для советской историографии. См.: Чуудинов А.В. Огюстен Коштен и его вклад в изучение Великой французской революции // ФЭ. 1987. М., 1989. С. 220.

Эффективным средством этой борьбы стала своего рода "черная легенда" о консервативной историографии, получившая самое широкое распространение в среде советских специалистов по Французской революции. Согласно этой "легенде", работы консервативных историков, в силу своей политической ангажированности, находятся за гранью науки и принадлежат скорее к жанру публицистики, нежели исторического исследования. Такой подход позволял вести "диалог" с оппонентами тоже в духе политического памфлета, не затрудняя себя анализом их аргументации.

В данном отношении весьма характерен пример оценки советскими исследователями научного наследия Ипполита Тэна, ведущего консервативного историка Франции конца XIX в. С 1917 по 1985 г. никто из них не удостоил его творчество даже статьей, тогда как во Франции за тот же период вышло более десятка монографий о нем². Тем не менее Тэна советские историки в своих работах о Революции упоминали достаточно часто, но, делая это, они словно соревновались, кто более хлестко "припечатает" его в чисто публицистическом стиле. Н.М. Лукин, например, называл Тэна "идолом французских реакционеров", а его сочинение (вслед за А. Оларом) — "злостной карикатурой на историю революции"³. Т.В. Милицина, автор соответствующего раздела в "каноническом" для советской историографии труде 1941 г., характеризовала книгу французского историка как "грубую карикатурную мазню" и "гнусный памфлет"⁴. Но, пожалуй, всех превзошел здесь А.З. Манфред, высказавшийся с присущей ему яркой образностью: "Крайне реакционное направление историографии, имевшее с 70-х годов [XIX в.] своим признанным главарем Ипполита Тэна, продолжало вести войну отравленными стрелами против Великой французской революции..."⁵

Крайне негативное отношение с ярко выраженным идеологическим подтекстом советские историки проявили и к оформившемуся в середине XX в. "ревизионистскому", или "критическому"⁶ направлению западной историографии. Начавшаяся с конца 50-х годов в Англии и распространившаяся в 60-е годы на Францию, США и Германию "ревизия" фундаментальных постулатов "классического" видения Революции, характерного для историков ли-

² Ср.: Великая французская буржуазная революция: Указатель русской и советской литературы. М., 1987; Каталог Национальной библиотеки Франции на сайте <http://www.bnf.fr>

³ Лукин Н.М. Указ. соч. С. 197, 208.

⁴ Французская буржуазная революция. М.; Л., 1941. С. 708—709.

⁵ Манфред А.З. Споры о Робеспьере [1965] // Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983. С. 380.

⁶ Определение "ревизионистское", чаще всего встречающееся в нашей научной литературе, это направление получило от своих оппонентов. Сами же его представители предпочитают название "критическое".

берального и социалистического толка, вызвала со стороны последних весьма негативную реакцию. Вспыхнувшая полемика имела ярко выраженную идеологическую окраску и велась в жестких тонах. Однако даже на этом фоне позиция советских историков, включившихся в дискуссию в середине 70-х годов, выделялась своей крайней нетерпимостью. Критику традиционного для марксистской историографии прочтения Французской революции они восприняли как посягательство на основы марксистского учения в целом, а за кулисами научного диспута увидели политический "заговор" против социалистического лагеря. "Стрелы, направленные против Французской революции XVIII в., целят дальше, — это стрелы и против Великой Октябрьской социалистической революции, могущественного Советского Союза, против мировой системы социализма, против рабочего и национально-освободительного движения, против всех демократических, прогрессивных сил, с которыми связано будущее человечества", — писал А.З. Манфред в журнале "Коммунист"⁷, главном теоретическом органе ЦК КПСС, что подчеркивало идеологическую значимость сюжета.

Эта статья, последняя опубликованная при жизни историка, оказалась своего рода политическим завещанием признанного лидера советской историографии Французской революции. И действительно, появившиеся в конце 70-х — начале 80-х годов труды отечественных исследователей о "ревизионистской" историографии, если не по форме, то по духу своему полностью соответствовали подходам, намеченным Манфредом. При внешней академичности и несомненной информативной ценности этих работ, их авторы преследовали прежде всего идеологическую цель — доказать полную научную несостоятельность любой попытки пересмотра марксистской интерпретации Французской революции⁸. Эта задача существенно облегчалась тем, что в нашей стране сочинения историков-"ревизионистов" были не доступны для широкой научной общественности: ознакомиться с ними можно было, только получив доступ в спецхран.

Впрочем, "ревизионистам" в советской историографии еще "повезло": их работы, по крайней мере, стали предметом специального анализа, пусть даже и в целях идеологического опровержения. О консервативных же историках в отечественной литературе до самого конца 80-х годов, как правило, продолжали писать языком политического памфлета. Дабы дать читателю более полное представление о существовавшей тогда в нашей науке ситуа-

⁷ Манфред А.З. Некоторые тенденции зарубежной историографии [1976] // Манфред А.З. Великая французская революция. С. 419.

⁸ Соколова М.Н. Современная французская историография. М., 1979; Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики: французская историческая школа "Анналов" в современной буржуазной историографии. М., 1980; Далин В.М. Историки Франции XIX — XX вв. М., 1981.

дин, рискну предложить его вниманию один из текстов того времени, посвященных данной проблеме, а именно — свое выступление на уже неоднократно упоминавшемся "круглом столе" 1988 г. За прошедшие годы многое изменилось в нашей науке, и сегодня этот текст уже выглядит в чем-то архаичным, однако я привожу его целиком, таким, каким он 16 лет назад вышел в малотиражном и давно уже ставшем библиографической редкостью сборнике материалов указанной дискуссии. Пусть читатель почувствует вкус той эпохи перемен, когда отечественные историки Французской революции находились на распутье: с одной стороны, они еще и не помышляли о том, что когда-либо смогут выйти за пределы марксистской парадигмы, в лоне которой произошло их профессиональное становление, с другой — они уже остро ощущали невозможность дальнейшего развития науки в жестких идеологических рамках и всеми силами стремились эти рамки раздвинуть.

О новом отношении к консервативной историографии: через критику к синтезу

В силу ряда обстоятельств, заслуживающих специального освещения, в советской исторической науке на длительное время утвердился довольно односторонний подход к интерпретации истории Франции конца XVIII в. Французская революция и, особенно, якобинская диктатура рассматривались преимущественно с точки зрения их прогрессивной значимости. Любая же попытка критического осмысления отдельных негативных сторон революционного процесса неизменно встречала отпор. Естественно, при подобном взгляде на вещи имело место практически полное неприятие советскими авторами консервативной историографической традиции. По праву считая себя продолжателями "классической" историографии революции⁹, они унаследовали от своих предшественников — либеральных и демократических историков конца XVIII — начала XX в. — не только достоинства, но, к сожалению, и не вполне объективное отношение к сторонникам консервативного направления, доходящее нередко до отрицания вообще какой-либо научной значимости их работ.

Оправдан ли такой подход? Допустимо ли повторять практически без всякой коррекции суждения, высказанные в пылу полемики десятки лет назад, когда прием, оказываемый тому или иному сочинению о революции, определялся не столько его научно-познавательной ценностью, сколько его политической направленностью?

Легко понять чувства Т. Пейна, называвшего сочинение Бёрка "Размышления о революции во Франции"¹⁰ "драматическим произведением", избыточным инсинуациями и искажающим факты с целью оклеветать

⁹ Термин, введенный в оборот французским историком-марксистом А. Собулем (см.: Собуль А. Классическая историография французской революции. О нынешних спорах // ФЕ. 1976. М., 1978), широко используется и в советских работах.

¹⁰ Burke E. Reflections on the Revolution in France. L., 1790.

восставших французов¹¹. Для демократа Пейна книга Бёрка была лишь, политическим памфлетом, призванным воспрепятствовать распространению революционных идей в Англии. Но означает ли это, что и почти два столетия спустя можно ограничиться повторением его оценки, характеризующую работу Бёрка только как "яростные нападки" человека, охваченного "припадками слепой, безумной, судорожной ярости"¹²?

Когда А. Олар и Ж. Жорес вступили в спор с И. Тэнном, они рассматривали его многотомный труд¹³, прежде всего, как попытку поставить под сомнение политические ценности 1789 г., начертанные на знамени Третьей республики. Соответственно их отношение к Тэнну определялось, в основном, острой политической борьбой тех лет, в которой либерал Олар и социалист Жорес были активно действовавшими лицами¹⁴. Однако, как справедливо заметил А.З. Манфред, "страсти, когда-то волновавшие и разделявшие участников и современников революционных событий, а позже их сторонников и противников, давным-давно перегорели и остыли, от них остался лишь пепел"¹⁵. Почему же в нашей специальной литературе работу Тэна до сих пор определяют "по Олару" — лишь как "злобную карикатуру на революцию"¹⁶?

Напряженность политической ситуации объясняется также суровый прием, который встретили в 20-е годы историко-социологические изыскания О. Кошена¹⁷. Для Олара и А. Матъеза, чьи резко отрицательные рецензии обрекли эти труды на долгое забвение, консервативные

¹¹ Пейн Т. Права человека // Пейн Т. Избранные сочинения. М., 1959. С. 189, 197—198, 200.

¹² Косминский Е.А. Историография средних веков. V в. — середина XIX в. М., 1963. С. 279. Фактически отрицают сколько-нибудь позитивный вклад Бёрка в историографию революции и другие авторы: Волкова Г.С. Эдмунд Бёрк и идейно-политическая борьба в Англии по вопросу о французской революции (1789—1793) // Проблемы новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М., 1972; Абрамов В.Н. Вопросы государства и общества в политической философии Э. Бёрка // Тезисы к Всесоюзной конференции "Методологические и мировоззренческие проблемы философии". Секция 7. М., 1986.

¹³ Taine H. Les origines de la France contemporaine. La Révolution: In 3 vols. P., 1878.

¹⁴ Позднее в этой связи известный историк Ж. Лефевр писал: "Олар... никогда не переставал быть журналистом". — Lefebvre G. Les historiens de la Révolution française // Lefebvre G. Réflexion sur l'histoire. P., 1978. P. 235.

¹⁵ Манфред А.З. Великая французская революция. С. 402. Сам Манфред, отмечая, что "привнесение в историческую науку откровенно политических мотивов не приводит и не может привести к плодотворным научным результатам" (Там же. С. 410), тем не менее характеризовал Тэна в духе скорее политического памфлета, чем академического исследования (см.: Там же. С. 370, 380).

¹⁶ Биск И.Я. История исторической мысли в новое время. Иваново, 1983. С. 69. См. также: Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М., 1977. С. 174—175.

¹⁷ Cochin A. Les sociétés de pensée et la démocratie. P., 1921; Idem. La Révolution et la librepensée. P., 1924.

взгляды Кошена были важнее новизны поставленных им проблем. Понять их нетрудно: правые тогда шли к власти под лозунгом отказа от традиций Великой французской революции¹⁸, и острокритическое освещение революционной истории в условиях тех лет неизбежно принимало ярко выраженный политическую окраску. Но времена изменились¹⁹. Почему же и теперь суждения Олара и Матьеза преподносятся в качестве решающего аргумента "научной несостоятельности" работ Кошена²⁰?

Должны ли мы безоговорочно принимать оценки, вынесенные десятилетиями назад? Надо ли становиться на точку зрения историков прошлого, чей небеспристрастный подход к истории революции был обусловлен особенностями современной им политической ситуации? Надо ли по примеру "проякобинской" историографии XIX в. освещать факты с позиции одной из участвовавших в революции сторон?

Едва ли такой путь отвечает сути марксизма, призывающего рассматривать каждое явление диалектически, учитывая всю совокупность его внутренних и внешних связей и противоречий. Известно, например, сколь гибко и неоднозначно оценивали различные этапы революции К. Маркс и Ф. Энгельс²¹. Такой же диалектический подход необходим ныне и при оценке реального вклада различных исследователей в изучение революционных событий XVIII в. Надо отказаться от предвзятого отношения к работам консервативных авторов, чтобы суметь увидеть в их трудах не только отличную от марксистской идеологическую направленность, но и все то действительно позитивное, творческое усвоение которого позволило бы нашей исторической науке дальше продвинуться по пути постижения объективной истины. Основой для успешного развития исследований истории Французской революции должен стать синтез подлинно научных достижений всех течений мировой историографии, в том числе консервативного.

Предпосылки для этого есть, ибо частично такой синтез фактически уже осуществляется, хотя и в скрытой форме. Историки-марксисты разрабатывают немало проблем, впервые поставленных именно консервативными авторами, правда, об истоках подобных исследовательских направлений в этих случаях, как правило, не упоминают. Приведем несколько примеров.

Ученые-марксисты всегда проявляли повышенный интерес к социально-экономической сфере жизни французского общества накануне, во время и после революции XVIII в. Однако начало осмыслению экономической подоплеки революционных событий положили еще их современники. Проблема экономической обусловленности и последствий революции

¹⁸ См.: Коваленко В.Г. К вопросу об идейно-политических концепциях лиги "Аксьон франсез" // ФЕ. 1985. М., 1987. С. 92 — 93.

¹⁹ Сейчас во Франции едва ли можно найти хоть одного серьезного исследователя, который полностью бы отвергал позитивное значение революции XVIII в. "Чтобы понять революцию, надо ее принять, хотя бы до определенной степени", — пишет видный французский историк Ф. Фюре (Furet F. Penser la Révolution française. P., 1978. P. 116).

²⁰ См.: Далин В.М. Историки Франции XIX — XX веков. С. 247 — 248.

²¹ См.: Ревуненков В.Г. Марксизм и проблема якобинской диктатуры. Л., 1966. С. 16 — 49; Он же. Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на проблемы Великой французской революции и современная наука // Вестник Ленинградского ун-та. 1968. № 8. С. 10 — 30; Далин В.М. К. Маркс и Великая французская революция // ФЕ. 1983. М., 1985. С. 5 — 19.

для хозяйственного развития широко обсуждалась участниками дискуссии, развернувшейся в английской публицистике 90-х годов XVIII в. и оказавшей большое влияние на последующие изыскания профессиональных историков. Причем, в данное русло дискуссия была направлена Эдмундом Бёрком, одним из наиболее ярких представителей консервативной мысли нового времени, который уже тогда поставил важнейший теоретический, не разрешенный в полной мере и поныне, вопрос об экономической детерминированности и цене революции²².

Другая важная проблема, неизменно находящаяся в центре внимания марксистской историографии, — проблема классовой борьбы. Мы знаем, что еще до Маркса ее активно разрабатывали либеральные историки эпохи Реставрации, чьи труды позднее получили самую высокую оценку классиков марксизма. Одним из непосредственных предшественников Тьерри и Гизо, Минье и Тьера на этом поприще был опять же Э. Бёрк. Он ранее многих других указал на конфликт "денежного" и "земельного интересов" как на объективный фактор, ставший при определенных субъективных условиях предпосылкой революционного переворота во Франции.

Бёрк также был одним из первых, кто увидел и подверг критике противоречия нового социального строя, возможности для развития которого открыла революция.

В XIX в. историков интересовала в основном политическая сторона революционных событий. Героями большинства монографий выступали Мирабо и Лафайет, Бриссо и Дантон, Сен-Жюст и Робеспьер, а также другие видные деятели революции. Крестьянство и плебс появлялись в этих работах эпизодически, народные движения были там лишь фоном, на котором происходило действие, разыгрываемое немногими выдающимися актерами. Кто же из авторов вывел массы на авансцену? Обратимся к свидетельству столь признанного авторитета в этой области историографии, как П.А. Кропоткин: «У Тэна (курсив мой. — А.Ч.) история революции является в совершенно ином виде, чем у других историков. Люди, на которых сосредоточивалось внимание прежних историков, у него исчезают. Его книга написана не для возвеличивания Робеспьера, как "История" Луи Блана, не для оправдания Дантона, как художественная история Мишле, — в ней видно, как народ делал революцию». И далее: "После Тэна формальная история революции уже невозможна. Будущая история революции должна быть историей народного движения за этот период"²³. А вот мнение А. Соболя: "Не следует забывать, что Тэн указал направление поисков, которые не могли не принести плодов. Он пролил свет на социальный характер движения секций и показал, чем оно угрожало буржуазии"²⁴.

Тэн не только привлек внимание специалистов к народным выступлениям конца XVIII в., он также поставил задачу исследования социальной психологии и массового сознания революционной эпохи. В последнее время зарубежные историки-марксисты немало сделали для разработки

²² Подробнее см.: Чудинов А.В. Эдмунд Бёрк и его оппоненты (первые размышления англичан о Французской революции) // Культура эпохи Просвещения. М.: Наука, 1993.

²³ Кропоткин П.А. Тэн о Французской революции // Кропоткин П.А. Великая французская революция. М., 1979. С. 458 — 460.

²⁴ Соболя А. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. М., 1966. С. 28.

этой темы²⁵, однако надо подчеркнуть, что именно Тэн первым широко использовал так называемый психологический метод при изучении событий революции. По словам Ж. Лефевра, благодаря Тэну, "коллективная психология стала для историка необходимым инструментом исследования"²⁶.

Ряд любопытных мыслей об отдельных аспектах революционного сознания высказал и О. Кошен. В частности, его привлекала проблема соотношения утопических представлений робеспьеристов об идеальных путях развития общества и реальной социально-политической ситуации во Франции конца XVIII в. С попыткой насильственного воплощения этой утопии в жизнь Кошен связывал некоторые особенности развития революционного процесса в период якобинской диктатуры²⁷. Позднее, в конце 20-х годов в том же направлении вел чрезвычайно интересные исследования советские историки Ц. Фридлянд и Я.В. Старосельский²⁸, но, к сожалению, им не удалось завершить свои поиски, так как в 30-е годы оба были незаконно репрессированы.

Из-за недостатка времени мы не можем подробно остановиться на исследованиях современных консервативных историков революции. В нашей специальной литературе о них, особенно о представителях "ревизионистского" направления*, написано уже довольно много, причем в ряде статей намечен гораздо более объективный подход к освещению данного течения историографии²⁹, чем это делалось ранее по отношению к их предшественникам.

Впрочем, и уже сказанное дает достаточные основания признать: марксистская наука должна использовать положительный опыт, накопленный консервативной историографией. Разумеется, прежде его надо изучить, а потому нужны самые широкие и объективные исследования в этой области³⁰. Естественно, они вовсе не предполагают отказа от крити-

²⁵ Rudé G. The Crowd in the French Revolution. Oxford, 1965; *Idem*. The Crowd in the History. 1730 — 1848. L., 1981; Vovelle M. La mentalité révolutionnaire. Société et mentalité sous la Révolution française. P., 1985.

²⁶ Lefebvre G. La naissance de l'historiographie moderne. P., 1971. P. 247.

²⁷ Подробнее см.: Чудинов А.В. Отюстен Кошен и его вклад...

²⁸ См.: Фридлянд Ц. 9-е термидора // Историк-марксист. 1928. Т. 7; Старосельский Я.В. Проблема якобинской диктатуры. М., 1930.

* За это смещение консервативного и ревизионистского направлений историографии автор выступления был позднее подвергнут справедливой критике в исторической литературе. См.: Блауменау С.Ф. От социально-экономической истории к проблематике массового сознания. Французская историография революции конца XVIII века (1945 — 1993 гг.). Брянск, 1995. С. (Примечание 2006 г.).

²⁹ Так, А.В. Адо отмечает: "Было бы неверно считать, что в этих работах ("ревизионистов". — А.Ч.) не привлечено внимания к некоторым действительно сложным и важным проблемам французской истории той эпохи". — Адо А.В. Великая французская революция и ее современные критики // Буржуазные революции XVII — XIX вв. в современной зарубежной историографии. М., 1986. С. 109.

³⁰ Такой подход уже просматривается в нескольких работах, появившихся в последнее время. См., например: Лебедев Ю.Б. Э. Бёрк и Великая французская революция (У истоков историографии революции). Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Л., 1983; Калюк Ю.Н. И. Тэн как историк-психолог // Вопросы методологии истории, историографии и источниковедения. Томск, 1984.

ки работ консервативных авторов, но содержание этой критики должно стать совершенно иным, чем прежде. До сих пор она нередко сводилась к констатации консервативного характера воззрений того или иного историка, что, как правило, оказывалось достаточным для признания его построений ненаучными. Установление действительной принадлежности исследователя, далеко не всегда им самим признаваемой, к определенной историографической традиции, бесспорно, необходимый этап научной критики. Необходимый, но не последний. Решающим фактором при оценке исторических трудов должна быть их познавательная значимость, а не идеологические установки автора. Если же консервативное мировоззрение исследователя обусловило в каком-либо конкретном случае тенденциозное, искаженное изображение действительности, критик обязан показать, что выводы данного историка неудовлетворительны именно в силу недостаточной научности, а отнюдь не потому, что тот, кто их сделал имеет взгляды, отличные от его собственных.

Только так можно обеспечить марксистским исследованиям развитие на основе синтеза научных достижений всех без исключения направлений мировой историографии.

* * *

В ходе дискуссии того же "круглого стола" вопрос о необходимости пересмотреть отношение к историкам консервативного и "ревизионистского" направлений и перейти от "опровержения ради опровержения" к изучению их работ был поднят и в выступлениях ряда других участников (А.В. Адо, Л.А. Пименовой, В.В. Согрина, А.М. Салмина)³¹.

Впрочем, тенденция трактовки научных оппонентов как идеологических противников была тогда все еще сильна, хотя и она претерпевала определенные изменения. В данной связи весьма показательна программная статья академика А.Л. Нарочницкого, вышедшая накануне 200-летия Французской революции. Автор статьи курировал в Академии наук программу мероприятий, приуроченных к этому юбилею, и его выступление на страницах журнала "Новая и новейшая история" носило откровенно установочный характер: маститый академик обозначал для нового поколения отечественных историков Французской революции те направления, по которым они должны вести свои исследования³². Среди прочего прозвучал и призыв подвергнуть критическому анализу работы О. Кошена:

«Почти неизвестным для советских ученых является консервативный историк первой четверти XX в., неоднократно уже упоми-

³¹ Подробнее см.: Чудинов А.В. Назревшие проблемы изучения истории Великой французской революции: По материалам обсуждения в Институте всеобщей истории АН СССР // ИИИ. 1989. № 2. С. 69 – 70.

³² См.: Нарочницкий А.Л. Юбилей Французской революции: поиски и проблемы // ИИИ. 1989. № 3. С. 10.

навшийся О. Кошен. Его книги об упрочении в 1793 – 1794 гг. неких "обществ мысли", фанатически добивавшихся осуществления чисто абстрактных идей Руссо о равенстве и общей воле, стали евангелием историков ревизионистской школы, прежде всего Ф. Фюре. Труд Кошена пронизан отвращением к якобинизму и натянутыми искусственными концепциями. Представляется целесообразным подвергнуть анализу взгляды Кошена, первым выступлением которого была защита И. Тэна от критики его А. Оларом... Всегда лучше иметь дело с оригиналом, а не его копией: критика Кошена будет более плодотворна, чем разбор повторения его мысли историками- "ревизионистами" »³³.

Похоже, сам А.А. Нарочницкий был не слишком хорошо знаком с творчеством Кошена: в книгах последнего речь шла о распространении "обществ мысли" в дореволюционный период, а не в 1793 – 1794 гг., когда на смену им пришли революционные клубы. Да и определение погибшего в 1916 г. Кошена как "историка первой четверти XX в." выглядело не очень точным. Иными словами, этот французский исследователь был тогда "почти неизвестен" не только советским ученым в целом, но и самому автору статьи. Впрочем, это не помешало последнему дать четкую установку на "изобличительную" трактовку идей Кошена, априорно охарактеризованных как "натянутые искусственные концепции". Тем не менее статья отражает и явный прогресс даже в этом "обличительном" подходе: для "опровержения" консервативного историка она призывает хотя бы изучить его работы, без чего раньше вполне обходились.

Однако дальнейший ход событий в стране и произошедшие в исторической науке перемены очень скоро обесценили любые идеологические установки, в том числе касавшиеся консервативной и "ревизионистской" историографии. За минувшие с тех пор годы вышел в свет ряд монографий, где были подробно проанализированы некоторые ключевые аспекты "ревизионистского" и консервативного прочтений Французской революции³⁴. Отдельные работы видных представителей консервативной историографии³⁵ и современного "критического" направления³⁶ переведены

³³ Там же. С. 16.

³⁴ Блуменау С.Ф. "Ревизионистское" направление в современной французской историографии Великой буржуазной революции конца XVIII в. Брянск, 1992; Он же. Споры о революции во французской исторической науке второй половины 60-х – 70-х годов. Брянск, 1994; Он же. От социально-экономической истории...; Чуудинов А.В. Размышления англичан о Французской революции: Э. Бёрк, Дж. Макинтош, У. Годвин. М., 1996.

³⁵ Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. М., 1993; Он же. Правление, политика и общество. М., 2001; Местр Ж., *де*. Рассуждения о Франции. М., 1997; Кошен О. Малый народ и революция. М., 2004.

³⁶ Фюре Ф. Постигание Французской революции. СПб., 1998; Озуф М. Революционный праздник 1789 – 1799. М., 2003; Генифе П. Политика революционного террора 1789 – 1794. М., 2003.

на русский язык. Все это создало благоприятные условия для расширения методологического диапазона отечественных исследований революции.

И все же, на мой взгляд, сделаны пока лишь первые шаги по освоению современной российской историографией научных достижений консервативного направления исследований Французской революции. О том, сколь полезным порою бывает подобное вливание свежей крови, можно судить по опыту французской историографии. В качестве наглядного примера мы сравним, как развивались во Франции исследования по двум идеологически острым проблемам революционной истории: а именно — изучение роли, сыгранной в Революции масонами и янсенистами. Темы эти во многом схожи: споры по обеим идут уже более двухсот лет в рамках непрекращающейся дискуссии об истоках Революции. С обеими связаны и свои "черные легенды" — о "заговоре" соответственно масонов или янсенистов против Церкви и Монархии. Однако историография каждой из указанных проблем имеет и свои существенные особенности: если в исследовании масонской тематики важную, а в чем-то и определяющую роль сыграли наработки именно консервативных авторов, в частности историко-социологические идеи О. Кошена, то историки янсенизма, напротив, игнорируют предложенные им подходы. Судить о результатах читатель сможет сам, ознакомившись с двумя последующими главами.

МАСОНЫ И РЕВОЛЮЦИЯ: ОТ "ЗАГОВОРА" К "НОВОЙ СОЦИАБЕЛЬНОСТИ"

Человек, который хочет передвинуть гору, начинает с того, что переносит мелкие камни.

Китайская пословица

Четыре сентябрьских дня 1996 г. потрясли Францию. Визит папы Иоанна Павла II в связи с 1500-летним юбилеем принятия Хлодвигом христианства — далекое, казалось бы, от политики событие — вызвал бурный всплеск противоположных страстей. В Шампани, Эльзасе, Бретани и Вандее бронированный "папамобиль" встречали сотни тысяч ликующих прихожан под белыми знаменами, на которых золотились королевские лилии Бурбонов и кроваво-алело Священное сердце Иисуса — символ вандейского восстания времен Французской революции XVIII в. Зато в Париже все четыре дня бушевали митинги, на которых объединившиеся по такому случаю коммунисты, троцкисты, анархисты, феминистки, союзы сексуальных меньшинств, а также всевозможные общественно-политические объединения крайне левого толка гневно протестовали против посещения страны римским первосвященником. Здесь также широко использовалась символика 200-летней давности, но уже революционная. Поводом для проведения анти-папского митинга стала и очередная годовщина сражения при Вальми — первой победы республиканской армии в 1792 г. Толпа, собравшаяся на бывшем поле боя под многоцветьем красных, черных, золотистых и прочих флагов, представляла собой пестрое причудливое зрелище. Проталкиваясь сквозь нее, корреспондент французского телевидения задавал присутствующим один и тот же вопрос: "Вы здесь потому, что вы против Палы?" — "Да!" — отвечали суровые профсоюзные вожаки с обветренными на бесчисленных митингах лицами. "Да!" — кивали юные особи неопределенного пола, усыпанные пирсингом и татуировками. "Да!" — бодро подтверждали старички-"якобинцы", похожие в своих красных колпаках на диснеевских гномов. И только масоны, стоявшие особняком под золотистыми знаменами в золотистых же фартуках "вольных каменщиков", уклончиво ответили: "Да нет, мы вообще не против кого бы то ни было. Мы просто за светское государство!" Что ж, масонам действительно приходится тщательно взвешивать слова, говоря о своем отношении к церкви, ведь уже два столетия над ними тяготест обвинение в заговоре против христианской религии, ради уничтожения которой они, якобы, и совершили Французскую революцию.

Впервые оно прозвучало еще в 1791 г. — в самом начале революционных событий, когда аббат Ф.-Ф. Лефранк в пространном сочинении под интригующим названием "Завеса, приподнимаемая для любопытствующих, или Тайна Революции, раскрытая при помощи франкмасонства" сообщил читателям, что происходящее в их стране — это результат коварных происков тайного Ордена вольных каменщиков¹. Вероятно, само по себе подобное "разоблачение" едва ли выглядело сенсационным: публика за время Революции успела привыкнуть к тому, что политические "партии" с необыкновенной легкостью бросали друг другу самые невероятные обвинения, пренебрегая при этом какими бы то ни было доказательствами. Но в отличие от подавляющего большинства памфлетистов, аббат Лефранк попытался дать своей версии солидное историческое обоснование. Помещенный им в начале книги список использованной литературы включал 22 наименования, в число которых входили наиболее известные в XVIII в. произведения о масонстве, написанные как самими членами Ордена, так и их противниками. Опираясь на содержащиеся там сведения, Лефранк представил краткий очерк истории масонства, доказывая, что Французская революция — прямое следствие целенаправленной деятельности этой организации на протяжении нескольких веков: "Летописи французского государства донесут до потомства сведения о беспримерных усилиях, предпринимавшихся масонами повсюду, дабы побудить жителей Франции присоединиться к ним, дабы уничтожить все напоминающее о старом порядке и заменить его тем порядком, который принят в их обществах и который, как они утверждают, имеет целью вернуть людей к изначальной свободе и равенству, для коих и рождается человек"². Но сам не будучи "вольным каменщиком" (что он особо подчеркнул³) и не имея доступа к документам лож, Лефранк не смог отделить реальные факты истории Ордена от бесчисленных домыслов, коими изобилвала тогда литература о масонстве, что делает познавательную ценность его исторического экскурса более чем относительной.

Однако нас интересуют прежде всего доводы Лефранка в пользу существования масонского "заговора" как причины Французской революции. Соответствующая аргументация действительно составляла основное содержание его труда, правда, выглядела она излишне абстрактной, а потому недостаточно убедительной. Практически не ссылаясь ни на какие конкретные имена и факты, автор ограничился констатацией внешнего сходства некоторых принципов масонской философии и обрядности со словами и делами Учредительного собрания. Например, по его мнению, Собрание отмени-

¹ *Lefranc J.-F., abbé. La voile levée pour les curieux ou le Secret de la Révolution révélé à l'aide de la Franc-Maçonnerie. [Sans lieu], 1791.*

² *Ibid.* P. 57.

³ *Ibid.* P. 168.

до титулы и привилегии исключительно из подражания порядку, установленному в масонских ложах, где "братьям" запрещено было носить какие-либо отличия, указывавшие на их социальный статус⁴. Процедура работы Учредительного собрания, отмечал Лефранк, также весьма напоминает ту, что принята на заседаниях лож: "та же манера просить слова, требовать отставки, выступать с трибуны, подавать протесты, поддерживать порядок" — вот почему депутаты от дворянства и третьего сословия, среди которых много масонов, освоились с ней столь легко, тогда как духовенству, гораздо меньше подверженному влиянию Ордена, потребовалось намного больше времени, чтобы привыкнуть к ней⁵.

Хотя подобные наблюдения Лефранка и отражали некоторые реальные черты политической жизни того времени, все же этого было мало для доказательства не только "заговора", но даже сколько-нибудь значительного влияния "вольных каменщиков" на развитие Революции. Утверждая, что члены Ордена играли ведущую роль в Учредительном собрании, аббат, однако, смог назвать всего лишь одно имя депутата-масона — "герцога Ор..."⁶, чего, конечно же, было не достаточно для столь далеко идущих заключений. Впрочем, если герцог Орлеанский действительно стоял тогда во главе так называемого Великого Востока⁷, то принадлежность к Ордену второго из двух названных Лефранком персонажей — маркиза М.Ф.А. Кондорсе, которому приписывалось авторство "масонского кодекса" и роль тайного дирижера политических клубов радикальной направленности⁸, была весьма сомнительна и, несмотря на многочисленные усилия историков, не доказана до сих пор⁹. Таким образом, при появлении на свет концепция масонского "заговора" выглядела довольно неубедительно и строилась скорее на интуитивных догадках и смутных подозрениях, нежели на реальных фактах.

Год спустя аббат Лефранк опубликовал новое, еще более обширное сочинение, где попытался исправить недостатки предыдущего¹⁰. На сей раз для обоснования своей гипотезы он использовал иную систему аргументации, сделав акцент не на принципах, а на

⁴ Ibid. P. 63–64.

⁵ Ibid. P. 62–63, 66.

⁶ Ibid. P. 90.

⁷ Великий Восток Франции — один из ведущих (наряду с Великой Ложей Франции) центров масонского движения в этой стране. Создан в 1773 г. В 70–80-е годы XVIII в. его руководящая роль была признана большинством французских лож.

⁸ Lefrane J.-F., abbé. La voile levé pour les curieux... P. 42, 90.

⁹ См.: Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie / Sous dir. de D. Ligou. P., 1991. P. 291–292.

¹⁰ [Lefranc, J.-F., abbé]. Conjuration contre la religion catholique et les souverains, dont le projet conçu en France doit s'exécuter dans l'Univers entier. P., 1792.

персоналиях. Доказательством наличия "заговора" он считал то, что Революцией руководят масоны. Главными их вдохновителями он объявлял все того же Кондорсе и астронома Ф.Ф. Лаланда: "Если масонские ложи являются сегодня рассадником всех антирелигиозных идей, которыми только заражена Франция, то винить в этом надо именно указанных философов, поскольку они разработали существующий в ложах порядок и продолжают руководить их деятельностью"¹¹. И хотя масонство первого из них, как уже отмечалось, вызывает большие сомнения, зато в отношении второго Лефранк был весьма недалек от истины. Лаланд накануне Революции действительно принадлежал к верхушке масонской иерархии. Правда, в самой Революции он заметного участия не принимал.

Роль масонских пропагандистов Лефранк отводил Н. Бонвилью, К. Фоше и Вольнею: "их можно рассматривать как главных ораторов братства, уполномоченных публично проповедовать доктрину, которую масоны до сих пор изучали тайком"¹². В этом утверждении Лефранка также имелось определенное рациональное зерно. Бонвиль и Фоше, издатели газеты *Vouche de fer* ("Железные уста"), действительно вступили в Орден вольных каменщиков еще до Революции¹³. В 1790 г. они организовали в Париже по образу и подобию масонской ложи знаменитый Социальный кружок¹⁴. Кроме того, Бонвиль был автором ряда сочинений, в которых пытался связать философию масонства с антиклерикальными и революционными идеями¹⁵.

Среди наиболее активных практиков Революции из числа "клубистов и франкмасонов" Лефранк особо выделял радикальных депутатов Законодательного собрания А.М. Инара, К. Базира, Ж.-П. Бриссо, а также бывших депутатов Учредительного собрания — А. Грегуара и "Робертспьера" (М. Робеспьера)¹⁶. Здесь процент "попадания" у него также оказался достаточно высок: первые трое из названных лиц действительно состояли в Ордене; принадлежность Грегуара к масонам считалась современниками, а позднее некоторыми историками бесспорной (правда, документально ее доказать так и не удалось¹⁷); и лишь Робеспьера аббат причислил к "вольным каменщикам" без достаточных на то оснований.

¹¹ Ibid. P. 116.

¹² Ibid. P. 64.

¹³ Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie. P. 153, 452.

¹⁴ История этого политического клуба подробно освещена в отечественной историографии. См., например: *Алексеев-Полов В.С.* История основания "Социального кружка" // Труды Одесского гос. ун-та. Т. 144. Одесса, 1954; *Иоаннисян А.А.* Коммунистические идеи в годы Французской революции. М., 1966. С. 17—53.

¹⁵ См., например: *[Bonneville N.]*. Les jésuites chassés de la Franc-Maçonnerie et leur poignard brisé par les Maçons. P., 1788.

¹⁶ *[Le franc, J.-F. abbé]*. Conjuraton... P. 65.

¹⁷ Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie. P. 550.

Но хотя Лефранку и удалось во втором сочинении конкретизировать и расширить свою аргументацию, ее все же явно не хватало, чтобы доказать существование "заговора". Тем не менее надо отдать должное этому автору за то, что именно он первым поставил вопрос о роли "вольных каменщиков" во Французской революции, обратив внимание на принадлежность к Ордену ряда видных ее деятелей и на сходство некоторых принципов и организационных процедур масонства с теми, что нашли применение в революционной практике. Возможно, продолжая изыскания, аббат Лефранк сумел бы сделать свою версию более правдоподобной и добиться для нее более широкого признания, но 2 сентября 1792 г. он погиб во время массовой резни заключенных в парижских тюрьмах¹⁸. Ныне его имя известно лишь узкому кругу специалистов-историков. Всемирная же слава "разоблачителя" масонского "заговора" досталась другому французскому аббату — Огюстену Баррюэлю.

Бывший иезуит, аббат Баррюэль еще при Старом порядке был известен как один из наиболее активных критиков философии Просвещения. После начала Революции он эмигрировал в Англию, где в 1797 — 1798 гг. опубликовал четыре тома "Мемуаров по истории якобинизма", доказывая, что причиной Французской революции стал "тройной заговор", имевший целью уничтожение алтаря, трона и, в конце концов, всего гражданского общества¹⁹. К первой из трех групп "заговорщиков" автор относил противников христианской религии, каковыми считал всех философов-просветителей, ко второй — масонов. Третьей же, по его мнению, стали "софисты анархии" — баварские иллюминаты. Незадолго до начала Французской революции власти Баварии раскрыли и разгромили это тайное сообщество, замышлявшее насильственно ниспровергнуть существующий строй. Иллюминатов Баррюэль признавал наиболее опасной из трех "сект", утверждая, что они оказали решающее влияние на французских масонов, подтолкнув тех к революции.

Структура книги полностью соответствовала этой концептуальной схеме: первый том был посвящен общественно-литературной деятельности философов-просветителей на протяжении всего XVIII в., второй — масонству, третий — иллюминатам, четвертый — событиям Французской революции, в которой, по словам автора книги, все три группы "заговорщиков" выступили под именем "якобинцев". В подтверждение тезиса о "заговоре" Баррюэль использовал обе системы аргументации, предложенные ранее Лефранком²⁰. Прежде всего, он обратил внимание на сходство идей просветите-

¹⁸ Ibid. P. 1010, n 6.

¹⁹ Barruel A. Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme: In 4 vols. Londres, 1797 — 1798. T. 1. P. XV.

²⁰ О других источниках концепции Баррюэля см.: Чудинов А.В. Размышления англичан о Французской революции: Э. Бёрк, Дж. Макинтош, У. Годвин. М., 1996. С. 101 — 107.

лей, масонов и иллюминатов с принципами революционного законодательства. Вот как он оценивал, например, Декларацию прав человека и гражданина 1789 г.: "Согласно первому закону, принятому этими законодателями, провозглашалось, что все люди равны и свободны; что всей полнотой суверенитета обладает нация; что закон есть не что иное как выражение общей воли. Еще за полвека до них то же самое заявляли в своих учениях Монтескье, д'Аржансон, Жан-Жак (Руссо. — А.Ч.) и Вольтер. Точно так же все софисты в своих лицеях, все адепты франкмасонства в своих ложах, все иллюминаты в своих притонах сделали подобные принципы гордыни и мятежа основой своих тайных замыслов. Таким образом, все эти разрушительные идеи лишь перекочевали из их школ и обществ, открытых и тайных, на первую страницу революционного свода законов"²¹. Кроме того, Баррюэль, ссылаясь на различные источники, называл имена многих видных деятелей Революции, имевших масонское прошлое. И то, и другое, по мнению автора "Мемуаров", служило бесспорным доказательством существования "заговора".

Свою концепцию Баррюэль построил на широком круге источников, благодаря чему она, по крайней мере в первом приближении, выглядела достаточно убедительной. "Мемуары" вызвали большой международный резонанс, были переведены практически на все европейские языки и некоторое время даже оказывали решающее влияние на восприятие Французской революции общественным мнением других стран²². В дальнейшем изложенная Баррюэлем теория масонского "заговора" была принята на вооружение консервативной общественной мыслью Франции и, как отмечает современный историк, "на протяжении всего XIX и даже еще в XX в. продолжала вдохновлять ведущих идеологов контрреволюции от Бональда и Вейо до Шарля Морраса"²³.

Однако если с определением места работы Баррюэля в истории французского консерватизма трудностей не возникает, то с оценкой ее научной ценности дело обстоит гораздо сложнее. В "классической" историографии Французской революции давно уже стало неписанным правилом отзывать об этом сочинении самым уничижительным образом. Например, А. Ладре, автор монографии о масонах Лиона, пишет: "Аббат Баррюэль вопил о заговоре, но серьезный читатель, не дойдя и до пятидесятой страницы, с грустью закроет его книгу"²⁴. По определению же американской

²¹ *Barruel A. Op. cit. T. 4. P. 553.*

²² См.: *Deane S. The French Revolution and Enlightenment in England, 1789—1832. L., 1988. P. 21—27, 31—34; Baldensperger F. Le mouvement des idées dans l'émigration française (1789—1815). P., 1924. T. 2. P. 19—20, 24.*

²³ *Riquet M. Augustin de Barruel. Un jésuite face aux Jacobins francsnaçons. 1741—1820. P., 1989. P. 85.*

²⁴ *Ladret A. Les Franc-Maçons sur l'échafaud. 1793: Lyon contre Convention. Lyon, 1987. P. 58.*

исследовательницы М. Джейкоб, Баррюэль — "самый знаменитый и самый параноидальный историк масонства XVIII в."²⁵ Перечень подобных оценок можно продолжать до бесконечности, но необходимо подчеркнуть, что все они носят чисто эмоциональный характер и не опираются на подробный анализ текста "Мемуаров". Контрреволюционная направленность этого сочинения и последующая его популярность среди правых идеологов сами по себе настолько сильный "аллерген" для левых историков, что те априори готовы отказать работе Баррюэля в каком бы то ни было научном значении.

Однако исследователи, действительно занимавшиеся проверкой приведенных им фактов и использованных источников, далеко не столь категоричны в своих заключениях. Не разделяя его категоричного вывода о существовании масонско-философско-иллюминатского "заговора", они видят несомненную заслугу Баррюэля в постановке ряда реальных научных проблем и в привлечении большого объема вполне добротного документального материала. Еще в 1914 г. Р. Ле Форрестье, чья монография о немецких масонах и иллюминатах до сих пор считается лучшей из написанных на данную тему, отмечал, что Баррюэль достаточно точно описал некоторые малоизвестные стороны жизни "республики философов" века Просвещения²⁶. Особенно же высоко Ле Форрестье отзывался о третьем томе "Мемуаров", посвященном баварским иллюминатам: «Эта наиболее обширная часть всего труда является также, несмотря на пристрастность автора, наиболее солидной и добросовестно обоснованной. Списки степеней иллюминатов, показавших бывших членов организации, апологетические сочинения Книппе и Вейсгаунта, "Подлинные писания", обвинительные речи Зофмана, Циммермана и основных противников иллюминизма — все это было прочтено Баррюэлем. Перевод многочисленных цитат, хотя и сделан им в несколько вольной манере, но в целом верен. Его план изложения точен и хорошо продуман; изучение собранной им огромной массы документов и скрупулезный анализ "Подлинных писаний" позволили ему воссоздать полную и типичную тенденциозную картину устройства Ордена или того, что называют Кодексом иллюминатов, а также их историю до момента их разгрома в Баварии»²⁷.

Наметившееся в последние два десятилетия постепенное ослабление идеологического противостояния в историографии Французской революции способствовало появлению целого ряда работ, авторы которых попытались более или менее объективно

²⁵ Jacob M.C. *Living the Enlightenment: Freemasonry and Politics in Eighteenth-Century Europe*. New York; Oxford, 1991. P. 10.

²⁶ Le Forestier R. *Les Illuminés de Bavière et la Franc-Maçonnerie allemande*. Genève, 1974 (repr. de l'édition de Paris. 1914). P. 683, n 2.

²⁷ Ibid. P. 687.

разобраться в творчестве аббата Баррюэля²⁸. «Несмотря на допущенные им ошибки и нелепости, обусловленные обстоятельствами времени и вполне соответствовавшие полемическому жанру, — утверждает известная исследовательница литературы XVIII в. С. Альбертан-Коппола, — было бы неправильно целиком, не исследуя и не вникая в нюансы, отвергать обвинения Баррюэля против философов Просвещения. И хотя его тезис о заговоре, предполагающий наличие в философском лагере такого единства, которого там не было, едва ли может быть поддержан, нельзя отрицать, что "Мемуары по истории якобинизма", благодаря содержащемуся в них анализу и сопоставлению оригинальных текстов, проливают свет на весьма любопытный аспект литературы Просвещения, ставший источником революционных принципов. В данном отношении книга содержит сведения (тем более ценные, что исходят от современника), которые могут оказаться отнюдь не лишними для исследователя интеллектуальных истоков Революции, — ими надо пользоваться весьма осторожно, но было бы очень жаль огульно их отвергнуть»²⁹.

М. Рике, автор новейшей биографии Баррюэля, подробно рассмотрел приведенные в "Мемуарах" сведения о роли масонов во Французской революции. Признавая, что концепция масонского "заговора" так и не нашла сколько-нибудь убедительного подтверждения и что нет никаких оснований говорить о целенаправленной организационной работе "вольных каменщиков" по подрыву Старого порядка, историк, однако, подчеркивает, что поднятый Баррюэлем вопрос об активной роли членов лож в революционных событиях действительно заслуживает пристального внимания исследователей. Достигнутые на сегодняшний день результаты научных изысканий, считает Рике, позволяют констатировать: "Если не все масоны стали якобинцами, то большинство якобинцев все же были масонами", что, собственно, утверждал и Баррюэль³⁰.

Нельзя также отрицать, полагает Рике, и подмеченную Баррюэлем связь между отдельными ложами и политическими клубами, распространившимися по Франции с началом Революции. Под сенью этих лож будущие активисты клубов обсуждали принципы, которые в дальнейшем попытались осуществить на практике. Правда, необходимо подчеркнуть, что местом подобных дискус-

²⁸ Carrino A. La Rivoluzione francese secondo Barruel Alle origini della storiografia reazionaria. Napoli, 1989; Everdell W.R. Complots, coteries, conspirations: l'origines de la "thèse Barruel" dans le roman apologetique // L'image de la Révolution française. P., 1989. Vol. 3; Riquet M. Op. cit.: Albertan-Coppola S. Les philosophes des Lumières au tribunal de l'abbé Barruel // Transactions of the Eight International Congress on the Enlightenment. Oxford, 1992. Vol. 1.

²⁹ Albertan-Coppola S. Op. cit. P. 225.

³⁰ Riquet M. Op. cit. P. 90.

сий были далеко не одни лишь масонские собрания, но и другие добровольные общественные объединения: академии, литературные кружки и прочие "общества мысли", в изобилии существовавшие на исходе Старого порядка. Иначе говоря, если ложи и играли заметную роль в становлении новых форм общения, то отнюдь не в силу какой-либо особой специфики масонской организации³¹.

Достаточно точными, отмечает Рике, оказались и приведенные Баррюэлем сведения относительно связей между баварскими иллюминатами и теми французскими масонами, кто сыграл позднее заметную роль в Революции. Так, список французских единомышленников Вейсгаупта, попавший в руки правительства Баварии после разгрома иллюминатов, включал в себя имена герцога Орлеанского, Неккера, Лафайета, Барнава, Бриссо, Мирабо, Фоше, а также некоторых других в будущем видных деятелей Революции. И хотя нет никаких оснований утверждать, что именно иллюминаты, как полагал Баррюэль, разработали "план" ниспровержения во Франции Старого порядка, тем не менее проблема их идейного влияния на определенную часть французских революционеров реально существует³².

Таким образом, аббат Баррюэль, несмотря на весь его полемический запал и, мягко говоря, не достаточно обоснованные конечные выводы, действительно поднял ряд важных для понимания истоков Французской революции вопросов, поиск ответов на которые требовал серьезных научных исследований.

Однако историки "классического" направления, полностью отвергая по идеологическим мотивам работу Баррюэля, отрицают и сколько-нибудь существенную роль масонства во Французской революции. Любопытно, что приводимая в подтверждение этого система аргументов в основных чертах была сформулирована еще современниками Баррюэля. В 1801 г. с критикой его труда выступил бывший член Учредительного собрания, известный политический деятель первого периода Революции Ф.-Ф. Мунье, опубликовавший в Германии соответствующее сочинение³³. Любопытно, что Мунье не стал открыто оспаривать ключевые доводы своего оппонента. Он фактически ушел от обсуждения тезиса о сходстве масонских идей с революционными принципами и вовсе не отрицал того, что многие лидеры Революции состояли ранее в тайных обществах.

Нам остается только гадать, почему Мунье уклонился от дискуссии на "территории" оппонента. Возможно, не будучи сам членом Ордена, он не считал себя достаточно компетентным в масонской философии. А может, находясь в эмиграции, он просто не об-

³¹ Ibid. P. 107.

³² Ibid. P. 110 — 111, 146.

³³ Mounier J.-J. De l'influence attribuée aux philosophes, aux Francs-Maçons et aux illuminés sous la révolution en France. Tübingen, 1801. P. 172 — 173, 176.

ладал необходимыми источниками, чтобы проверить достоверность того огромного объема информации, который содержался в сочинении Баррюэля. Как бы то ни было, Мунье, не ввязываясь в спор об идеологии и персоналиях, перенес дискуссию в принципиально иную сферу, обратившись к рассмотрению реального содержания масонской деятельности при Старом порядке. "По мере роста числа лож, — утверждал он, — цель самой организации была забыта. Тайну составляли одни лишь слова, знаки и церемонии, которые заставляли думать, что есть и другая тайна, гораздо более важная; ее искали, переходя из степени в степень, но не находили ничего, кроме новых слов и знаков. В конце концов, эти сообщества превратились в обычные дружеские союзы людей, поддерживающих друг друга в случае нужды, помогающих бедным и устраивающих символические церемонии, мистический смысл которых никому более не известен и которые каждый может трактовать по своему усмотрению"³⁴.

Масонство во Франции, отмечал автор книги, никогда не представляло собой чего-то единого: оно включало в себя разные системы, не имевшие между собой ничего общего, кроме трех первых степеней и соответствующей им символики. Многообразие обрядов дополнялось пестротой состава Ордена, куда входили люди с разными взглядами и характерами. Некоторые ложи действительно способствовали развитию наук и искусств и находились под влиянием просветительской философии, однако они были крайне малочисленны по сравнению с теми, где преобладало увлечение мистикой, не говоря уже о тех, что собирались исключительно ради приятного времяпровождения и где главной церемонией было пить три раза по три³⁵. Если даже "вольные каменщики" и проповедовали равенство и свободу, то уж во всяком случае не переносили эти принципы на политическую и социальную сферы, подчеркивал Мунье. Быстрое распространение масонских лож во Франции XVIII в. он связывал именно с их политически безобидным характером. Впрочем, по мнению Мунье, трудно представить себе, что последний мог быть бы другим при том социальном составе лож, который сложился накануне Революции: "Если бы этот писатель [Баррюэль] и другие обвинители франкмасонов имели более точные сведения об их положении во Франции, они бы увидели, что большинство лож включали в себя магистратов, офицеров армии, других лиц, обладавших определенным достатком, и что теперь среди эмигрантов масонов гораздо больше, нежели среди сторонников революции"³⁶.

Соглашаясь с тем, что в рядах революционеров действительно находилось немало членов тайных сообществ, Мунье подчеркни-

³⁴ Ibid. P. 144.

³⁵ Ibid. P. 155 — 156.

³⁶ Ibid. P. 177.

вал, что и с противоположной стороны таковые были представлены не менее широко. Так, упомянутый Баррюзлем лионский мартинист, член Учредительного собрания Мелане, в начале Революции действительно выступал с левых позиций, но в 1793 г. он же принял смерть как участник восстания в Лионе против Конвента. И если другой названный Баррюзлем мартинист Прионель де Льер, член ложи в Дофине, стал в Конвенте "цареубийцей", то председатель той же самой ложи руководил в 1789 г. подавлением крестьянских волнений³⁷.

Мунье не только отрицал существование масонского "заговора", но и отвергал вообще какую бы то ни было связь между политической деятельностью революционеров и их масонским прошлым: "Нет ничего более абсурдного, чем приписывать эксцессы революции франкмасонству. В этой кровавой трагедии на сцене находились люди всех состояний. Речь идет не о том, есть ли среди франкмасонов безрассудные и преступные личности, а о том, не ведет ли их к заблуждениям и не развращает ли их доктрина, изучаемая в ложах, если те действительно — союзы заговорщиков. Как можно предполагать, что масоны исповедуют принципы анархии, ежели среди них есть даже короли, принцы, священники, магистраты, люди набожные и преданные правительствам своих стран. Масонские общества и сочинения философов были распространены по всей Европе, однако политические перемены не произошли нигде, кроме Франции и тех стран, куда вторглись ее солдаты"³⁸.

Сочинение Мунье в дальнейшем было высоко оценено представителями "классической" историографии Французской революции³⁹, а его аргументация против теории "заговора" доньше используется в их трудах. Например, видный специалист по истории масонства Д. Лигу в вышедшей относительно недавно монографии "Масоны и Французская революция" вместо заключения просто привел последнюю фразу из книги Мунье: "Даже если в мире не останется больше ни одного масона, но власть имущие станут разрушать государственные финансы, раздражать собственную армию, допускать беспорядок во всех сферах управления, а затем собирать в одном месте множество представителей народа, чтобы просить у них помощи, революции будут неизбежны"⁴⁰.

Негативное отношение к работе Баррюзля историков либерального и социалистического направлений стало одной из основ-

³⁷ Ibid. P. 170 — 171.

³⁸ Ibid. P. 180 — 181.

³⁹ Например, по мнению известного французского историка-марксиста А. Собуля, Мунье "своей сильной работой" полностью опроверг Баррюзля. — См.: Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie. P. 1011.

⁴⁰ Mounier J.-J. Op. cit. P. 181; Ligou D. Franc-Maçonnerie et Révolution française. P., 1989.

ных причин того, что проблема масонства практически полностью выпала из поля зрения большинства авторов классических историй Французской революции, увидевших свет в XIX в. Подводя итог изучению Революции за сто с лишним лет, Н.И. Кареев в 1924 г. писал: "Связь революции с масонством выдумана иезуитами (дает ссылку на Баррюэля. — А.Ч.) и редко кем поддерживается, но большинство историков связь эту не признает"⁴¹.

Однако и в XIX в. указанный сюжет все же время от времени появлялся на страницах исторических трудов. Обращались к нему в основном авторы, непосредственно связанные с масонством. Известный социалист и историк Луи Блан, сам принадлежавший к Ордену⁴², посвятил этой теме главу "Революционеры-мистики" во втором томе своей "Истории Французской революции". По его мнению, охватившее Францию примерно с середины XVIII в. увлечение мистикой и оккультизмом, выразившееся, в частности, в широчайшем распространении эзотерических сообществ, стало важным компонентом идейной подготовки грядущего социального переворота. Особую роль в этом движении Блан отводил масонам. Он, впрочем, не разделял концепцию "заговора", хотя и пользовался богатым фактическим материалом, собранным в книге Баррюэля. По мнению Блана, масонство, субъективно не имея намерений ниспровергнуть Старый порядок, объективно было ему глубоко враждебно, "повсюду являя собою образец общества, основанного на принципах, прогивоположных тем, на которых покоился государственный строй"⁴³. Проповедуя внутри своих лож равенство людей, независимо от их расы, общественного положения и вероисповедания, осуждая фанатизм в религии и почитая единственной религиозной обязанностью веру в Бога, масонство уже одним только этим сеяло недоверие к существующим институтам государства и церкви. Подтверждение подобного его воздействия на умы Блан видел в том, что многие видные революционеры (тут он ссылается на данные Баррюэля) ранее посещали ложи "вольных каменщиков"⁴⁴.

И хотя, как отмечает Кареев, "никто из серьезных историков не поддержал впоследствии Луи Блана в разработке этой темы"⁴⁵, его мысль об особых заслугах Ордена в подготовке Французской революции нашла отклик в масонской идеологической традиции. В годы же Третьей республики, когда принципы 1789 г. стали не-

⁴¹ Кареев Н.И. Историки французской революции. Т. 1. Французские историки первой половины XIX в. Л., 1924. С. 242, примеч. 1.

⁴² См.: Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie. P. 143.

⁴³ Blanc L. Histoire de la Révolution française. P., 1847. Т. 2. P. 76. См. также: Блан Л. История Французской революции. СПб., 1907. Т. 2. С. 60 (далее ссылки на русский перевод даются в скобках).

⁴⁴ Ibid. P. 84 (С. 67).

⁴⁵ Кареев Н.И. Указ. соч. С. 242.

отъемлемой частью государственной идеологии, французское масонство официально объявило себя инициатором, духовным вдохновителем и руководителем Революции XVIII в. Так, 23 апреля 1883 г. проходивший в Нанте съезд представителей лож Западной Франции провозгласил: "С 1772 по 1789 г. масонство готовило Великую революцию, которой предстояло изменить облик мира. Тем самым франкмасоны воплотили в жизнь идеи, воспринятые ими в ложах". Накануне празднования столетия Революции Большой совет Великого Востока Франции направил всем связанным с ним ложам циркуляр, где, в частности, говорилось: "Масонство, подготовившее Революцию 1789 г., должно продолжать свою работу"⁴⁶. В дни юбилейных торжеств 1889 г. в Париже состоялся Всемирный масонский конгресс, где с большим докладом по истории французского масонства XVIII в. выступил известный историк-масон Л. Амьёбль⁴⁷. Он, в частности, заявил: "Французские франкмасоны XVIII века совершили Революцию: их влияние определило ее гуманистический характер. Они заранее разработали ее доктрины, отнюдь не являвшиеся импровизацией. И, когда нация в свою очередь поконила с единоличной властью, она позаимствовала у них три понятия, которые сделала девизом Республики и которыми, братья мои, я приветствую вас как масон и гражданин: Свобода, Равенство, Братство"⁴⁸. Выступление Амьёбля, так же, как и посвященный масонству XIX в. доклад "брата" Ф.К. Колфаврю, фактически стало изложением официальной исторической доктрины Великого Востока. Только за время работы Конгресса эти документы были опубликованы дважды, потом еще раз — в конце того же года и еще раз — в 1926 г.⁴⁹

По сути, данная трактовка Французской революции мало чем отличалась от концепции Баррюэля, которую на протяжении всего XIX в. активно эксплуатировала ультраправая публицистика. Разница была лишь в оценках: масоны ставили себе в заслугу то, за что клерикалы и легитимисты их осуждали. Любопытно, что, заявляя о решающей роли Ордена в подготовке Революции, масонские идеологи опирались в основном на данные, приведенные Баррюэлем. Со своей стороны, официальное принятие "вольными камен-

⁴⁶ Цит. по: Patrick R. Préface et introduction // Hutin S. La Franc-Maçonnerie et la Révolution française. P., 1989. S. p.

⁴⁷ Наибольшую известность этому историку принесло обширное исследование по истории одной из наиболее знаменитых лож века Просвещения — ложи "Девяти сестер". Опубликованная в 1897 г., эта работа до сих пор сохраняет научную ценность, однако к теме "Масонство и революция" прямого отношения не имеет. См.: *Amiable L. Une Loge Maçonnique avant 1789, la R. L. des Neuf-Soeurs. Augmenté d'un commentaire et de notes critiques de Ch. Porset.* P., 1989.

⁴⁸ Congrès Maç., International du Centenaire 1789—1889. Compte rendu des séances du Congrès et Discours / Préface D. Ligou. P.; Genève, 1989. P. 71.

⁴⁹ См.: *Ligou D. Préface // Ibid.* P. XVIII.

щиками" подобной интерпретации революционных событий вдохнуло новую жизнь в теорию "заговора", поскольку было воспринято приверженцами последней как своего рода "чистосердечное признание" масонов в содеянном⁵⁰. При явном невнимании "большой" историографии к данному предмету, тезис о решающей роли масонства в подготовке и осуществлении Французской революции вновь и вновь аксиоматически воспроизводился в публицистике усилиями как самих масонов, так и их идейных противников, причем аргументацию в его пользу обе стороны заимствовали друг у друга. "Чем больше об этом сюжете писали, тем более темным он казался", — так определил положение, сложившееся в историографии темы к началу XX в., Г. Бор, автор первого фундаментального исследования о французском масонстве XVIII в.⁵¹

Будучи сам человеком правых взглядов, видевшим для Франции идеал в возвращении к ценностям католической религии и традиционной монархии, и открыто признаваясь в неприятии масонской философии, Бор, однако, отвергал предшествующую антимасонскую интерпретацию темы. Если работы историков-масонов, считал он, нередко содержат ценные сведения о конкретных фактах из жизни Ордена в век Просвещения, то утверждения их оппонентов никогда не опираются на бесспорные доказательства⁵². Свои же выводы Бор построил на широчайшем круге источников, большинство из которых было впервые вовлечено в научный оборот. В его распоряжении оказался огромный массив масонских документов XVIII в., в том числе списки членов парижских и провинциальных лож. Судя по характеру использованных материалов, Бор имел возможность работать в архиве Великого Востока. Можно только удивляться, как ему это удалось, поскольку в то время масоны крайне неохотно допускали в свои архивы исследователей, тем более не состоявших в Ордене. Как бы то ни было, результатом усилий этого историка стал научный труд, до сих пор представляющий немалую ценность, особенно если учесть, что значительная часть материалов, исследованных Бором, в годы Второй мировой войны была безвозвратно утрачена.

Однако для изучения темы "Масоны и Французская революция" его работа, к сожалению, дает сравнительно немного. Бор предполагал рассмотреть данный сюжет в завершающем, третьем томе монографии. Опубликован же им был только первый том, освещающий историю французского масонства до 1771 г. Нам оста-

⁵⁰ См., например: *Rosen P.* L'ennemie sociale. Histoire documentée des faits et gestes de la Franc-maçonnerie de 1717 à 1890 en France, en Belgique et en Italie. P., 1890; *Talmeyr M.* La franc-maçonnerie et la Révolution française. P., 1904.

⁵¹ *Bord G.* La franc-maçonnerie en France des origines à 1815. P., 1908. Т. 1. P. X.

⁵² *Ibid.* P. X.

ется судить о точке зрения автора на интересующую нас проблему исключительно по предисловию, где он в общих чертах сформулировал концепцию всего труда.

Разделяя преобладавшее в консервативной историографии мнение об отсутствии объективных экономических и социальных причин крушения Старого порядка, Бор предлагал искать истоки Французской революции, прежде всего, в идеологической сфере⁵³. И здесь особую роль он отводил Ордену вольных каменщиков. Впрочем, порвав, как уже отмечалось, с предшествующей антимасонской традицией, он отнюдь не разделял версию о "заговоре". Одной из основных предпосылок Революции Бор считал распространение не столько самих масонских лож, сколько "духа масонства". По мнению историка, масонская идеология, признававшая только Бога-творца (то есть фактически одна из форм деизма), объективно подрывала основы католической религии. Кроме того, ставя себе целью "привести людей к состоянию совершенства путем установления равенства во всех сферах жизни", масонство увлекало людей утопическими, несбыточными надеждами и вызывало разочарование в окружающей действительности. "Франкмасонство не стремилось совершенствовать реально существующие общества с учетом их исторических корней, их особенностей, их ситуации, а призывало к возврату в естественное состояние, к бесформенной массе человеческих индивидов, довольных своей растительной жизнью, которую им обеспечило бы равное распределение материальных благ между всеми гражданами"⁵⁴.

Эгалитарные идеи масонства, отмечал Бор, внешне несколько не противоречили христианским ценностям, однако по сути своей предполагали подмену "равенства смирения" (не заноситься перед нижестоящими) "равенством гордыни", при котором самые последние подонки общества начинают считать себя ровней лучшим умам человечества. "Доктрина равенства, — писал историк, — меня возмущает, потому что в конечном счете предполагает отрицание любой необходимой иерархии и неизбежно возвращает нас к социализму, который является первой формой общества, выходящего из состояния варварства, и последней судорогой общества умирающего"⁵⁵.

Внешняя привлекательность учения "вольных каменщиков" обеспечила ему благосклонный прием в разных слоях французского общества, и даже Версаль превратился как бы в большую ложу, ибо в Орден вступили даже король Людовик XVI с братьями (будущими Людовиком XVIII и Карлом X). Хотя масонство в целом не стремилось к революции, пропагандируемая им доктрина эгалитаризма подготовила общественное сознание к социальному пе-

⁵³ См.: Ibid. P. VII—IX.

⁵⁴ Ibid. P. XII.

⁵⁵ Ibid. P. XXII.

ревороту⁵⁶. Если бы только большинство "вольных каменщиков" XVIII в. предвидело печальные последствия распространения деизма и эгалитаризма, они бы, считал Бор, с ужасом отвергли бы вполне безобидное, как им казалось, увлечение масонскими идеалами. Когда же произошла Революция, было уже поздно. "Едва только стало понятно, каким будет результат борьбы, большая часть тех, кто ее начинал, пошли на попятную и пожалели о содеянном. Истина и справедливость требуют отметить, что среди масонов жертв было больше, чем палачей. Если в 1789 г. мы видим масонов в избирательных собраниях, 14 июля — у стен Бастилии. 5 и 6 октября — в Версале, то 10 августа [1792 г.] мы найдем их в Тюльери; в сентябре толпа убивала их в тюрьмах; а в Кобленце, Брюсселе и Лондоне их оказалось ничуть не меньше, чем в [тюрьмах] Консьержери и Ла Форс"⁵⁷.

Бор признавал, что в XVIII в. далеко не одни лишь масоны исповедовали принципы деизма и эгалитаризма. В различных вариациях аналогичные идеи разрабатывались в трудах многих философов Просвещения, отнюдь не все из которых принадлежали к "вольным каменщикам". Например, много сделавшие для пропаганды равенства Дидро, д'Аламбер, Руссо, Лабомель и Мопертюи не входили в масонский Орден, а Вольтер вступил в него лишь за несколько месяцев до смерти, тогда как разрушительную по отношению к Старому порядку работу вел на протяжении всей своей жизни⁵⁸. Таким образом, хотя Бор и отводил масонству одну из ведущих ролей в идеологической подготовке Революции, все же, согласно его интерпретации, оно было лишь одной из составляющих широкого идейного движения века Просвещения, которое, в конечном счете, привело к крушению Старого порядка.

Переломным моментом в развитии "масоноведения" стала предпринятая несколькими годами спустя попытка другого консервативного историка — Огюстена Кошена — предложить принципиально новый подход к исследованию данной темы. Впрочем, строго говоря, Кошен начал свои исследования еще до публикации труда Бора, но большая их часть вышла в свет лишь в 20-е годы. Это произошло уже после смерти автора, погибшего на фронте в 1916 г.⁵⁹

С Бором Кошена сближало то, что оба они отводили масонству одну из ведущих ролей в подготовке Французской революции, решительно отвергая при этом баррюэлевскую теорию "заговора"⁶⁰.

⁵⁶ Ibid. P. XXIII—XXIV.

⁵⁷ Ibid. P. XVI.

⁵⁸ Ibid. P. XVII.

⁵⁹ Подробнее о нем см.: Чузинов А.В. Огюстен Кошен и его вклад в историографию Великой французской революции // ФЕ. 1987. М., 1989; Он же. Размышления англичан о Французской революции. С. 121—129.

⁶⁰ См.: Cochin A. Les sociétés de pensée et la démocratie. Etude d'histoire révolutionnaire. P., 1921. P. 92.

Однако Кошен, в отличие от Бора, видел предпосылки гибели Старого порядка не столько в распространении принципов масонской иаи, если брать шире, просветительской идеологии, сколько в возникновении нового типа коллективного сознания, порожденного новыми, демократическими формами общности. По мнению Кошена, именно такой тип сознания в течение тридцати с лишним лет, предшествовавших Революции, формировался в "обществах мысли", к которым историк относил не только масонские ложи, но и академии, литературные, философские и агрономические кружки, музеи, лицеи и другие общественные объединения, весьма многочисленные во Франции XVIII в. Все они, отмечал он, представляли собой добровольные ассоциации, "созданные ради одной-единственной цели — объединить свои познания, мыслить сообща, только из любви к сему искусству и безо всяких практических намерений, совместно искать умозрительную истину из любви к ней"⁶¹. Всем им была присуща демократическая структура и стремление содействовать развитию рационалистической философии.

Первые "общества мысли", считал Кошен, возникли примерно в 50-е годы XVIII в., но уже очень скоро они густой сетью покрыли всю Францию. Развитие их подчинялось объективным социологическим законам, действующим в ассоциациях подобного рода. В реальной жизни, утверждал исследователь, людей объединяет то, что в результате повседневной деятельности, в том числе трудовой, они вырабатывают определенную систему убеждений, которые становятся основой социального согласия, чему пример — христианская религия. "Общества" же, напротив, возникли в целях нахождения истины и создания общей идеологии, то есть формальное объединение лиц тут появилось раньше, чем сложилась их идейная близость. Этим, по мнению Кошена, и были обусловлены глубокие различия в ценностях "социального мировоззрения" (то есть мировоззрения членов "обществ") и "мировоззрения реального"⁶².

Характерной чертой "обществ мысли" Кошен считал полный отказ от "реальной деятельности". Средством поиска истины для их членов была устная дискуссия, переписка и голосование. Истинным оказывалось то, что большинство членов "общества" таковым признавало. Главным достоинством любой идеи соответственно становилась ее очевидность, доступность для восприятия всеми членами ассоциации. Единственным методом познания было абстрактное, "чистое мышление". И если в "реальном мире" мысль, по убеждению Кошена, не должна отрываться от таких основополагающих ценностей, как вера, традиция и опыт, то для "чистого мышления" все это не имело никакого значения: «Не было больше необходимости ни в Боге, ни в короле, ни в заботе о своих

⁶¹ Cochin A. La Révolution et la libre-pensée. P., 1924. P. XXXI.

⁶² Ibid. P. 8 — 10.

делах, потому что можно было развлекаться, предаваясь каждый вечер "философской" беседе, потому что, снимая шляпу при входе в ложу, каждый оставлял свои заботы за дверью, дабы, выходя, вернуться к ним»⁶³. Более того, поскольку всякая связь с реальностью только мешала "чистому мышлению", все "позитивные понятия" — вера, авторитет, традиция, уважение к власти и т.д. — были объявлены в "обществах" предрассудками⁶⁴.

Именно распространение "социального мышления" и представляло собой, по словам Кошена, то, что обычно называют "прогрессом Просвещения". Этот процесс вызвал глубокие сдвиги в общественном сознании: "Благодаря ему привилегированные забыли о своих привилегиях; мы могли бы также привести пример ученого, забывшего об опыте, верующего, забывшего о вере"⁶⁵. "Философия", ставя под сомнение разумность прежних моральных ценностей, подрывала реально существовавшие социальные связи, что Кошен определял как "индивидуалистический бунт против всех моральных устоев"⁶⁶.

По утверждению историка, члены "обществ" образовали во Франции конца Старого порядка своего рода государство в государстве. Эта "литературная республика", порожденная "социальным мышлением" и никак не связанная с реальной жизнью, представляла собой некий "мир в облаках", куда был открыт доступ лишь посвященным в тайны философии. Она "имеет свою конституцию, своих магистратов, свой народ, свои почести и свои усобицы. Там тоже (как и в реальном мире. — А.Ч.) изучают проблемы политики, экономики и т.д., там рассуждают об агрономии, искусстве, морали, праве. Там дебатировались текущие вопросы, там судят должностных лиц. Одним словом, это маленькое государство — образ большого с одним лишь отличием: оно не является большим и не является реальным"⁶⁷. Столицей "мира в облаках" стал Великий Восток, законодателями — энциклопедисты, парламентами — светские салоны; в каждом городе литературные общества и академии представляли собой "гарнизоны мыслителей", готовые по приказу из центра выступить против духовенства, двора или литературных оппонентов⁶⁸.

Жизнь "литературной республики", считал Кошен, развивалась в соответствии с объективными социологическими законами и, прежде всего, по "закону отбора и вовлечения", согласно которому углубление в область философских абстракций имело следствием постепенный отсев тех, кто не мог полностью порвать связь с

⁶³ Ibid. P. 22.

⁶⁴ Ibid. P. 57 — 61.

⁶⁵ Ibid. P. XXXIII.

⁶⁶ Ibid. P. 60.

⁶⁷ Ibid. P. XXX.

⁶⁸ Ibid. P. 25; *Cochin A. Les sociétés de pensée et la démocratie. P. 23 — 24.*

реальной жизнью. Оставались наиболее способные к существованию в идеальном мире, созданном "чистой мыслью". Они спланировали все теснее и продолжали свое движение в "мире облаков"⁶⁹. Непосредственным результатом действия этого закона были постоянные "чистки" в "обществах" и "бескровный террор" против инакомыслящих, подвергавшихся травле в литературных кружках⁷⁰.

Квинтэссенцией "социального мышления" Кошен считал теорию "общественного договора" Руссо, поскольку видел в ней точную модель "литературной республики". Абсолютная свобода мнений, равенство всех граждан, принятие решений путем голосования — все эти главные черты политического идеала Руссо уже были реализованы в повседневной практике "философских обществ": "Граждане Жан-Жака — это не новые люди без предрассудков и традиций, это обычные, потрепанные жизнью люди, утратившие в искусственном мире обществ и предрассудки, и традиции"⁷¹. Ключевые же принципы доктрины Руссо — свобода и равенство — представляли собой, по мнению Кошена, всего лишь умозрительный идеал, абстракцию, приемлемую только для выдуманного "мира в облаках", но не для реальной жизни: столкновение с реальностью неминуемо должно было повлечь за собой крах подобной системы⁷².

Французская революция, согласно Кошену, оказалась именно таким столкновением, попыткой воплотить абстракцию в жизнь, попыткой "мира в облаках" завоевать "реальный мир". В народных и патриотических обществах революционного периода историк видел прямых наследников "обществ мысли", действовавших по тем же объективным законам. Так, "законом отбора и вовлечения" он объяснял следовавшие одна за другой "чистки" Якобинского клуба, в результате которых происходил автоматический отбор индивидов, наиболее приспособленных для жизни "обществ" — людей без собственного мнения и личных привязанностей⁷³. В результате сложился крут людей, подчинивших себе всю жизнь "обществ". "Таким образом, — писал Кошен, — любое эгалитарное сообщество через некоторое время неизбежно оказывается в руках нескольких людей — это действие силы вещей, это не заговор, а закон, который можно назвать законом автоматического отбора"⁷⁴.

Хотя Революция и не была "заговором", не была она и делом всей нации, считал Кошен. "Ядро мятежа" составляли члены "обществ", собственно же народ выступал в качестве их слепого и послушного орудия⁷⁵. Революционное меньшинство манипулирова-

⁶⁹ Cochin A. La Révolution et la libre-pensée. P. 23 — 24.

⁷⁰ Ibid. P. XXIX, 71, 172 — 173.

⁷¹ Ibid. P. 76 — 77.

⁷² Ibid. P. 118.

⁷³ Ibid. P. 190.

⁷⁴ Ibid. P. 137.

⁷⁵ Ibid. P. 189.

ло основной массой населения, используя различные способы психологического давления, осуществляя моральный и физический террор. «Можно сказать, что Террор — нормальное состояние “социальной жизни”, — писал Кошен, — целостность “общества” всегда поддерживается только при помощи взаимной слежки и страха, по крайней мере там, где эта политическая форма применяется в реальном мире, выходя из своей естественной среды — мира мысли»⁷⁶.

Интерпретация Кошеном проблемы “Масоны и Революция” принципиально отличалась, таким образом, от предшествующих трактовок, поскольку историк рассматривал движение “вольных каменщиков” в основном как социологический феномен и фактически абстрагировался от специфических особенностей масонской идеологии. Однако новизна предложенного им подхода не была по достоинству оценена мэтрами “классической” историографии. Правые взгляды Кошена уже сами по себе оказались для них достаточно сильным раздражителем, чтобы обрушиться на его концепцию с резкой критикой, причем не слишком обоснованной. Так, по мнению А. Олара, Кошен “оживил старый тезис аббата Баррюэля, будто Революция вышла из лож. Тот факт, что Людовик XVI и два его брата были франкмасонами, заставляет задуматься, насколько обоснован данный тезис. Но автор рассуждает без учета фактов, не ссылаясь или почти не ссылаясь на них”⁷⁷. Опровергают ли эти аргументы концепцию Кошена? Едва ли. Обвинение его в “баррюэлизме” абсолютно беспочвенно, поскольку он сам отрицал научную ценность теории “заговора”. Ссылка на принадлежность к масонству монарха и его братьев также направлена мимо цели. Этот довод выглядел бы эффектно, если б речь шла именно о “заговоре”: в самом деле, против кого конспирировать масонам, ежели и король в их числе?! Однако для предложенного Кошеном подхода вопрос о личностях не имел сколько-нибудь серьезного значения. Исследователя интересовали, прежде всего, социологические процессы — внутренняя динамика функционирования демократически организованных ассоциаций, на которую не влиял социальный статус их отдельных членов. Гораздо весомее выглядит аргумент о недостаточной фактологической базе концепции Кошена. Его книга “Революция и свободомыслие”, с рецензией на которую и выступил Олар, действительно представляла собой всего лишь теоретическую часть большого исследования, оставшегося незавершенным из-за преждевременной смерти автора, а потому содержала минимальное количество ссылок на конкретные факты.

Данный аспект был подмечен и другим, не менее критично настроенным рецензентом этой книги — признанным лидером соци-

⁷⁶ Ibid. P. 172.

⁷⁷ Aulard A. La Révolution et la libre-pensée / Par M. Augustin Cochin // Revolution française. 1924. T. 77. P. 363—364.

алистической историографии Революции А. Матьезом. По его словам, указанная работа "содействует развитию не истории, а лишь философии и социологии". Подчеркивая далее, что Кошен в подтверждение своего тезиса о ведущей роли "общества мысли" в подготовке Революции почти не привел ни текстов источников, ни фактов, Матьез вкратце изложил свое видение проблемы: «Кошен, видимо, и не догадывался, что ложи до 1789 г. были далеки от того, чтобы стать "обществами мысли", напротив, они являлись обществами пьянства и развлечений. Кроме того, разные ложи придерживались ритуалов или, скажем так, систем прямо противоположных. Они не имели между собой ничего общего, кроме того, что одинаково пополнялись выходцами из богатых классов. Они отправили в эмиграцию наиболее значительную часть своих членов. Их политическая роль была ничтожна»⁷⁸. Как видим, интерпретация Матьезом истории масонства практически полностью повторяла то, что писал на сей счет еще Мунье. Впрочем, пока спор шел на уровне абстрактных формул, подобная трактовка выглядела достаточно убедительной. По крайней мере, по сравнению с теорией "заговора". Что же касается предложенного Кошеном нового подхода, то его правомерность еще требовалось доказать путем конкретных исследований.

Вполне естественно было ожидать, что дискуссия на этом и закончится. Едва ли кто-то мог предположить, что спор будет продолжен тем же составом участников, ведь одного из них уже почти десять лет как не было в живых. Тем не менее всего год спустя впечатляющим ответом оппонентам стала посмертно изданная двухтомная монография Кошена "Общества мысли и революция в Бретани (1788 — 1789)"⁷⁹. Собранный в центральных и местных архивах обширный документальный материал (второй том книги целиком отведен под публикацию статистических данных и наиболее важных источников) позволил автору во всех подробностях проанализировать идейную и организационную эволюцию различного рода просветительских и общественных ассоциаций Бретани — литературных кружков, Сельскохозяйственного и Патриотического обществ, сословных и корпоративных объединений и т.п., наглядно продемонстрировав их роль в качестве организационных центров антиправительственной оппозиции на протяжении последнего предреволюционного года. С наибольшими трудностями историк, по его собственному признанию, столкнулся при изучении деятельности масонских лож, поскольку основная масса их документов была тогда закрыта для исследователей. Ему удалось получить доступ лишь к архивам ложи Совершенного Со-

⁷⁸ Mathiez A. *Augustin Cochin: La Révolution et la libre-pensée* // AHRF. 1925. N 8. P. 179.

⁷⁹ *Cochin A. Les sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne (1788 — 1789)*: In 2 vols. P., 1925.

юза в Ренне. Тем не менее их тщательный анализ, наряду с поиском разрозненных масонских документов в государственных архивах и изучением публикаций самого Ордена, принес хорошие результаты. Кошен установил существование 39 бретонских лож⁸⁰, идентифицировал 850 их членов⁸¹, выявил характер и степень участия последних в политической жизни, а также круг вопросов, обсуждавшихся "вольными каменщиками" на некоторых их собраниях. Все это дало исследователю достаточно веские основания отнести масонские ложи к числу "обществ мысли", ставших, согласно его концепции, колыбелью движения против Старого порядка. Причем он отнюдь не отводил ложам какой-либо исключительной роли в этом процессе, а рассматривал их в одном ряду с другими общественными объединениями. По целому же ряду аспектов вклад других подобных ассоциаций в антиправительственное движение был, по его мнению, даже более весом, нежели вклад Ордена вольных каменщиков. Так, для распространения оппозиционных настроений в среде бретонского дворянства деятельность клуба "Бастион" имела гораздо большее значение, чем "прогресс Просвещения" и усилия франкмасонов⁸².

На сей раз оппоненты Кошена не могли упрекнуть его в пренебрежении источниками и недостаточном внимании к фактам. Напротив, именно "перегруженность" монографии документальным материалом Олар использовал в качестве предлога, чтобы уйти от дискуссии по существу проблемы. Если предыдущую книгу Кошена Олар встретил пространной критической рецензией, то на сей раз он ограничился короткой заметкой в библиографическом разделе своего журнала "Французская революция", где, в частности, писал: "Это — наблюдения эрудита, обширные, хотя и несколько беспорядочные, которые выстроены в своего рода систему... Работа настолько сложна для восприятия, что мне не удалось не только ее осилить, но даже как следует понять замысел автора. Возможно, если бы он был жив, он смог бы ее сократить и сделать более ясной. Нужно терпение, чтобы суметь использовать эти два тома, слишком насыщенные материалом"⁸³.

Матьез же уклоняться от спора не стал, вызов принял и снова выступил с критикой взглядов консервативного историка: "Г-н Кошен хорошо перекопал архивы, проведя исследование во всех, даже самых мельчайших подробностях, но он ничего не нашел в подтверждение своей заранее подготовленной концепции"⁸⁴. По мне-

⁸⁰ См.: *Ibid.* Т. 2. Р. 263 — 264.

⁸¹ См.: *Ibid.* Т. 1. Р. 39.

⁸² *Ibid.* Р. 41.

⁸³ *Aulard A. Les sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne (1788 — 1789)* // Par M. Augustin Cochin // *Révolution française*. Т. 79. 1926. Р. 284.

⁸⁴ *Mathiez A. Augustin Cochin. Les Sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne (1788 — 1789)* // *AHRF*. 1927. N 19. Р. 81.

нию Матъеза, Кошен попытался "омолодить" ту интерпретацию Французской революции, начало которой положил еще Баррюэль. И хотя Матъез не отождествлял в полной мере идеи Кошена с теорией "заговора", высказанные в отзыве критические замечания были гораздо более уместны по отношению именно к ней, нежели к историко-социологической схеме Кошена: "Можно указать, что общества, о которых говорит г-н Кошен, подчеркнуто держались в стороне от политики. Можно также отметить, что нет ни одного документа, который свидетельствовал бы об участии в движении обществ как таковых — что они были весьма различны по своему характеру, что они не имели между собой связи и что их члены приходили в политику разными путями"⁸⁵. Все эти доводы, доказывающие отсутствие заранее подготовленного плана "заговора" и сети конспиративных организаций для его осуществления, никоим образом не затрагивали основной идеи концепции Кошена, что само по себе функционирование общественных ассоциаций, построенных на демократических принципах, объективно способствовало формированию нового типа общественного сознания, несовместимого с фундаментальными идеологическими ценностями Старого порядка.

Другие аргументы Матъеза выглядели еще менее убедительно. Рецензент упрекал Кошена в том, что тот оставил без внимания классовое содержание революционного конфликта, что он никогда не открывал Карла Маркса и, наконец, что он не хочет признать: монархия Старого порядка прогнила до мозга костей и против нее почти единодушно поднялась вся страна⁸⁶. Подмена реальных аргументов идеологическими стереотипами свидетельствовала о недостатке у Матъеза конкретного материала, чтобы в данном контексте убедительно обосновать традиционный для "классической" историографии тезис об отсутствии существенного влияния масонства на события Революции. В некотором роде это было признаком наметившегося отставания в изучении масонской тематики представителями данного направления в целом. Тот объем фактических данных, которого на протяжении ста с лишним лет вполне хватало для успешной, хотя в большей степени публицистической, нежели научной, полемики со сторонниками теории "заговора" (как в про-, так и в антимасонской трактовке), оказался явно мал для критики нового подхода к решению проблемы, опиравшегося на солидное исследование.

Разительным контрастом по сравнению с излишне эмоциональной и декларативной, но абсолютно неубедительной критикой работы Кошена, выглядела позиция Матъеза в развернувшемся тогда же его споре с историком-масоном Гастоном Мартеном. Последний в своем нашумевшем историко-публицистическом со-

⁸⁵ Ibid. P. 80—81.

⁸⁶ Ibid. P. 81.

чинении "Французское масонство и подготовка Революции" (1926), развивая идеи официальной исторической доктрины Великого Востока, доказывал, что Орден вольных каменщиков был важнейшим каналом распространения во Франции принципов Просвещения и главным центром координации антиабсолютистского движения, вылившегося в Революцию⁸⁷.

Написанная в броской манере, языком скорее журналиста, чем исследователя, книга Мартена содержала минимальное количество отсылок к источникам и изобиловала произвольными утверждениями. Будучи весьма уязвима для критики, она давала хороший повод лишний раз продемонстрировать преимущество тезиса "классической" историографии о непричастности "вольных каменщиков" к подготовке Революции перед теорией "заговора", которую Мартен фактически воспроизвел в промасонской интерпретации. Матьез воспользовался такой возможностью и выступил с развернутой критической рецензией, почти в два раза превышавшей по объему его отзыв на труд Кошена. Если в дискуссии с Кошеном Матьез, столкнувшись с принципиально новой методологией, явно испытал серьезные затруднения в подборе аргументации, то здесь он вел полемику в привычном русле, проложенном еще Мунье. Ссылаясь на официальные документы Великого Востока, Матьез подчеркивал, что руководители Ордена запрещали и осуждали любое вмешательство членов лож в политику. Не могли "вольные каменщики", считал он, и выступать пропагандистами просветительских идей, поскольку одним из важнейших элементов масонской философии было совершенно чуждое рационализму требование почитать Бога как Великого Архитектора Вселенной. Утверждение Мартена о преобладании масонов в Учредительном собрании (якобы $\frac{2}{3}$ депутатов) Матьез объявил бездоказательным и т.д.⁸⁸ В дальнейшем концепция Мартена еще не раз была подвергнута острой критике как Матьезом, так и Ж. Лефевром, который полностью разделял взгляды Матьеза на данную проблему и после его смерти в 1932 г. стал лидером "классического" направления историографии.

В 30-е годы точка зрения этих историков получила поддержку в ряде специальных исследований. Д. Морне отвел истории Ордена особую главу в известной монографии об интеллектуальных истоках Революции. Проанализировав обширный документальный материал, опубликованный за несколько предшествующих десятилетий парижскими и провинциальными историками (в том числе Амьелем, Бором, Кошеном и Мартеном), печатные издания XVIII в. и некоторые документы из архива Бастилии в парижской Библиотеке Арсенала, он пришел к следующим заключениям. При Старом по-

⁸⁷ *Martin G.* La franc-maçonnerie française et la préparation de la Révolution. P., 1926.

⁸⁸ *Mathiez A.* Gaston Martin. La Franc-Maçonnerie française et la préparation de la Révolution // AHRF. 1926. N 17. P. 498 – 502.

рядке дворянство отнюдь не считало, что Орден вольных каменщиков подрывает сословные привилегии, а духовенство не рассматривало масонов как врагов религии. Об этом, в частности, свидетельствует состав лож, включавший в себя многих представителей двух первых сословий⁸⁹. Кроме того, в своей повседневной деятельности масоны неизменно руководствовались уважением к религии и существующим властям. В ложи люди приходили, прежде всего, для развлечения⁹⁰. И если в списках членов лож можно увидеть имена некоторых видных философов Просвещения, а в архивах наткнуться на отдельные, масонские по происхождению и просветительские по содержанию, документы, то в целом Орден оставался далек от каких-либо оппозиционных настроений. Все это, полагал Морне, полностью опровергает утверждения Мартена и лишает всякой "видимости правдоподобия" созданную Баррюэлем легенду.

Более осторожную позицию автор книги занял по отношению к Кошену. Признав, что тот "перекопал бретонские архивы с чрезвычайным усердием", Морне, тем не менее, достаточно определенно обозначил свое несогласие с его общей концепцией. Кошен, по мнению Морне, убедительно продемонстрировал активное влияние различного рода общественных ассоциаций на формирование оппозиционного движения в канун Революции, но не привел практически никаких свидетельств особой роли в этом движении масонских лож: "Относительно Бретани Кошен доказал только то, что собственно масонская деятельность ничем не выделялась в совокупной деятельности всех обществ"⁹¹. Впрочем, далее углубляться в полемику Морне не стал, сославшись на то, что изучавшийся Кошеним период "предреволюции" — 1788—1789 гг. — отличается особой спецификой и лежит за рамками темы его (Морне) работы⁹².

В 1935 г. вышла в свет "История французского масонства" А. Лантуана, который ввел в научный оборот новый и весьма любопытный источник — полицейские донесения о деятельности масонских лож. Правда, использованные им документы охватывали только 40-е годы XVIII в. и эпоху Реставрации. Лежащий же между ними период, в том числе революционное десятилетие, Лантуан освещал, опираясь в основном на опубликованные источники и работы своих предшественников. Он полностью отвергал теорию "заговора" во всех ее разновидностях и отрицал какую-либо целенаправленную деятельность Ордена по свержению Старого порядка. Относясь в целом критически к концепции Кошена, Лантуан, однако, в отличие от Матьева, отмечал актуальность поставленной этим историком проблемы: "Справедливости ради мы должны

⁸⁹ *Mornet D. Les Origines intellectuelles de la Révolution française (1715—1787)*. P., 1933. P. 364—366.

⁹⁰ *ibid.* P. 368—373.

⁹¹ *ibid.* P. 385.

⁹² *ibid.* P. 357—358, 384—385.

признать, что идея г-на Огюстена Кошена, несмотря на всю ее тенденциозность и тенденциозность сделанных из нее выводов, в принципе не является ложной. Массонство самим своим существованием способствовало подрыву основ. Люди, собираясь вместе, пусть даже для вполне безобидной деятельности, меняют свои взгляды ... Вот почему не стоит утверждать, что массонство не имело никакого отношения к движению умов, вызвавшему народное восстание 1789 г. Но его невольная вина ничуть не больше, чем вина светского общества, салонов и читален"⁹³.

Из вышедших в межвоенный период работ по интересующей нас теме следует еще отметить книгу Б. Фэй как весьма редкий в научной литературе рецидив теории "заговора", выраженной в достаточно откровенной форме. По мнению автора, массонство, ставшее порождением английской Славной революции 1688 г., ставило себе целью распространение ее идей и опыта в других странах, дабы обеспечить повсеместное установление общественно-политических порядков, подобных тем, что имели место в Англии. Отвергая на словах вмешательство в политику и применение насилия, массонство, утверждал Фэй, фактически формировало интеллектуальную почву для грядущих революционных преобразований в соответствующем духе и выращивало кадры для их осуществления⁹⁴. Впрочем, все эти заключения автора были довольно слабо обоснованы источниками и строились в основном на материалах исследований других историков.

После Второй мировой войны начинается настоящий бум в изучении истории французского массонства. Орден в годы оккупации подвергся репрессиям со стороны нацистов и их приспешников. Многие ложи были разгромлены, а их архивы конфискованы гестапо и полицией режима Виши. После освобождения эти материалы — кроме осевших в зарубежных архивах — попали в отдел рукописей Национальной библиотеки Франции (далее — НБ), где составили особый Массонский фонд. По завершении разбора и классификации этот огромный массив документов был открыт для исследователей. В результате, начиная с 60-х годов, во Франции увидели свет десятки монографий и сотни статей по истории Ордена вольных каменщиков⁹⁵, в том числе содержавшие большой фактический мате-

⁹³ Lantoin A. Histoire de la Franc-Maçonnerie française. La Franc-Maçonnerie dans l'Etat. P., 1935. P. 178 — 179.

⁹⁴ Fay B. La Franc-Maçonnerie et la révolution intellectuelle du XVIIIe siècle. P., 1935. P. 261.

⁹⁵ Подробную библиографию этих работ см.: *Porset Ch. Hiram Sans-Culotte? Franc-Maçonnerie, Lumières et Révolution. Trente ans d'études et de recherches.* P., 1998. Анализ некоторых из них см.: *Блуменau С.Ф. От социально-экономической истории к проблематике массового сознания: Французская историография революции конца XVIII в. (1945—1993).* Брянск, 1995. С. 146 — 150, 207 — 212; *Киясов С.Е. Массоны во Франции: история и историки // Новая и новейшая история.* Саратов, 1998. Вып. 17.

риал обобщающие труды П. Шевалье, Д. Лигу и А. Ле Бияна⁹⁶. Специально проблемой "Мasons и Революция" перечисленные авторы не занимались, но, когда им все же приходилось ее касаться, высказывали точку зрения близкую к той, что ранее отстаивали Матъез и Лефевр. Впрочем, теперь представители "классической" историографии и сами активно включились в изучение масонской тематики. А. Собоуль, возглавивший после смерти Лефевра в 1959 г. "классическое" направление в изучении Революции, лично принял деятельное участие в разработке соответствующих сюжетов. Под его председательством прошли организованные Институтом масонских исследований коллоквиумы по истории масонства XVIII в. в 1969 г. и в честь 200-летия Великого Востока в 1973 г. Материалы этих конференций были опубликованы в тематических номерах журнала Общества робеспьеристских исследований⁹⁷.

На коллоквиуме 1973 г. Собоуль выступил с докладом, имевшим программное значение для освещения масонской тематики в "классической" историографии. По мнению исследователя, ранее в научной литературе существовало три основные точки зрения на роль Ордена вольных каменщиков в подготовке революции: две "крайние" — "триумфалистская" концепция масонских авторов (прежде всего Мартена) о ведущей роли Ордена в событиях 1789 — 1791 гг. и противостоящая ей контрреволюционная теория "заговора", к сторонникам которой Собоуль отнес не только Лефранка, Баррюзю и Фэя, но и Кошена, — а также "средняя" линия Матъеза и Лефевра. Суть последней Собоуль сводил к следующим положениям: во-первых, масонство сыграло определенную роль в распространении Просвещения, но отнюдь не было главной движущей силой этого процесса; во-вторых, Орден включал в себя представителей дворянства, духовенства и буржуазии, а потому не мог бороться против традиционной социальной иерархии, не подвергая свои ложи угрозе распада; в-третьих, по мере углубления Революции буржуа-масоны испытывали острую неприязнь по отношению к демократам и республиканцам, не говоря уже о санкюлотах. Результаты конкретных исследований, по словам Собоуля, подтверждают правильность именно этой линии, что позволяет продолжать научные изыскания в данном направлении без лишней полемики, а "крайние" точки зрения просто отбросить⁹⁸.

⁹⁶ *Le Bihan A.* Francs-maçons parisiens du Grand Orient de France (fin du XVIII^e siècle). P., 1966; *Idem.* Loges et chapitres du Grand Orient et de la Grande Loge. P., 1967; *Idem.* Francs-Maçons et ateliers parisiens de la Grande Loge de France au XVIII^e siècle. P., 1973; *Chevallier P.* Histoire de la Franc-Maçonnerie française: In 3 vols. P., 1974; Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie / Sous dir. de D. Ligou. 1^{re} éd.: In 2 vols. P., 1973; etc.

⁹⁷ См.: AHRF. 1969. N 175; 1974. N 215.

⁹⁸ *Soboul A.* La franc-maçonnerie et la Révolution française // AHRF. 1974. N 215. P. 76.

Отнеся Кошена к сторонникам теории "заговора", Собуль обильно явил его концепцию бездоказательной и слово в слово повторил соответствующие аргументы Матьеза⁹⁹. Между тем, обобщив далее в докладе данные ряда локальных исследований, Собуль пришел к выводам, которые не так уж и сильно, как ему, быть может, хотелось, отличались от того, что в действительности писал Кошен. Так, Собуль признавал, что накануне Революции масонские ложи, как и другие общественные ассоциации, были своего рода школами новых форм политической культуры, где просвещенная буржуазия и либеральное дворянство отработывали навыки публичного выступления, дискуссии, выборов и других демократических процедур, необходимые для парламентской и представительной системы. Там же, по его словам, происходило объединение на принципах равноправия родовой аристократии и высшей буржуазии — именно такой, далекий от "подлинного равенства" идеал нашел в дальнейшем отражение в политической программе либерального крыла революционеров. В самом же начале Революции, при формировании "патриотической партии", ее организаторы использовали для координации движения свои масонские связи, как, впрочем, и связи личные, родственные, деловые, а также возникшие благодаря членству в других общественных ассоциациях¹⁰⁰. Как видим, ни одно из этих положений не противоречило концепции Кошена. И даже наблюдение Собуля о постепенном вымывании масонов из революционного движения по мере углубления Революции вполне согласовывалось с тезисом Кошена о действии "закона отбора и вовлечения".

Для представителей "классической" историографии Кошен неизменно оставался объектом острой критики по причинам идеологического характера. И хотя с научной стороны подобная критика, как мы видели, далеко не всегда была корректна, все же она самым негативным образом сказалась на судьбе творческого наследия этого историка. Еще в 1970 г. Собуль имел все основания констатировать, что идеи Кошена не интересуют больше никого, кроме историков исторической науки¹⁰¹. Однако всего восемь лет спустя произошло триумфальное возвращение этого, казалось бы уже окончательно забытого автора. В 1978 г. увидела свет историко-философская работа лидера "критической" ("ревизионистской") историографии Революции, одного из наиболее ярких представителей третьего поколения школы "Анналов" — Ф. Фюре — "Постижение Французской революции"¹⁰². Целая глава в ней была отведена критическому анализу трудов Кошена. Фюре высоко оценил новаторскую попытку этого историка использо-

⁹⁹ Ibid. P. 78 — 79.

¹⁰⁰ Ibid. P. 82 — 83.

¹⁰¹ Soboul A. La civilisation et la Révolution française. P., 1970. T. 1.

¹⁰² Furet F. Penser la Révolution française. P., 1978.

вать методы исторической социологии для изучения процесса зарождения и развития новых форм политической культуры в недрах Старого порядка. И сторонники, и противники теории "заговора", несмотря на всю остроту их спора, отмечал Фюре, не выходят за пределы описательной историографии, поскольку пытаются интерпретировать события, исходя из субъективных намерений их участников. Труды же Кошена — это яркий образец критической историографии. Их автор, по мнению Фюре, четко отделял бытие от критики бытия, исследуя политическую и культурную динамику развития демократических ассоциаций — "обществ мысли" — как объективный процесс, не зависевший от субъективных представлений участвовавших в нем индивидов. И хотя Кошен так и не успел завершить свои исследования, ему принадлежит несомненная заслуга в постановке проблемы и разработке методологии ее решения, которая, считал Фюре, может быть использована современными историками. Нельзя, подчеркивал он, отвергать труды Кошена только из-за политических взглядов их автора, как это делали Олар и Матьез, ведь реальную научную значимость имеет лишь деление историографии на описательную и критическую, но не на "правую" и "левую"¹⁰³.

Продуктивность применения методов исторической социологии к изучению просветительских ассоциаций XVIII в. убедительно продемонстрировал другой представитель школы "Анналов" — Даниэль Рош, выпустивший в том же, 1978 г. двухтомную монографию о провинциальных академиях конца Старого порядка. Один из разделов этого фундаментального труда был посвящен сравнительному анализу основных особенностей функционирования академий и других общественных объединений. В частности, на основе документов Массонского фонда НБ и опубликованных Ле Бияном материалов, Рош исследовал персональный состав и характер деятельности масонских лож в городах, имевших свои академии. В результате он пришел к выводу о значительном сходстве социальных функций и механизма действия этих двух, казалось бы, совершенно разных типов ассоциаций, являвшихся центрами формирования новой просвещенной элиты¹⁰⁴.

В 1984 г. Ран Алеви, ученик Фюре, выпустил в свет монографию о динамике распространения масонских лож во Франции XVIII в. Подчеркнув необходимость изучать историю масонства в широком контексте социокультурной истории как часть многогранного процесса "социализации Просвещения", Алеви указал, что, несмотря на обилие работ по масонской тематике, появившихся до Второй мировой войны, подобный подход к проблеме пытались осуществить только три автора — Бор, Морне и, особен-

¹⁰³ Ibid. P. 213—221.

¹⁰⁴ Roche D. Le siècle des Lumières en province. Académies et académiciens provinciaux, 1680—1789. Paris; La Haye, 1978. T. 1. P. 279—280.

но, Кошен. Однако всем им пришлось столкнуться с нехваткой необходимых источников, недоступных в то время для исследователей-немасонов. Дальнейшее же развитие историографии в данном направлении, считал Алеви, почти на 40 лет остановилось из-за той резкой и несправедливой критики, которой Матьез подверг работы Кошена. Осудив применение социологического метода и оставаясь на позициях позитивистской историографии, Матьез пытался интерпретировать историю масонского движения в представлениях самих его участников. Иначе говоря, в своем понимании проблемы он так и не смог выйти за пределы, очерченные теорией "заговора". Ну а поскольку "заговор" отсутствовал, постольку значение масонства в век Просвещения казалось Матьезу ничтожным, отмечал Алеви¹⁰⁵.

Сам он отводил Ордену вольных каменщиков особую роль по сравнению с другими видами "обществ мысли". Считаясь тайной организацией, масонство было избавлено от необходимости добиваться санкции государства на свою деятельность. Кроме того, в отличие от других ассоциаций, оно обладало целостной идеологией, в основу которой был положен принцип равенства. И хотя этот принцип обычно не распространялся за пределы лож, да и внутри их далеко не всегда находил воплощение, тем не менее он полностью противоречил традиционной системе ценностей Старого порядка. Так же, как противоречила ей и неизвестная до XVIII в. практика добровольных и регулярных собраний людей для удовлетворения своих личных духовных интересов, которая явилась результатом формирования нового представления об индивидуальности и в свою очередь способствовала его утверждению в обществе. "Можно сказать, — писал Алеви, — что по сути своей любая добровольная ассоциация несет в себе зародыш конфликта, связанного с распределением сфер действия между политической властью и гражданской свободой, государством и гражданами"¹⁰⁶.

Проведя квантитативное исследование материалов Масонского фонда НБ и печатных источников, Алеви подробно рассмотрел процесс распространения лож во Франции по годам, выявив его основные закономерности, периоды подъема и падения, связь с географическими, демографическими и социокультурными факторами. Вместе с тем, рассматривая свое исследование лишь как первое приближение к теме, автор не стал делать далеко идущие выводы и лишь наметил пути дальнейшей ее разработки. Необходимо, подчеркнул он, идти дальше Кошена, которого интересовала, прежде всего, динамика, но не содержательная сторона деятельности "обществ мысли", и заняться изучением механизма взаимосвязи между масонской идеологией и функционированием

¹⁰⁵ Halévi R. Les Loges maçonniques dans la France d'Ancien Régime: aux origines de la sociabilité démocratique. P., 1984. P. 18 — 19.

¹⁰⁶ Ibid. P. 13.

Ордена: «Эта туманная идеология обладала, по крайней мере до определенной степени, собственной автономией, каковую за ней не всегда признают. Она была не просто порождением добровольной ассоциации, а скорее ее основополагающим принципом, интеллектуальным обоснованием, которое "братья", однако, не переставали вновь и вновь перерабатывать внутри своих лож. Иными словами, ее значение определяется не столько содержанием, сколько социальной ролью — тем, каким образом ее всякий раз заново формулировали, перекраивали и приспособляли для применения в различных обстоятельствах и в разных целях. Идеология и социальность — проблема состоит в том, чтобы разделить эти понятия, дабы затем точнее установить их глубинную взаимосвязь. Это относится и к масонскому движению, и к феномену якобинизма. Именно на данном уровне есть смысл сравнивать эти системы»¹⁰⁷.

Стремление историков школы "Анналов" перенести центр тяжести при изучении роли масонства в подготовке Французской революции с субъективных представлений и намерений отдельных членов лож на объективное, социокультурное значение феномена масонства было негативно воспринято сторонниками "классической" интерпретации, поскольку уже первые попытки применения такого подхода давали основания полагать, "что масонство внесло свой вклад в разложение Старого порядка"¹⁰⁸. И хотя сам по себе подобный вывод отличался от позиции, например, того же Собуля скорее лишь расстановкой акцентов, нежели по существу, тем не менее в сочетании с критикой Матьеза и научной "реабилитацией" Кошена он по идеологическим мотивам оказался неприемлем для историков "классического" направления. Больше всего досталось Фюре. И даже брошенный им призыв к "охлаждению" и освобождению от идеологических наслоений темы Французской революции¹⁰⁹ не избавил его книгу от резкой критики со стороны представителей "классического" направления историографии¹¹⁰. Причем и Фюре, как в свое время Кошена, они обвинили в реанимации теории "заговора"¹¹¹.

Но даже такая, далеко не всегда конструктивная полемика принесла определенную пользу, оживив интерес к теме. Выступая в 1984 г. на очередном коллоквиуме Института масонских исследований, М. Вовель, новый лидер "классической" историографии

¹⁰⁷ Ibid. P. 105.

¹⁰⁸ Ibid. P. 103.

¹⁰⁹ Furet F. Op. cit. P. 24.

¹¹⁰ См., например: Godechot J. // AHRF. 1979. N 235 (Рус. пер.: Гогшо Ж. О книге Ф. Фюре // ФЕ. 1979. М., 1981); Pertué M. La révolution française est-elle terminée? // AHRF. 1982. N 249; Vovelle M. Historiographie de la Révolution française // AHRF. 1988. N 272. P. 118 — 119.

¹¹¹ См.: Гогшо Ж. Указ. соч. С. 257 — 258.

(Собуль умер в 1982 г.), наряду с ритуальной критикой сторонников, как он выразился, "экстумации" Кошена, отметил: «Поставленный тенью Огюстена Кошена вопрос, даже если, как делаю я, считать его ошибочным или второстепенным, обязывает. Он напоминает, что, берясь за тему "Масонство и Просвещение накануне Революции", мы поднимаем широчайший круг проблем, касающихся сущности Революции в целом, истоков демократии и путей ее развития»¹¹².

Празднование 200-летия Французской революции вызвало всплеск интереса к различным аспектам ее истории, включая и масонские сюжеты. На эту тему только в юбилейном 1789 г. вышло три книги с почти одинаковыми названиями. И хотя все они носили популярный характер и не имели научного аппарата, содержание их было далеко не равноценным. Журналист С. Ютен, названный в редакционной аннотации "наиболее популярным, наиболее известным и наиболее читаемым из всех специалистов по истории тайных обществ", предложил причудливый синтез промасонской и антимасонской интерпретаций теорий "заговора"¹¹³. Причем все эти построения носили исключительно умозрительный характер, а потому его книга, не обладая сколько-нибудь серьезной научной ценностью, представляла некоторый интерес лишь как удивительный реликт концепции, казалась бы, давно опровергнутой профессиональными историками.

И все же, как ни странно, он оказался отнюдь не одинок. В какой-то степени схожую интерпретацию темы предложил и Ф.-Г. Уртуль, автор второй из упомянутых выше книг. Будучи также историком-любителем, этот известный во Франции хирург посвятил указанной проблеме обширный (более 500 страниц) труд, построенный, правда, в основном на материалах других исследований. Отвергая теорию "заговора", он, тем не менее, считал, что Орден вольных каменщиков внес важный вклад в идеологическую подготовку Революции, распространяя в обществе идеалы Свободы, Равенства и Братства, а в ходе самой Революции сыграл ведущую роль в период работы Генеральных штатов и Учредительного собрания¹¹⁴.

В отличие от этих сочинений третья из юбилейных работ была написана профессионалом и построена на документальных материалах. Речь идет об уже упоминавшейся выше монографии Д. Лигу "Масонство и Французская революция". Этот историк, признанный специалист по данной теме, автор многочисленных исследований и публикаций архивных материалов, за последние 30 лет неоднократно возглавлял коллективные проекты по изуче-

¹¹² Franc-Maçonnerie et Lumières au seuil de la Révolution française. Colloque 1984. P., 1985. P. 19.

¹¹³ Hutin S. La Franc-Maçonnerie et la Révolution française. P., 1989.

¹¹⁴ Hourtoulle F.-G. Franc-Maçonnerie et Revolution. P., 1989.

нию истории масонства. Будучи с конца 40-х годов членом Ордена¹¹⁵, он, однако, неизменно критически относился к концепции Мартена и придерживался взглядов близких к точке зрения "классической" историографии. Он тесно сотрудничал с Собулем, чьи научные воззрения во многом разделял¹¹⁶.

В монографии 1989 г. Лигу по сути дал развернутое обоснование концепции Собуля, от которого его отличает разве что несколько более взвешенный подход к традиционным оппонентам. Так, отвергая в целом теорию "заговора" Баррюэля, Лигу, тем не менее, считал, что исследование этого историка об иллюминатах обладает несомненной научной ценностью¹¹⁷. Или, например, отмечая, что большинство "правых" историков просто пересказывало Баррюэля, он признавал, что "только Огюстен Кошен стал исключением и предложил пути, если и не новые, то по крайней мере интересные"¹¹⁸. Впрочем, все попытки отхода от "классической" интерпретации Лигу считал необоснованными с научной точки зрения: "Сказка о том, что масонство выступало вдохновителем Революции, практически полностью исчезла после 1940 г. и теперь в смягченной форме поддерживается лишь господами Фюре и Алеви"¹¹⁹.

Свое понимание проблемы Лигу формулировал так: "Существует явный контраст между очень скромной, а то и вообще ничтожной ролью, сыгранной масонством в Революции, и связанной с этим легендой. Однако нет и речи о том, чтобы отрицать влияние отдельных масонов на события, если даже масонство в целом не играло в них первостепенной роли"¹²⁰. Соответственно его сочинение представляло собой не столько историю масонства, сколько историю масонов в эпоху Революции.

Монография Лигу остается на сегодняшний день последней из обобщающих работ по данной теме, вышедших во Франции. Отражая современное состояние разработки масонской проблематики историками "классического" направления, она позволяет подвести итог их усилиям за прошедшие десятилетия. К ведущим особенностям "классической" интерпретации этой темы в первую очередь следует отнести устойчивый традиционализм. Например, несмотря на большой объем нового фактического материала, вовлеченного в научный оборот в XX в., особенно после Второй мировой войны, и в значительной степени использованного в книге Лигу, ее автор в качестве конечного вывода, как уже отмечалось, про-

¹¹⁵ См.: *Ligou D. Franc-Maçonnerie et Révolution française*. P. 26.

¹¹⁶ См.: *Ligou D. Albert Soboul et l'histoire de la Franc-Maçonnerie française // ANRF. 1982. N 250. P. 254 – 256.*

¹¹⁷ *Ligou D. Franc-Maçonnerie et Révolution française*. P. 20 – 21.

¹¹⁸ *Ibid.* P. 11.

¹¹⁹ *Ibid.* P. 25.

¹²⁰ *Ibid.*

сто ограничился цитатой из сочинения Мунье, тем самым подчеркнув, что за прошедшие два столетия концептуальные позиции "классической" историографии не претерпели принципиальных изменений. Впрочем, это неудивительно. Так же, как и в начале XIX в., ее представители видят свою главную задачу в борьбе против всех трактовок теории "заговора". Так, после смерти Собуля Лигу признал важнейшим достижением покойного в данной сфере исследований критику промасонского и антимасонского "баррюэлизма"¹²¹.

В какой степени эти усилия увенчались успехом? Что касается специальных исследований, то никто из их авторов во второй половине XX столетия так и не пытался защищать теорию Баррюэля. Что же касается научно-популярной и публицистической литературы, то, как показывают работы Ютена и Уртуля, баррюэлевский мотив по-прежнему звучит здесь на разные лады, несмотря все на старания профессиональных историков его заглушить. Да и очередной, уже в который раз брошенный призыв Д. Лигу отказаться от "легенды о заговоре"¹²² показывает, что этот вопрос все еще продолжает сохранять актуальность. Причиной тому отчасти является методологическая ограниченность, своего рода однолинейность "классической" интерпретации данной темы. Представители этого направления историографии искусственно сводят сложную и многогранную проблему к дилемме: был "заговор" или нет? Выбирая второй ответ, а затем, следуя логике движения в заданной ими же самими одномерной системе координат, они неизбежно приходят к отрицанию (абсолютному или с некоторыми оговорками) какой-либо роли масонства в подготовке и осуществлении Революции. Однако столь однозначная трактовка не выглядит достаточно убедительной: факты активного участия членов Ордена в революционных событиях имели массовый характер и были слишком многочисленны (это неудивительно, учитывая размах движения "вольных каменщиков"¹²³), чтобы не вызвать сомнений в обоснованности чрезмерно категоричного вердикта. И если сомневающийся, осознанно или в силу обратной инерции, тоже следует правилам однолинейного движения, то он неизбежно приходит к прямо противоположной точке зрения, то есть к одной из разновидностей теории "заговора". Вот почему, несмотря на титанические усилия, прилагаемые для искоренения "баррюэлизма", он не перестает давать все новые всходы в околонаучной сфере.

¹²¹ *Ligou D. Albert Soboul et l'histoire de la Franc-Maçonnerie française. P. 255.*

¹²² *Ligou D. La Révolution, fille de la Maçonnerie? // La Franc-Maçonnerie. "Notre Histoire". P., 1996. P. 74.*

¹²³ Согласно Лигу, во Франции накануне Революции существовало около 800 лож, число членов которых, по разным оценкам, простиралось от 20 тыс. до 80 тыс. — *Ibid.* P. 67.

В области специальных исследований по теме "Масоны и Революция" представители "классической" историографии занимают сейчас доминирующее, если не монопольное, положение. Однако примерно с 1990-х годов в их подходах к данной теме можно заметить определенную трансформацию. Отчасти она обусловлена сменой поколений. В этот период происходил постепенный отход от активной научной работы мэтров "масоноведения" А. Ле Бийяна и Д. Лигу, в 1998 г. скончался П. Шевалье. Сменившее их новое поколение исследователей, похоже, не испытывает столь же острой аллергии к методологическим веяниям, исходящим от иных научных направлений, идеологически отличающихся от их собственного. Поэтому, декларируя по-прежнему свое негативное отношение к консервативному и "ревизионистскому" течениям и предпринимая ставшие уже почти ритуальными критические выпады против О. Кошена, Ф. Фюре и Р. Алеви, историки этого поколения используют в своих исследованиях, по сути, тот же самый социологический подход к изучению феномена масонства, который предложили критикуемые ими оппоненты.

Подобная двойственность хорошо прослеживается в уже упоминавшейся выше монографии М. Джейкоб "Жить Просвещением: масонство и политика в Европе XVIII в.", ставшей первым заметным вкладом англосаксонской историографии в разработку проблематики, до тех пор являвшейся прерогативой французских специалистов. Интерпретируя Революцию в целом с позиций, весьма близких к позиции А. Собуля, Джейкоб достаточно критично отзывается о работах оппонентов "классической" историографии, занимавшихся масонскими сюжетами. По ее мнению, "не только Баррюэль, но и большинство последующих французских историков оказались далеки от взвешенного и исключительно эмпирического подхода к политическому содержанию масонской деятельности, хотя их представления отличались академизмом и были чужды теории заговора"¹²⁴. К числу этих авторов Джейкоб относит, прежде всего, Кошена и Фюре. В свою очередь их идеи, отмечает она, стали основой для исследования Алеви. Впрочем, в своей критике работ историков школы "Анналов" Джейкоб, в отличие от их французских оппонентов, исходит, прежде всего, из методологических, а не из идеологических соображений. По ее мнению, применявшиеся Алеви и Рошем социологический и количественный методы достаточно эффективны при изучении динамики и социокультурного значения масонской активности, но ничего не дают для понимания идейно-политического содержания деятельности Ордена¹²⁵.

И все же заслуга школы "Анналов", по словам Джейкоб, состоит в том, что именно ее представители, наряду с Вовелем, "приот-

¹²⁴ Jacob M.C. Op. cit. P. 12–13.

¹²⁵ Ibid. P. 13, 221.

крыли запертую дверь", позволив увидеть важнейшую проблему "социализации Просвещения", или, иными словами, проникновения просветительских ценностей в массовое сознание и повседневную общественную практику. Свою задачу Джейкоб видит в том, чтобы "открыть эту дверь еще шире", показав, каким образом идеи великих мыслителей XVIII в., покидая узкий круг философов, становились достоянием широких слоев общества¹²⁶. Рассмотрев деятельность Ордена вольных каменщиков в ряде западноевропейских стран, она приходит к выводу, что роль такого моста между "высоким" и "низким" Просвещением играло именно масонство. Во Франции, считает Джейкоб, масонские ложи были своего рода школами, где будущие революционеры получали представление об ином, более совершенном, нежели реально существующее, устройстве государства и общества¹²⁷.

Столь же двойственное отношение к предложенному Кошеном и развитому в работах Фюре и Алеви социологическому подходу к изучению масонства можно наблюдать и в трудах Пьера-Ива Борепэра, являющегося сегодня лидером французского "масоноведения". Будучи членом, а затем и одним из руководителей Общества робеспьеристских исследований, П.-И. Борепэр разделяет присущий большинству историков-"робеспьеристов" критический настрой в отношении традиционных оппонентов "классического" направления историографии. Правда, в отличие от старших товарищей, он не касается вопроса об идеологических противоречиях, а ведет речь исключительно о расхождениях в сфере методологии. Так, в своей первой монографии — о масонах Клермон-Феррана — П.-И. Борепэр критикует О. Кошена и Р. Алеви за "упрощенческую" (*simpliste*), на его взгляд, трактовку лож как ячеек "новой социабельности"¹²⁸. По мнению самого П.-И. Борепэра, декларируемые масонами принципы равенства отнюдь не всегда, либо не в полной мере находили воплощение в реальной практике функционирования лож. Однако подобные различия в точках зрения едва ли можно считать принципиальными: спор идет о нюансировании выводов, а отнюдь не о целесообразности самого по себе применения социологического подхода к изучению масонства. Более того, к своим выводам Борепэр как раз и пришел в результате историко-социологического исследования клермонских лож.

В новейшей (и уже десятой по счету!) монографии П.-И. Борепэра "Масонское пространство: социабельность в Европе XVIII в." мы и вовсе не найдем каких-либо выпадов в адрес Кошена, чье имя вообще упоминается лишь вскользь. Отголоском былых споров является разве что скептический отзыв о достоинствах работы

¹²⁶ Ibid. P. 222.

¹²⁷ Ibid. P. 214.

¹²⁸ *Beaupaire P.-Y. Les Francs-Maçons à l'orient de Clermont-Ferrand au XVIII^e siècle. Clermont-Ferrand, 1991. P. 315–318.*

Р. Алеви, на которого "оказали влияние чтение Кошена и учеба у Фюре". Впрочем, автор тут же сворачивает тему, отсылая тех, кого интересует его мнение о работе Алеви, к своей первой книге¹²⁹. В то же время, рассуждая о методологии современных исследований темы масонства, П.-И. Борепэр высказывает сожаление, что в этой области французской историографии до сих пор господствует позитивистский подход, поскольку ее обошли стороной новые веяния, связанные с достижениями школы "Анналов" в сфере социальной и культурной истории¹³⁰. Подобное методологическое отставание, считает П.-И. Борепэр, чревато для "масоноведения" утратой самостоятельности как отдельной отрасли историографии и растворением в полноводном потоке исследований, посвященных развитию в Век Просвещения различных новых форм социальности. В этих работах, выполненных, отмечает автор монографии, на высочайшем уровне современной науки, масонство рассматривается наряду с другими новыми формами социальности, такими, как салоны, академии, читальные клубы и т.д., причем далеко не всегда оказывается в центре внимания исследователей¹³¹. Чтобы сохраниться в качестве самостоятельной отрасли историографии, "масоноведение" должно радикально обновить свои научные методы, считает П.-И. Борепэр. Кстати, замечу от себя, к нему самому тезис о методологическом отставании никоим образом не относится: этот автор успешно применяет в своих исследованиях и социологический, и культурно-исторический подходы.

Между тем, его обеспокоенность вполне обоснованна. За пределами сообщества историков масонства вопросы становления новых форм социальности в предреволюционной Франции активно изучаются на протяжении нескольких последних десятилетий многими специалистами по XVIII в.¹³² Причем даже те историки, кто вовсе не разделяет идеологических пристрастий О. Кошена и готов согласиться отнюдь не со всеми его выводами, отдают ему должное за предложенный им социологический подход к данной проблеме¹³³.

Ощущение того, что "масоноведение" в методологическом плане все больше отстает от других отраслей историографии, похоже, появилось в последние годы и у его представителей старше-

¹²⁹ Beaupaire P.-Y. L'espace des francs-maçons. Une sociabilité européenne au XVIII^e siècle. Rennes, 2003. P. 25.

¹³⁰ Ibid. P. 33–34.

¹³¹ Ibid. P. 31–33.

¹³² Подробнее см.: Мир. Просвещения. Исторический словарь / Под ред. В. Ферроне и Д. Роша. М., 2003 (ит. изд. — 1997). В частности, см. статьи: "Социальные связи и формы общения", "Академии", "Масонство", "Общественное мнение" и библиографию к ним.

¹³³ См., например: Шартье Р. Культурные истоки Французской революции [1990]. М., 2001. С. 175, 178.

го поколения. Попытки внести определенные коррективы в традиционную интерпретацию темы "Масоны и Революция" нашли отражение в вышедшей недавно "Истории масонства Франции 1725 – 1815 гг.", которую подготовил коллектив авторов под руководством Д. Лигу, при участии А. Ле Бийяна и Д. Роша. В главе о роли масонов во Французской революции содержится, правда, и немало положений, уже известных нам по рассмотренным выше старым работам историков "классического" направления: опровержение "теории заговора" в версиях О. Баррюэля и Г. Мартена, критика концепции Б. Фэя, апология трактовок данной темы А. Матъезом и А. Собулем¹³⁴. Однако появились и новые моменты, в частности признание, хоть и очень сдержанное, правомерности выводов О. Кошена и Ф. Фюре о радикально изменившейся в XVIII в. роли институтов "ассоциации" и "представительства". Правда, тут же отмечается, что к аналогичным заключениям пришел в свое время еще Мунье¹³⁵.

Обсуждается в книге и вопрос о влиянии масонских практик на организацию революционных институтов. И если авторы по-прежнему отрицают, что оно проявилось в определении порядка работы революционных законодательных ассамблей, то относительно организации деятельности политических клубов осторожно замечают, что там оно, возможно, все же имело место¹³⁶.

Таким образом, мы можем констатировать, что если делящаяся уже два столетия дискуссия о роли масонов во Французской революции еще далека от своего завершения, то, по крайней мере, в последние годы наметились перспективы достижения консенсуса и успешного решения этой, одной из старейших в историографии Революции, проблемы. Подобные перспективы связаны с расширением арсенала применяемых для изучения масонства исследовательских методов, которое становится возможным благодаря постепенному идеологическому "охлаждению" темы и преодолению представителями "классической" историографии былой "аллергии" на те научные подходы, которые предложены их идеологическими оппонентами, в частности на социологический подход О. Кошена.

¹³⁴ Histoire des francs-maçons en France 1725 – 1815 / Sous dir. D. Ligou, P., 2000. P. 207 – 214.

¹³⁵ Ibid. P. 209.

¹³⁶ Ibid. P. 213.

ЯНСЕНИСТЫ И РЕВОЛЮЦИЯ: ОТ "ЗАГОВОРА" К...?

Маленькие муравьи могут
большое дерево загубить.

Ялонский пословица

Посвящая последние годы своей жизни написанию обширного теологического труда "Августин", епископ Ипра Корнелиус Янсений (1585—1638) преследовал самую что ни на есть благую цель — укрепить догматы католицизма в соответствии с решениями Тридентского собора. Однако все получилось прямо наоборот. Когда эта книга, до публикации которой сам Янсений, увы, не дождался, увидела свет в 1640 г., споры вокруг изложенных в ней идей привели к новому, самому крупному после Реформации, расколу в католической церкви. Едва ли благочестивому епископу и в странном сне могло привидеться, что когда-нибудь его именем нарекут целое религиозное течение — янсенизм, приверженцы которого, начиная с середины XVII в., будут на протяжении более ста лет вести борьбу против верховной иерархии католической церкви Франции, а затем — и против самого папы римского. Тем не менее именно так все и случилось. Более того, последователи Янсения позднее даже окажутся причислены к виновникам самой страшной за последние три столетия катастрофы в истории католической церкви — Французской революции XVIII в.

* * *

Утверждение о том, что янсенизм сыграл одну из решающих ролей в подготовке Французской революции, было выдвинуто еще современниками последней. Причем — редкий случай — оно встретило благосклонный прием как в левой, так и в правой частях политического спектра. Творцом того, что в современной историографии называют "республиканским мифом о янсенизме"¹, стал известный деятель Революции Анри Грегуар. Некогда аббат, затем — конституционный епископ, депутат Учредительного собрания и Конвента, он в 1801 г. опубликовал эссе "Руины Пор-Руаяля" о некогда знаменитом монастыре, главном духовном центре янсенизма, разгромленном в 1709 г. по приказу Людовика XIV. Грегуар

¹ См.: Maire C. Introduction // Jansénisme et Révolution / Actes du colloque de Versailles les 13—14 octobre 1789. Chroniques de Port-Royal. P., 1990. N 39. P. 10.

описал легендарную обитель как сообщество людей, вдохновлявшихся христианскими и республиканскими идеалами, и объявил янсенистов "предтечами Революции"².

В свою очередь, на правом фланге тезис о "янсенистском заговоре" против церкви и государства выдвинул Жозеф де Местр в книге "О галликанской церкви" (1821)³. Затем эта идея в разных интерпретациях прозвучала и в сочинениях таких крупных религиозных мыслителей, как Фелисите Робер де Ламенне и Шарль-Мишель Лавижери⁴.

В исторической литературе XIX в. представление о янсенистах как предтечах Революции было едва ли не общим местом⁵. Впрочем, конкретных аргументов в подтверждение этой точки зрения приводилось немного. Так, Феликс Рокэн, доказывая в известной работе "Революционный дух до Революции"⁶, что противостояние нации и монархии началось задолго до 1789 г. и охватывало практически весь XVIII в., отвел янсенистам одно из центральных мест в истории политической борьбы, приведшей на исходе столетия к гибели Старого порядка. Однако при этом он дал понятию "янсенизм" излишне расширительное толкование, распространяя его фактически на всю политическую оппозицию первой половины XVIII в. По мнению автора книги, имя "янсенистов" без разбора "давалось всем врагам Рима и буллы" *Unigenitus*⁷. Более того, историк вообще отказался обсуждать специфику янсенизма как религиозного течения. "Считаем лишним, — писал он, — напоминать читателям различия между учением иезуита Молина и учением Янсениуса. Эти различия были совершенно забыты среди всех тех волнений, которые мы начинаем описывать"⁸. Неудивительно, что при таком подходе религиозно-идеологический феномен янсенизма начисто утрачивал свою идентичность, без остатка растворяясь в общем потоке оппозиционного движения. В результате оказывалось совершенно непонятно, в чем именно состояла та особая генетическая связь между собственно янсенизмом и Французской революцией — связь, которую одни современники Революции ставили янсенистам в вину, другие — в заслугу.

² *Grégoire H.* Les Ruines de Port-Royal. P., 1801.

³ *Maistre J., de.* De l'Eglise gallicaine. P., 1821.

⁴ *Lamennais F.R.* De la Religion dans ses rapports politiques et civils. P., 1826; *Idem.* Progrès de la Révolution. P., 1829; *Laviguerie Ch.M.* L'Ami de la Religion. P., 1856. P. 15.

⁵ См., например: *Блан Л.* История Французской революции. СПб., 1907. Т. 1. С. 159, 292.

⁶ *Rocquain F.* L'Esprit révolutionnaire avant la Révolution (1713—1789). P., 1878. В России это сочинение вышло под заголовком "Движение общественной мысли во Франции в XVIII в." (СПб., 1902).

⁷ *Рокэн Ф.* Указ. соч. С. 9—10.

⁸ Там же. С. 3. Примеч. 1.

Впрочем, недостаток в конкретных фактах, подтверждающих подобную преэминентность, испытывали и те авторы, кто, в отличие от Ф. Рокзана, с вниманием относился к религиозно-идеологическому содержанию янсенизма. Едва ли не единственным их аргументом была ссылка на исходившую от янсенистов инициативу введения во время Революции гражданского устройства духовенства. Причем этот довод был далеко не нов. Еще в марте 1791 г. аббат О. Баррюэль утверждал в одном из своих памфлетов, что проводимая Учредительным собранием реформа церкви — дело рук янсенистов⁹. На протяжении последующих ста с лишним лет это мнение не раз повторялось в сочинениях разных авторов¹⁰, пока наконец не получило весомое научное обоснование в диссертации Э. Преклена "Янсенизм XVIII века и гражданское устройство духовенства" (1929).

По мнению Э. Преклена, та активная роль, которую янсенисты сыграли в проведении церковной реформы 1790 — 1791 гг., определялась, прежде всего, их приверженностью идеям "ришеризма". Эта доктрина возникла еще в начале XVII в. в ходе борьбы между иезуитами и галликанским духовенством. Ее автором стал Эдмон Рише (1560 — 1631), некогда член Католической лиги, в дальнейшем отрекшийся от нее и занявший в 1608 г. пост синдика Университета. В своих сочинениях он доказывал, что принадлежащая вселенской церкви власть издания непогрешимых законов возложена на всю общину *пастырей*. Иначе говоря, если сторонники ультрамонтанства представляли церковь монархией с папой во главе, а гугеноты выступали за радикальную демократизацию ее устройства, признавая решающую роль за общиной прихожан, то Рише предлагал нечто среднее — умеренную аристократию, где полномочия папы были бы ограничены властью епископата и священников. Ведущую роль он отводил прелатам (первому сословию духовенства), однако и приходские священники (второе сословие) получали в его системе почетное место своего рода сената церкви. Собираясь на синоды под председательством епископа, они должны были участвовать в управлении епархией; а, будучи призваны на Собор, получали право решающего голоса¹¹.

Как показывает Э. Преклен, идеи ришеризма, быстро приобретшие популярность в среде галликанского духовенства, далеко не сразу встретили положительный прием у янсенистов. Однако начиная с 1675 г., в период спора французского короля и папы о регалии, сторонники янсенизма взяли на вооружение принципы

⁹ *Bonnaud [Barruel A.] Découverte importante sur la vrai système de la Constitution. P., 1791. P. 2, 27.*

¹⁰ См., например: *Michelet J. Histoire de la Révolution française. P., 1889. T. 1. P. 444 — 446.*

¹¹ *Préclin E. Les Jansénistes du XVIII^e siècle et la constitution civile du clergé. P., 1929. P. 2 — 4.*

Рише и на протяжении всего XVIII в. активно использовали их в борьбе против высшей церковной иерархии Франции¹². Во время же Революции янсенисты, введя гражданское устройство духовенства, сумели, как утверждал Э. Преклен, если и не в самой полной мере, то в значительной степени реализовать принципы ришеризма на практике. "Последователи Эдмона Рише, — писал этот автор, — находились среди активных ниспровергателей конкордата 1516 г., а значит — и среди активных ниспровергателей Старого порядка ... Таким образом, ришеризм принадлежит к числу политических и социальных причин Французской революции"¹³.

Солидное, хорошо фундированное исследование Э. Преклена на многие десятилетия определило характер освещения историками политической роли французского янсенизма в XVIII в. Однако сведенная исключительно к борьбе за осуществление идей ришеризма, эта роль выглядела слишком скромной, слишком ограниченной для того, чтобы можно было, действительно, отнести янсенистов к числу главных виновников падения Старого порядка.

Неудивительно, что и 60 лет спустя после выхода в свет работы Э. Преклена французский историк и философ Марсель Гоше, выступая в Версале на colloquium "Янсенизм и Революция", имел все основания заметить: "Причастность янсенизма к Революции до сих пор остается — феномен поразительный — чем-то вроде слуха. Слуха научного, но все же слуха, который, как и положено слуху, назойлив и противоречив"¹⁴.

Версальский colloquium состоялся 13—14 октября 1989 г. в рамках празднования 200-летия Революции. Многие из принявших в нем участие историков были относительно молоды и преисполнены желания наметить новые подходы к исследованию этой, уже весьма почтенной по возрасту темы. Точкой отсчета для большинства выступавших стала монография Э. Преклена, положения которой они подвергли строгому критическому анализу, попытавшись если и не полностью пересмотреть их, то, во всяком случае, существенно дополнить и скорректировать.

Так, Ян Фошуа, обратившись к центральному пункту работы Э. Преклена — вопросу о введении гражданского устройства духовенства — показал, что отношение янсенистов к данной мере, обычно упоминаемой в качестве их главного вклада в Революцию, было далеко не столь однозначно положительным, как это традиционно считалось со времен О. Баррюэля. Правда, когда-то и Э. Преклен делал на сей счет некоторые оговорки, признавая, что, хотя янсенисты и сыграли решающую роль в проведении церковной реформы, ее конкретное воплощение их устроило отнюдь не в

¹² *Préclin E.* Op. cit. P. 33—34.

¹³ *Ibid.* P. 538.

¹⁴ *Gauchet M.* La question du jansénisme dans l'historiographie de la Révolution // *Jansénisme et Révolution*. P. 15.

ольной мере¹⁵. Я. Фошуа, однако, пошел гораздо дальше, доказав, что эта реформа вызвала настоящий раскол в янсенистском движении¹⁶. Большинство депутатов-янсенистов в Национальном собрании и главный печатный орган движения *Nouvelles ecclésiastiques*, действительно, активно поддерживали новое устройство церкви, но ряд видных деятелей янсенистской оппозиции до-революционного периода, таких, например, как Г.Н. Мольтро и А. Жабино, выступил в 1790 г. с резкой критикой реформы¹⁷. Да и представленные в Собрании янсенисты были далеко не единодушны в отношении преобразований. Парадоксально, но после отказа равных депутатов обсуждать церковную реформу, главным ее критиком оказалось именно несогласное с ней янсенистское меньшинство, и "дебаты в основном свелись к диалогу между самими янсенистами"¹⁸. Иными словами, если введение гражданского устройства духovenства и стало в целом победой рижеризма, то далеко не все янсенисты оказались готовы этот триумф разделить.

Другая участница колоквиума, Катрин Мэр, подвергла критике подход Э. Преклена за то, что, сводя политическую идеологию янсенистов к рижеризму, он упустил из виду теологическую сторону идейной борьбы, развернувшейся вокруг буллы *Unigenitus*¹⁹. В центре внимания исследовательницы оказался кружок янсенистских богословов начала XVIII в., разработавших в стенах ораторианского коллежа *Сен-Малюар* новую теологическую философию истории — фигуризм. Название доктрины было связано с тем, что она предлагала оригинальную трактовку библейских символов (*figures*). Рассматривая священную историю как циклически повторяющуюся, сторонники фигуризма утверждали, что большинство священнослужителей отошли от божественной истины, как же, как это некогда сделали иудеи Ветхого Завета. Возрождения же Церкви следует ожидать от явления нового избранного народа, каковым янсенисты считали себя. В представлении приверженцев фигуризма булла *Unigenitus* посягала не столько на традиционные галликанские свободы, сколько на истинное толкование евангелия, а потому они призывали к самой бескомпромиссной борьбе против ее признания во Франции. По мнению Мэр, именно фигуризм стал первым решительным шагом к переносу религиозного противостояния в политическую сферу²⁰. Соответственно, его создателей она не без пафоса провозглашала едва ли не отца-

¹⁵ Préclin E. Op. cit. P. 535 — 536.

¹⁶ Fauchois Y. Les jansénistes et la constitution civile du clergé: au marges du débat, débat dans le débat // Jansénisme et Révolution. P. 195.

¹⁷ Ibid. P. 196 — 199.

¹⁸ Ibid. P. 200.

¹⁹ Maire C. Agonie religieuse et transfiguration politique du jansénisme // Jansénisme et Révolution. P. 104.

²⁰ Ibid. P. 109.

ми-основателями политической оппозиции во Франции XVIII в.: «Нет, это был не слух. "Янсенистская партия" в том смысле, какой тогда вкладывали в это слово, очень даже существовала, а именно — небольшая группа воинствующих теологов, организовавших подпольную оппозицию и призывавших к созыву Собора. Они стали предшественниками парламентских янсенистов»²¹.

Еще одна участница коллоквиума, Мовик Котре, обратилась к вопросу о соотношении идей янсенизма и философии Просвещения, рассмотрев его на примере творчества Ж.Ж. Руссо. Хорошо известно, что в 1762 г. проянсенистски настроенный Парламент Парижа фактически выступил заодно с Парижским архиепископом, осудив роман Руссо "Эмиль, или о Воспитании", хотя во всем остальном советники Парламента и высший клир занимали практически диаметрально противоположные позиции. Однако М. Котре убедительно показала, что янсенисты, официально порицая идеи Руссо как "новое пелагианство", на деле многое заимствовали из его учения. Например, критикуя судебную реформу канцлера Моу, они широко использовали понятие "общественного договора", который якобы нарушило правительство²². Были близки янсенистским идеологам и взгляды Руссо на взаимоотношения духовной и светской властей, его апология патриархального общества и неприятие роскоши²³. Не удивительно поэтому, что янсенисты активно применяли руссоистский дискурс в политических дискуссиях периода Французской революции. Правда, замечает М. Котре, это делали и сторонники, и противники Революции из числа янсенистов²⁴.

Американский исследователь Дэйл Ван Клэй поставил на коллоквиуме, казалось бы, парадоксальный вопрос — о религиозных (!) истоках Французской революции — и попытка установить преемственность между "янсенистской партией", составлявшей ядро антиправительственной оппозиции на протяжении большей части царствования Людовика XV, и "партией патриотов" — антиправительственной оппозицией кануна Революции.

На первый взгляд между двумя движениями было мало общего, поскольку в основе их конфликтов с властью лежали принципиально различные вопросы. "Янсенистская партия" сформировалась в начале XVIII в. для борьбы против признания во Франции буллы Unigenitus. Иначе говоря, конфликт, породивший эту оппозицию, носил прежде всего *религиозный* характер. "Партия патриотов" сложилась в ходе *политического* противостояния короны и парламентов, связанного с реформой Моу. Однако, проанализировав

²¹ Ibid. P. 104.

²² Cottret M. Les jansénistes juges de Jean-Jacques // Jansénisme et Révolution. P. 82.

²³ Ibid. P. 87—90.

²⁴ Ibid. P. 90—99.

содержание дебатов вокруг этой реформы в 1770–1775 гг., Ван Клей пришел к выводу, что между двумя оппозиционными движениями существовала прямая преемственность. В "янсенистскую партию", отмечает он, входили далеко не одни только янсенисты, но также сторонники галликанства и парламентского конституционализма²⁵. И когда наступление канцлера Мопу на традиционные судебные учреждения поставило под вопрос политические prerogatives парламентов, этот пестрый конгломерат оппозиционных элементов, закаленных в предшествующей борьбе с властями, составил основу новой оппозиции — "партии патриотов". Во главе памфлетной кампании против реформы Мопу — всего вышло около 500 антиправительственных сочинений — стоял, по мнению Ван Клея, адвокат Ла Пэж (La Paige), горячий сторонник янсенизма, лично написавший не менее 20 памфлетов²⁶.

Кроме того, отмечает историк, "патриотические" публицисты 1770-х годов для характеристики конфликта между правительством и советниками парламента использовали ту же терминологию, которая ранее использовалась янсенистскими авторами при описании противоречий между епископатом и приходскими священниками. Ряд же "патриотических" памфлетов и вовсе был проникнут идеями фигуризма²⁷. Все это позволило американскому исследователю сделать вывод о решающей роли янсенизма в формировании антиправительственной оппозиции в период, непосредственно предшествовавший Революции²⁸.

Вместе с тем, факты, приведенные Д. Ван Клеем, говорят о необходимости очень осторожно подходить к оценке вклада янсенистов в дебаты 1770-х годов, не допуская его преувеличения. Так, из 80 изученных исследователем брошюр он смог определить как собственно янсенистские только 38, то есть меньше половины²⁹. Впрочем, Ван Клей и сам делал соответствующую оговорку: «Надо признать, что традиция борьбы и политического дискурса, которую можно назвать "янсенистско-патриотической", не была единственной. Наряду с ней существовали и другие, с которыми она стала смешиваться задолго до 1789 г. Ни одна из них не дошла до Революции в чистом виде. Этот идеологический промискуитет, типичный для 1770-х и 1780-х годов, еще больше усилился под влиянием кризиса Старого порядка в последние годы перед Революцией»³⁰.

Чарльз О'Брайен в своем выступлении попытался установить преемственность между идеями янсенизма и политикой Револю-

²⁵ Van Kley D. Du parti janséniste au parti patriote (1770–1775) // Jansénisme et Révolution. P. 118.

²⁶ Ibid. P. 122–123.

²⁷ Ibid. P. 119–121.

²⁸ Ibid. 125.

²⁹ Ibid. P. 123.

³⁰ Ibid. P. 127.

ции, направленной на установление в обществе веротерпимости. На первый взгляд, такой подход может показаться не менее парадоксальным, чем предпринятая М. Котре попытка выявить связь между янсенизмом и руссоизмом, тем не менее и он, как показывает исследование данного историка, имеет под собой реальные основания. Парадоксальность состоит в том, что янсенизм был порождением Конгрессной реформации, а его основоположники считали себя наиболее последовательными противниками протестантизма. Действительно, отмечает Ч. О'Брайен, в XVII и на протяжении первой половины XVIII в. дело обстоит именно так: даже подвергаясь гонениям со стороны правительства Людовика XIV, духовные лидеры янсенистов Антуан Арно и Пьер Николь одобряли произведенную королем отмену Нантского эдикта. Но уже с середины XVIII столетия, утверждает историк, приверженцы янсенизма стали все более благосклонно относиться к идее веротерпимости, а в 1770-е годы уже прямо поддержали усилия Тюрго в пользу надсечения протестантов гражданскими правами. Главной же заслугой янсенистской элиты — немногочисленной и слабо структурированной группы судей, журналистов и чиновников — стало, по мнению Ч. О'Брайена, участие в подготовке и продвижении эдикта 1787 г. о предоставлении протестантам основных гражданских прав, явившегося первым шагом на пути к восторжествовавшей во время Революции религиозной свободе³¹.

Впрочем, несмотря на столь высокую оценку деятельности героев своего исследования, историк вынужден признать, что в борьбе за эдикт они выступали скорее в качестве вспомогательного отряда, нежели главных сил: "Хотя янсенисты и не входили в узкий круг таких государственных деятелей, как барон Бретей, Мальзерб и Лафайет, которые заставили принять эдикт о терпимости от 17 ноября 1787 г., они помогали формировать общественное мнение, сделавшее реформу возможной"³². Остается открытым и вопрос о том, в какой степени поддержка веротерпимости этой небольшой группой людей была обусловлена их принадлежностью к "янсенистской партии". Ведь те же самые янсенистские убеждения ничуть не помешали такому видному деятелю этой "партии", как Клеман де Буасси, резко выступить против принятия эдикта, заявив, что гражданская терпимость будет вредна для католической церкви и бесполезна для государства³³.

Еще более призрачной связь между янсенизмом и Революцией выглядит в интерпретации Бернара Шедозо. За начальный пункт своих рассуждений он взял фразу испанского аббата Л. Эрваси-Пандуро, автора многотомной "Истории рода человеческого"

³¹ O'Brien Ch. Jansénisme et tolerance civile à la veille de la Révolution // Jansénisme et Révolution. P. 131 — 133.

³² Ibid. P. 143.

³³ Ibid. P. 137 — 138.

1789 — 1799): "Именно в чтении Библии на языке простонародья, я читаю, находится источник Французской революции"³⁴. Отталкиваясь от этого утверждения, Б. Шедозо пришел к выводу, что янсенистов, действительно, можно признать предтечами Революции, поскольку они активно пропагандировали чтение Библии по-французски каждым верующим, причем не только под надзором священнослужителей, как того требовала официальная церковь, но, прежде всего, самостоятельно. Однако применима ли логика религиозно-публицистического произведения конца XVIII в. к современному научному исследованию? Если утверждение Б. Шедозо о том, что "доступ светских людей к священным книгам реально благоприятствовал либеральным идеям, учености, индивидуализму, критическому мышлению в усединении кабинета"³⁵, еще вполне можно приять (хотя, наверное, и следует заметить, что в XVII — XVIII вв. уже существовала обширная светская литература, чтение которой в гораздо большей степени способствовало развитию перечисленных качеств, чем изучение священных книг), то согласиться с тем, что, способствуя распространению печатного слова, Пор-Руаяль сыграл важную роль в формировании отдаленных истоков Французской революции³⁶, можно, пожалуй, только остав на точку зрения аббата Эрвас-и-Пандуро. Но в таком случае придется признать отдаленным предтечей Революции и самого Иоганна Гуттенберга.

Таким образом, на версальском коллоквиуме 1989 г. был наметен ряд новых подходов к проблеме генетической связи между янсенизмом и Французской революцией, отличных от предложенного Э. Прекленом. Правда, далеко не все они выглядели равнозначными. Так, Я. Фошуа, подвергнув концепцию Э. Преклена интересной и плодотворной критике, не выдвинул никакой собственной версии решения данной проблемы. Объект исследования Ч. О'Брайена был слишком узок, чтобы полученные выводы могли быть распространены на все движение янсенизма. И, наконец, этюд Б. Шедозо, содержащий, несомненно, весьма полезные сведения для изучающего историю книг и чтения, имел к проблеме "Янсенизм и Французская революция" лишь косвенное отношение.

Наиболее многообещающими из предложенных на коллоквиуме подходов представлялись, пожалуй, следующие: 1) янсенисты, разработав доктрину фигуризма, обеспечили идеологией антиправительственную оппозицию первой половины XVIII в. (К. Мэр); 2) "янсенистская партия" в 1770-е годы составила основу "партии патриотов" — политической оппозиции предреволюционного пе-

³⁴ Chédozeau B. Les traductions de la Bible, le jansénisme et la Révolution // Jansénisme et Révolution. P. 219.

³⁵ Ibid. P. 220.

³⁶ Ibid. P. 227 — 228.

риода (Д. Ван Клэй); 3) янсенистская идеология не была непроницаема для проникновения идей Просвещения и в сочетании с ними стала основой для дискурса Учредительного собрания (М. Котре). Именно эти три интерпретации и получили в дальнейшем развернутое обоснование в солидных монографиях, ставших для историографии темы едва ли не главным событием последнего десятилетия.

Первой, в 1996 г., появилась книга Д. Ван Клэя "Религиозные истоки Французской революции", переведенная в 2002 г. на французский язык³⁷. Несомненно заслуга ее автора состоит в том, что он сумел вписать янсенизм в более чем двухсотлетнюю историю межконфессиональной борьбы во Франции — начиная с Религиозных войн XVI в. и вплоть до Французской революции. Д. Ван Клэй показал, что янсенизм, как это ни парадоксально, оказался наследником обеих противоборствующих сторон эпохи Религиозных войн. Он имел доктринальную связь с традициями протестантизма, а в социальном плане выступал своего рода преемником Католической лиги: "По своему концептуальному и даже социальному содержанию янсенизм оказался во главе движения, объединявшего все, что было в политическом плане наиболее разрушительного в обоих лагерях религиозного конфликта XVI в."³⁸

Детально проанализировав историю янсенистского движения в XVIII в., Д. Ван Клэй пришел к выводу, что это столетие было веком религиозного соперничества ничуть не в меньшей степени, чем веком Просвещения. Более того, по мнению историка, "это противоборство [власти] с янсенистами, независимо от французского Просвещения, поставило абсолютизм Бурбонов на колени и опровергло последнее и основное оправдание его бытия — способность установить религиозный мир и успешно преодолеть религиозную вражду"³⁹.

Впрочем, если при освещении политических событий до 1770-х годов Д. Ван Клэй вполне успешно доказывает ведущую роль янсенистов в антиправительственной оппозиции, то в дальнейшем, по мере приближения к Революции, когда оппозиционное движение быстро расширяется, а янсенистская составляющая практически полностью растворяется в нем, тезис о центральном месте в политической жизни конфликта между янсенистами и властью выглядит уже далеко не столь убедительно. Что же касается собственно Революции, то непосредственный вклад в нее янсенистов Ван Клэй, как некогда и Э. Преклен, фактически свел к установлению гражданского устройства духовенства.

³⁷ Van Kley D. The Religious Origins of the French Revolution from Calvin to the Civil Constitution. L., 1996; Idem. Les origines religieuses de la Révolution française. 1560 — 1791. P., 2002.

³⁸ Van Kley D. Les origines religieuses de la Révolution française. P. 31.

³⁹ Ibid. P. 31 — 32.

М. Котре, выпустившая в 1998 г. монографию "Янсенизм и Просвещение", также призвала к пересмотру традиционного восприятия XVIII в. как века Просвещения⁴⁰. Рассмотрев многочисленные и разноплановые аспекты притяжения и отталкивания, соприкосновения и взаимопроникновения просветительской и янсенистской мысли, исследовательница пришла к выводу, что для правильного понимания многогранной и противоречивой духовной жизни той эпохи необходимо отказаться от сведения ее к "манихейскому" противостоянию двух полюсов — Просвещения и Церкви, поскольку ни то, ни другое не носило целостного характера. "Янсенисты, — пишет М. Котре, — это забытые герои нашей истории, несмотря на исследования, появившиеся после Преклена и Тавено. Им нет места в манихейском пантеоне. Чтобы говорить о великом противостоянии, нужен был образ единой Церкви, как ее сторонникам, так и ее противникам. Возможен ли, наконец, иной взгляд?"⁴¹ По мнению самой исследовательницы, вполне возможен, благодаря изменениям, произошедшим за последние десятилетия и в католицизме, и в обществе (разумеется, речь идет, прежде всего, о Франции). С одной стороны, католики, отказавшись от былой нетерпимости, сегодня могут уже со спокойным интересом внимать истории некогда оппозиционных направлений христианства, с другой — французское государство больше не считает церковь своим противником.

Монография М. Котре насыщена обильным фактическим материалом, тем не менее основной пафос книги состоит не столько в поиске решений уже поставленных проблем, сколько в определении горизонтов новых изысканий. В частности, исследовательница, в отличие от своего выступления на коллоквиуме 1989 г., практически обходит стороной вопрос о роли янсенистов в подготовке Французской революции.

Работа К. Мэр "От дела Бога к делу Нации", также вышедшая в 1998 г., продолжила ранее намеченную автором линию на изучение янсенистской теологии. Однако, в отличие от выступления на коллоквиуме, исследовательница уже далека от оптимистического намерения найти универсальный ключ к объяснению феномена янсенизма, каким ранее ей, похоже, казалась доктрина фигуризма. Более того, исчерпывающее объяснение этого феномена ей теперь представляется вообще невозможным: "Споры относительно природы янсенизма, без сомнения, столь же неизбежны, сколь и неразрешимы, поскольку в каждой из точек зрения есть доля истины. Янсенизм по сути своей противоречив. Он является одновременно и Реформацией, и Контрреформацией, а если точнее, Реформацией внутри Контрреформации"⁴².

⁴⁰ Cottret M. Jansénisme et Lumières. Pour un autre XVIII^e siècle. P., 1998. P. 303.

⁴¹ Ibid. P. 304.

⁴² Maire C. De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIII^e siècle. P., 1998. P. 14.

По мнению К. Мэр, единого янсенизма вообще не существовало. Даже те, кого традиция неизменно считала его отцами-основателями — Янсений и аббат Сен-Сиран, — имели, в действительности, далеко не схожие взгляды. Их духовная и идейная близость, была позднее сильно преувеличена последователями и противниками⁴³. Анализируя эволюцию движения, К. Мэр приходит к выводу, что в некотором роде можно даже говорить о нескольких янсенизмах, последовательно сменявших друг друга. Потерпев крах по той или иной причине, каждый из них был идеализирован последователями, став частью их исторической памяти. "Эта история, — пишет К. Мэр, — от начала и до конца представляет собой двойственное зрелище: процесс крушения, который непрестанно углублялся внешними и внутренними кризисами, и параллельно — работа над воссозданием по памяти того, что потеряно, борьба в реальном мире за возрождение идеального прошлого. Это символическое преобразование обеспечивало поступательную динамику, целившую от ран и утрат. Она же позволяла движению возрождаться, выходя за рамки первоначальной среды и приобретая более широкую социальную основу, которая обеспечивала его продолжение во все более светских формах"⁴⁴.

Что касается Французской революции, то К. Мэр не только не находит какой-либо генетической связи между нею и янсенизмом, но считает, что Революция привела его к окончательному краху. Правда, еще имела место последняя попытка воссоздания янсенизма "по памяти", а именно — упоминавшееся выше эссе Грегуара, сочинившего, по мнению исследовательницы, утопию, в которой он приписал янсенистам собственные представления о революционном идеале, гуманистическом и христианском⁴⁵. Однако янсенизм Грегуара являл собой скорее ностальгию по несбывшимся надеждам, нежели идеологию действия. Бывший революционер пришел к нему, уже после того, как вынужденно оставил политику. В своей же практической деятельности периода Революции он руководствовался совсем иными принципами⁴⁶.

Среди новейших работ о янсенизме, помимо трех названных монографий, следует, несомненно, выделить также книгу известного английского историка Уильяма Дойла "Янсенизм. Католическая оппозиция власти от Реформации до Французской революции" (2000). Его обращение к данной теме уже само по себе свидетельствует о ее нынешней актуальности, поскольку профессиональным коньком этого автора является обобщение проведенных другими специалистами конкретных исследований по наиболее животрепещущим на текущий момент вопросам европейской истории Старо-

⁴³ Ibid. P. 22.

⁴⁴ Ibid. P. 586.

⁴⁵ Ibid. P. 592—594.

⁴⁶ Ibid. P. 585—586.

порядка. Данная работа может рассматриваться в некотором роде как попытка подведения промежуточных итогов развития историографии по указанной проблематике к исходу XX столетия.

По мнению У. Дойла, научные изыскания последних лет позволили практически заново открыть янсенизм XVIII в., показав, что по своей исторической значимости он ничуть не уступал раннему янсенизму "героического" периода. Более того, стало очевидно, полагает английский профессор, что та роль в подрыве устоев Старого порядка, которую ранее приписывали исключительно Просвещению, во многом принадлежала янсенистам: «Их считают основным источником того дискурса сопротивления монархии, который озвучивало судебное чиновничество, и, соответственно, в конечном счете, — источником той "десакрализации" монархии, которая привела к царубийству и до Революции⁴⁷, и во время нее»⁴⁸.

Высшим достижением янсенистов У. Дойл считает осуществленное под их давлением изгнание в 1764 г. из Франции иезуитов. Этот момент стал, по мнению историка, и кульминацией всего янсенистского движения. Прежде единое, оно с исчезновением своего главного противника разбилось на отдельные течения, и его разрушительная энергия, высвободившаяся после падения иезуитов, была направлена в разные русла. В частности — против философии Просвещения. Говоря о взаимоотношениях янсенизма и просветительской мысли, У. Дойл подчеркивает их противоречия, в отличие от М. Котре, которая, как мы видели, акцентировала свое внимание на точках их соприкосновения и взаимопроникновения. Ссылаясь на анализ содержания газеты *Nouvelles Ecclésiastiques* за 1770-е и 1780-е годы, который произвел американский историк Дж. Макманнерс, У. Дойл заключает: «Отныне голос французского янсенизма звучал со все нарастающей силой, осуждая развитие свободомыслия и неверия. Обзор основных работ философов неизменно носил враждебный характер, ведь те, надевая человека свободой воли и способностью самосовершенствования, в конечном счете оказывались близки к иезуитам, столь осуждаемым св. Августином»⁴⁹.

Вместе с тем, отмечает У. Дойл, ощущение растущей угрозы для религии заставило часть янсенистов двинуться в неожиданном направлении. Стремясь сплотить всех христиан против распространявшегося безверия, они отказались от некогда враждебной позиции по отношению к протестантам и выступили в защиту гражданской терпимости⁵⁰.

⁴⁷ Имеется в виду покушение Дамьена на убийство Людовика XV в январе 1757 г.

⁴⁸ Doyle W. Jansenism. Catholic Resistance to Authority from the Reformation to the French Revolution. L.; N.Y., 2000. P. 4.

⁴⁹ Ibid. P. 80.

⁵⁰ Ibid.

Впрочем, и эти, и другие идеологические зигзаги, коими так изобиловала почти двухвековая история янсенизма и которые даже побудили ряд историков говорить о существовании нескольких янсенизмов, мало смущают английского профессора, поскольку, он, в отличие, например, от К. Мэр, не придает большой значимости идеологическому содержанию движения. "Многих трудностей, — полагает он, — можно избежать, если рассматривать янсенизм не как целостный идеологический феномен, а как серию исторических ситуаций. Доктрины, несомненно, присутствовали на каждой его стадии, но среди тех, кого называли янсенистами, и даже среди того меньшинства, кто хотел, чтобы его так называли, имело место широкое и часто варьирующееся многообразие взглядов. Общим для них было не столько содержание, сколько направленность. Янсенизм означал сопротивление существующей в католической церкви власти"⁵¹.

Что касается роли янсенистов в подготовке Французской революции, то она, заявляет У. Дойл, была весьма значительной, хотя серьезные историки всегда отрицали существование "янсенистского заговора". По словам У. Дойла, "янсенизм во Франции постоянно выражал оппозицию власти, и его часто даже называли республиканским. В XVIII в. он стал рационализировать свои оппозиционные настроения. В современной науке существует тенденция подчеркивать вклад янсенистских теоретиков, юристов и памфлетистов в разработку идеологии суверенитета нации и прав гражданина, появившуюся в 1788 — 1789 гг."⁵² Однако, когда речь заходит о конкретных фактах, автор книги сводит вклад янсенистов в Революцию, прежде всего, к двум основным моментам. Первый — влияние на выборы депутатов Генеральных штатов 1789 г. По мнению историка, развернутая янсенистами кампания против епископата, нашла, в частности, отражение в наказах духовенства, многие из которых изобиловали ригористской риторикой. В результате, наибольшее количество депутатских мест от первого сословия получили приходские священники⁵³.

Правда, У. Дойл вынужден признать, что число собственно янсенистов в палате первого сословия не превышало 30 человек. Да и то он относит к ним, например, А. Грегуара, принадлежность которого в тот момент к янсенистам далеко не бесспорна. Еще меньшим, по словам У. Дойла, оказалось представительство янсенистских магистратов в палате третьего сословия. И все же, по его мнению, несмотря на малочисленность, депутаты-янсенисты, благодаря своей активности, образованности и ораторским способностям, сыграли решающую роль еще в одном из "критических моментов" Революции, а именно — в принятии Учредительным собранием

⁵¹ Ibid. P. 87.

⁵² Ibid. P. 83.

⁵³ Ibid.

нового устройства церкви. Как видим, тут английский профессор отнюдь не оригинален, а лишь следует за предшественниками. И подобно им, он оговаривает, что далеко не все янсенисты согласились с церковной реформой, а многих из тех, кто ее одобрил, вскоре оттолкнули "уродливые сцены антиклерикализма", нередко сопровождавшие церемонию гражданской присяги священников⁵⁴.

Очевидное несоответствие в интерпретации У. Дойла между констатацией значительной роли янсенистов в подготовке Революции и более чем ограниченным набором фактов, приведенных в подтверждение этого тезиса, едва ли должно удивлять: в своих выводах автор работы опирался на материал конкретных исследований, проведенных коллегами, а у них, как мы уже видели, круг соответствующих фактов был также довольно узок.

* * *

Подведем итог. Версальский колокольный звон 1989 г. стал мощным импульсом для развития современных исследований по истории янсенизма. Двигнувшись намеченными на нем путями, ведущие специалисты в данной области существенно расширили наши представления о феномене янсенизма, однако к объяснению его связи с Французской революцией они, надо признать, практически не приблизились.

Похоже, эту связь тщетно искать в области идеологии. Ведь даже если и удастся вписать янсенизм в широкий контекст культуры Просвещения, как попыталась сделать М. Котре, это отнюдь не даст оснований автоматически причислить янсенистов к прямым "предтечам Революции", поскольку современная историография отказывается в таком звании и самим просветителям⁵⁵. И, уж тем более, все тонкости янсенистской теологии, блестяще проанализированные К. Мэр, утрачивают какое-либо значение с началом Революции, враждебной любой теологии вообще; так же, как различия в убранстве расположенных на берегу океана изящных японских домиков с бумажными стенами теряют какую-либо значимость перед приближающимся цунами.

Установить преемственность между янсенизмом и Революцией в сфере политики, чему посвящены усилия Д. Ван Клаэя, а вслед за ним и У. Дойла, задача тоже не из легких. Если на протяжении большей части XVIII в. политическая роль янсенистской оппозиции достаточно очевидна, то с 1770-х годов янсенизм вливается в гораздо более широкий поток оппозиционного движения и практически полностью теряется в нем, утрачивая свою идентичность.

⁵⁴ Ibid. P. 84.

⁵⁵ См., например: Шарль Р. Культурные истоки Французской революции, М., 2001.

Единственным очевидным к настоящему моменту вкладом янсенистов в Революцию по-прежнему признается лишь церковная реформа. Да и то, как показывают новейшие исследования, не без оговорок: значительная часть янсенистов встретила ее весьма враждебно.

Таким образом, несмотря на провозглашенную в 1989 г. задачу пойти дальше Э. Преклена в объяснении связи между янсенизмом и Революцией, историки, вступившие на эту стезю, все равно возвращаются к очерченному ими кругу фактов. И, похоже, им едва ли удастся выйти за пределы последнего без внесения существенных коррективов в методологию исследования. Изучая янсенизм как идеологический или политический феномен, эти исследователи, естественно, акцентируют свое внимание на тех его представителях, кого отличала наибольшая активность соответственно в идеологической или политической сфере, то есть, прежде всего, на верхушке движения, оставляя за рамками основную и более пассивную массу его рядовых членов. Характерно, что У. Дойл, суммируя исследования коллег, так определил "социальную основу" (*social dimension*) янсенизма: "Она почти всегда сводилась к ограниченному кругу интеллектуальной элиты"⁵⁶.

Однако подобный подход, в той или иной степени присущий всем рассмотренным выше авторам, является искусственно зауженным. Уже в трудах представителя предыдущего поколения французских историков янсенизма Рене Тавено (1911 – 2000) показано, что к числу приверженцев этого религиозного течения принадлежали не только отдельные группы университетских теологов и судейских чиновников, но и достаточно широкие круги мелкого духовенства, буржуазии (в тогдашнем понимании этого термина, то есть зажиточных горожан, не связанных с производственной деятельностью), а с XVIII в. — и крестьянства⁵⁷. Причем, как отмечал Р. Тавено, в выработке религиозных или политических теорий янсенизма даже исповедовавшие его священнослужители участвовали весьма слабо⁵⁸. Тем более это относилось к их пастве. Она воспринимала янсенизм не как доктрину, а как определенный образ повседневной жизни, подчиненный некой системе этических норм⁵⁹. Однако именно эта сторона янсенизма — как культуры повседневности — остается вне поля зрения его новейших исследователей. А может быть как раз здесь, в сфере социокультурной истории, и следует искать связь между янсенизмом и Революцией? Так, как это сделали исследователи масонства. Ведь и они более ста лет вращались в круге проблем идейно-политиче-

⁵⁶ Doyle W. Op. cit. P. 89.

⁵⁷ Taveneaux R. La vie quotidienne des jansénistes aux XVII^e et XVIII^e siècle. P., 1985. P. 115, 146 – 147.

⁵⁸ Ibid. P. 120.

⁵⁹ Ibid. P. 249.

ской истории, ведя бесконечные и мало что давшие науке споры о существовании или отсутствии "масонского заговора", пока наконец О. Кошен не предложил взглянуть на масонство как на социокультурный феномен, способствовавший вызреванию во Франции новых, демократических форм социальности. Столь радикальное изменение методологических подходов позволило исследователям вырваться из "заколдованного круга" мифа о "масонском заговоре" и перенести вопрос о влиянии масонов на подготовку Революции в принципиально иное, социокультурное измерение. Возможно, именно так надо подойти и к проблеме взаимоотношения между янсенизмом и Французской революцией.

А пока этого не произошло, до сих пор остаются актуальными слова М. Гоше, сказанные 15 лет назад на коллоквиуме в Версале: "Между янсенизмом и Революцией существует связь... Так это ощущали современники. У нас есть сильное искушение в большей или меньшей степени согласиться с ними, но, увы, у нас нет ключа для понимания этой связи, слух о которой нам нашептала история"⁶⁰.

⁶⁰ Gauchet M. Op. cit. P. 23.

Часть третья

ЛЮДИ-СИМВОЛЫ

В истории нередко встречаются имена-символы, имена-фантомы. Они ведомы каждому, кто хоть мало-мальски знаком с событиями соответствующей эпохи, и являются неотъемлемой частью общепринятых представлений о ней, однако даже специалисты едва ли могут многое рассказать о людях, носивших такие имена. Упоминают об этих персонажах, как правило, лишь для того, чтобы конкретизировать некую абстрактную идею, которую они символизируют. Обычно подобные упоминания авторы сопровождают кочующей из работы в работу стереотипной характеристикой данного лица, не задаваясь вопросом, насколько она соответствует реалиям.

Вот, к примеру, фраза академика А.Л. Нарочницкого из вузовского учебника новой истории, по которому училось не одно поколение будущих педагогов: "14 июля был убит Марат. Роялистка Шарлота Кордэ, совершившая это преступление, действовала в контакте с жирондистами"¹. В двух строках — три ошибки. И если одна связана с хронологией (Марат погиб 13-го), то две другие — результат воспроизведения расхожих стереотипов. На самом деле, республиканка Ш. Корде действовала исключительно *на свой страх и риск*.

Предлагаемые ниже вниманию читателей три биографических очерка посвящены как раз тем участникам революционных событий конца XVIII в., чьи имена давно уже превратились в символы. Шарлота Корде неизменно олицетворяет собой "белый террор", а Жорж Кутон — террор революционный. О "якобинце" же Павле Строганове постоянно вспоминают, когда хотят показать причастность русских к Французской революции. Так, кто же они, эти "люди-символы"?

¹ Новая история. Часть I (1640 — 1870 гг.). М., 1972. С. 145.

ШАРЛОТТА КОРДЕ И "ДРУГ НАРОДА"

Исчадые мятежей подьѣмлет злобный крик:
Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник.

Апостол гибели, усталому Аиду
Перстом он жертвы назначал,
Но вышний суд ему послал
Тебя и деву Эвмениду.

А.С. Пушкин "Кинжал"

13 июля 1793 г., в половине восьмого вечера, когда солнце клонилось к закату и черные тени домов становились все длиннее, когда крыши Парижа еще горели расплавленным золотом угасающего дня, а узкие улочки наполнялись густеющими сумерками, возле дома № 30 на улице Кордельеров остановился фиакр. Из кареты вышла красивая, стройная девушка и медленно направилась к дверям. Скромное светлое платье подчеркивало совершенство ее фигуры. Из-под круглой шляпы с зелеными лентами выбивались густые темно-русые волосы, отливавшие цветом ржаных колосьев, а розовая косынка на плечах оттеняла белизну благородного лица. Большие голубые глаза смотрели задумчиво и печально. Весь ее облик говорил о полной отрешенности от мирской суеты, как будто юное создание, еще ступая по земле, душой своей уже навсегда оставило земные заботы.

И это впечатление не было обманчивым. Девушка шла, чтобы убить и умереть. Она уже простилась с жизнью и в тот миг больше не принадлежала себе. Прекрасным ангелом смерти входила она в историю, и рок уже наделил ее губительной силой. С этого момента неминуемая гибель ожидает каждого, чье имя назовут ее уста. Вот она приблизилась к дверям и, громко, отчетливо произнося каждое слово, будто зачитала приговор, обратилась к привратнице: "Я хочу видеть гражданина Марата!"

Да, в этом доме жил сам Жан-Поль Марат, вождь и кумир парижской черни, одно из главных действующих лиц в великой драме Французской революции. Впрочем, правильнее сказать, не "жил", а "доживал" свои последние дни, медленно и мучительно спора от недуга, вызванного нервным перенапряжением. Целыми днями лежал он в ванне с теплой водой, работая над статьями для газеты или предаваясь размышлениям. В свои 50 лет Марат уже получил от судьбы то, к чему стремился всю жизнь и что считал высшим смыслом существования, ибо сильнее всего на свете он желал славы. Любовь к ней, как признавал он сам, была его главной страстью².

² Марат Ж.-П. Избранные произведения. М., 1956. Т. 3. С. 230.

В поисках славы он 16-летним юношей покинул отчий дом в швейцарском городке Невшатель и отправился странствовать по Европе. Его воодушевляло то, как много безвестных прежде людей "низкого" происхождения стали в Век Разума знаменитыми благодаря успехам в философии, науке и литературе. Чем только не занимался Марат в предреволюционные годы, но, увы, золотая птица удачи никак не давалась ему в руки. Попробовал он было написать сентиментальный роман в духе Руссо, однако сочинение получилось настолько слабым, что сам автор не решился его опубликовать. Во время движения за парламентскую реформу в Англии Марат попытался приобрести популярность там, издав антиправительственный памфлет, однако благоразумные англичане пренебрегли советом эксцентричного иностранца свергнуть монарха и назначить "добродетельного" диктатора. Тогда Марат решил испробовать свои силы на поприще философии и... опять потерпел крах. Хотя "гранды" Просвещения Вольтер и Дидро обратили внимание на его трехтомный опус, однако сочли сей труд философским курьезом и обидно высмеяли неопита, обозвав "чудаком" и "арлекином"³.

Но главные надежды на осуществление заветной мечты о славе Марат связывал с естественными науками. Не жалея времени, он постигал премудрости медицины, биологии и физики. Став придворным врачом брата французского короля, он дни и ночи напролет проводил в лаборатории, перебирая окровавленными руками пульсирующие внутренности заживо разрезанных животных или до боли в глазах вглядываясь в темноту, чтобы увидеть "электрическую жидкость". Увы, результат оказался непропорционален затраченным усилиям. Теоретическое объяснение Маратом его опытов не выдерживало никакой критики, а потому претензии самоуверенного выскочки на "развенчание" научных авторитетов ("мои открытия о свете ниспровергают все труды за целое столетие!"⁵) вежливо, но твердо отклонялись академической средой. На что только не шел он, добиваясь признания: анонимно публиковал хвалебные отзывы о собственных "открытиях", клеветал на оппонентов и даже прибегал к откровенному жульничеству!⁶ Однажды, когда он публично доказывал, что резина якобы проводит электричество, его уличили в том, что он спрятал в ней металлическую иголку⁷. Ущемленное самолюбие, болезненная реакция на любую

³ См.: Фридлянд Ц. Жан-Поль Марат и гражданская война XVIII в. М., 1959. С. 90—91.

⁴ Марат Ж.-Л. Письма. М., 1923. С. 14-15.

⁵ Марат Ж.-Л. Избранные произведения. Т. 3. С. 232.

⁶ Подробно о научной деятельности Марата см.: Cabanès. Marat inconnu. l'homme privé, le médecin, le savant, d'après des documents nouveaux et inédits. P., 1911.

⁷ См.: Араго Д. Ф. Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров. СПб., 1859. Т. 1. С. 298; Тэн И. Происхождение современной Франции. М., 1907. Т. 4. С. 86.

критику, крепнущая год от года убежденность в том, что он окружен "тайными врагами", завидующими его таланту, и вместе с тем непоколебимая вера в собственную гениальность, в свое высочайшее историческое призвание — всего этого было слишком много для простого смертного. Раздираемый неистовыми страстями, Марат едва не сошел в могилу от тяжелейшего первого недуга, и только начавшаяся Революция вернула ему надежду на жизнь.

С бешеной энергией бросился он разрушать Старый порядок, при котором не сбылись его честолюбивые мечты. Уже с 1789 г. издававшаяся им газета "Друг народа" не имела себе равных в призывах к самым крутым мерам против "врагов свободы". Причем в число последних Марат постепенно включил не только окружение короля, но и большинство крупнейших деятелей Революции. Долой осторожные реформы, да здравствует народный бунт, жестокий, кровавый, беспощадный! — вот лейтмотив его брошюр и статей. В конце 1790 г. Марат писал: "Шесть месяцев тому назад пятьсот, шестьсот голов было бы достаточно... Теперь... возможно, потребуется отрубить пять-шесть тысяч голов; но, если бы даже пришлось отрубить двадцать тысяч, нельзя колебаться ни одной минуты"⁸. Два года спустя ему уже мало этого: "Свобода не восторгается, пока не отрубят преступные головы двухсот тысяч этих злодеев"⁹. И слова его не остались пустым звуком. Момпенизированная толпа, низменные инстинкты и устремления которой он издавна в день будил своими произведениями, с готовностью откликалась на его призывы.

Ненавидимый и презираемый даже политическими союзниками, у кого еще сохранились представления о чести и порядочности, но боготворимый чернью всей Франции, Марат наконец-то был счастлив: он поймал-таки заветную птицу славы. Правда, она имела страшное обличье гарпии, с ног до головы забрызганной человеческой кровью, но все же это была настоящая, громкая слава, ибо имя Марата гремело теперь на всю Европу¹⁰.

А еще зтот преждевременно постаревший, неизлечимо больной человек хотел власти. И он ее получил, когда взбунтовавшийся парижский плебс изгнал 2 июня 1793 г. из Конвента правящую

⁸ Марат Ж.-П. Избранные произведения. М., 1956. Т. 2. С. 235.

⁹ Там же. Т. 3. С. 292.

¹⁰ Слава эта надолго пережила самого Марата. В XIX и XX вв. "якобинская" историография создала крайне идеализированный образ Друга народа, постаравшись затушевать самые темные стороны его общественной и политической деятельности. В то же время однозначно негативная оценка его консервативными историками нередко носила излишне эмоциональный характер. Лишь немногие авторы сумели избежать обеих крайностей. См., например: *Gottschalk L.R. Jean Paul Marat. A Study in Radicalism.* N.Y., 1966; *Генифе П. Марат — идеолог Террора // ВИ.* 2003. № 4. С. 150 — 156.

“партию” жирондистов. Блестящие ораторы и горячие республиканцы, избранные большинством голосов в своих департаментах, эти представители просвещенной элиты не смогли найти общий язык с чернью столицы, властителем дум которой был Марат. Угроза расправы побудила их бежать в провинцию, чтобы там организовать отпор произволу парижан.

И как будто само Провидение привело жирондистов в нормандский городок Кан, где уединенно и скромно жила девушка по имени Мария Анна-Шарлотта де Корде д'Армон¹¹. Праправнучка великого поэта и драматурга Пьера Корнеля, она принадлежала к обедневшему дворянскому роду и в свои неполных 25 лет успела познать и нужду, и нелегкий сельский труд. Воспитанная на республиканских традициях античности и на идеалах Просвещения, она искренне сочувствовала Революции и с живым участием следила за происходившим в столице. События 2 июня болью отозвались в ее сердце. Рушилась, не успев утвердиться, просвещенная республика, а ей на смену шло кровавое господство разнузданной толпы под предводительством честолюбивых демагогов, главным из которых был Марат. С отчаянием взирала Шарлотта на опасности, угрожавшие Родине и свободе, и в душе ее росла решимость во что бы то ни стало спасти Отчизну, пусть даже ценой собственной жизни.

Прибытие в Кан вождей жирондистов — бывшего мэра Парижа Жерома Петиона, избранника марсельцев Шарля-Жана-Мари Барбару, других известных всей Франции депутатов — и выступление молодых волонтеров из Нормандии в поход против парижских узурпаторов еще больше укрепили Шарлотту в ее намерении сберечь жизни этих доблестных людей, убив того, кого она считала виновником разгоравшейся гражданской войны. И тогда, не сказав никому ни слова о своих планах, она отправилась в столицу. Так она оказалась в доме на улице Кордельеров.

Когда Шарлотта вошла в сумрачную и полупустую комнату, Марат сидел в ванне, покрытой грязной простыней. Перед ним на доске белел лист бумаги. “Вы прибыли из Кана? Кто из бежавших депутатов нашел там прибежище?” Шарлотта, медленно приближаясь, назвала имена, Марат записал. (Если бы только она знала, что эти строки приведут их на эшафот!) Марат зло усмехнулся: “Прекрасно, скоро все они окажутся на гильотине!” Больше он ничего не успел сказать. Девушка выхватила спрятанный под косынкой нож и изо

¹¹ В XIX — начале XX в. французскими историками, принадлежавшими в основном к либерально-республиканской традиции, были собраны и опубликованы многочисленные документы, подробно освещающие жизнь Ш. Корде. События же последних ее дней благодаря обилию источников можно восстановить с точностью едва ли не до минуты. См., например: *Huard A. Mémoires sur Charlotte Corday d'après des documents authentiques et inédits. P., 1866; Defrance E. Charlotte Corday et la mort de Marat. Documents inédits. P., 1909.*

всех сил вонзила его в грудь Марата. Тот страшно закричал, но, когда в комнату вбежали люди, "Друг народа" был уже мертв...

Шарлотта Корде пережила его на четыре дня. Ее еще ожидали гнев разъяренной толпы, жестокие побои, врезавшиеся в кожу веревки, от которых руки покрылись черными кровоподтеками. Она мужественно перенесла многочасовые допросы и судебный процесс, спокойно и с достоинством отвечая следователям и прокурору:

— Почему вы совершили это убийство?

— Я видела, что гражданская война готова вспыхнуть по всей Франции, и считала Марата главным виновником этой катастрофы.

— Столь жестокий поступок не мог быть совершен женщиной вашего возраста без чьего-либо подстрекательства.

— Я никому не говорила о своем замысле. Я считала, что убиваю не человека, а хищного зверя, пожирающего всех французов.

— Неужели вы думаете, что убили всех Маратов?

— Этот мертв, а другие, может быть, устроятся.

При обыске у девушки нашли написанное ею "Обращение к французам, друзьям законов и мира", где были и такие строки: "О моя Родина! Твои несчастья разрывают мне сердце. Я могу отдать тебе только свою жизнь и благодарю Небо за то, что свободна располагать ею".

Жарким, душным вечером 17 июля 1793 г. Шарлотта Корде, обложенная в алое илатье "отцеубийцы", взшла на эшафот. До самого конца, как свидетельствуют современники, она сохраняла полное самообладание и лишь на мгновение побледнела при виде гильотины. Когда казнь свершилась, помощник палача показал зрителям отрубленную голову и, желая им угодить, нанес ей пощечину. Но толпа ответила глухим рокотом возмущения...

Трагическая судьба девушки из Нормандии навсегда осталась в памяти людей как образец гражданского мужества и беззаветной любви к родине. Однако последствия ее самоотверженного поступка оказались совершенно иными, чем те, на которые она рассчитывала. Жирондисты, те, кого она хотела спасти, были обвинены в сообщничестве с нею и казнены, а смерть "Друга народа" стала для других Маратов предлогом сделать террор государственной политикой. Адское иламя гражданской войны поглотило принесенную ему в жертву жизнь, но не погасло, а взметнулось еще выше.

— Чья это могила? — я спросил, и мне ответил голос из земли:

— Это могила Шарлотты Корде.

— Я нарву цветов и осыплю ими твою могилу, потому что ты умерла за Родину!

— Нет, не рви ничего!

— Тогда я найду плакучую иву и посажу у твоей могилы, потому что ты умерла за Родину!

— Нет, не надо цветов, не надо ивы! Плачь! И пусть твои слезы будут кровавыми, потому что я напрасно умерла за Родину".

(Ф. Клопшток)

"МИР В ОБЛАКАХ" ЖОРЖА КУТОНА

Так пустились они в плавание без руля и ветрил по этому кровавому морю, где террор вечно порождает террор.

Э. Кине "Революция"

Кто из читавших что-либо о Французской революции XVIII в. не слышал о "триумvirате" Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона, который правил Республикой на протяжении самого тяжелого года ее существования? Вопрос, конечно, чисто риторический. Нет такой работы, посвященной якобинскому периоду Революции, где три вождя монтаньяров не упоминались бы через запятую как вершители судеб французской нации в смутную годину Великого террора. Ни один из них в те роковые месяцы не отделял себя от двух других: идеи и политика — все было общим. Известный исследователь Революции Ж. Мишле назовет их позднее "Робеспьером в трех лицах"¹, подчеркнув единство в словах и действиях. Не разделили их и враги: все трое закончили жизни в один день на одном эшафоте.

Однако после смерти история уготовила им разные судьбы. Робеспьер и Сен-Жюст все двести лет, минувших с той поры, неизменно привлекали внимание историков и литераторов. Каталог их жизнеописаний насчитывает десятки, если не сотни названий. Хорошо известны их портреты: на страницах едва ли не каждого учебника о том времени мы видим строгое лицо чопорного провинциального адвоката с холодным взглядом диктатора и чеканный профиль юного красавца, не знающего сомнений и жалости. Их сочинения неоднократно издавались на родине и были переведены во многих странах.

На фоне столь активного интереса к делам и мыслям Робеспьера и Сен-Жюста посмертная судьба Кутона кажется удивительно несправедливой. На протяжении более чем двухсот лет, миновавших после Революции, о нем не было написано ни одной монографии, хотя таковых удастаивались даже гораздо менее значительные деятели той эпохи. Его жизнеописания сводились к ряду довольно кратких биографических очерков, два из которых, правда, принадлежали классикам историографии Французской революции — А. Олару и А. Собулю². И даже появление в 1996 г. первой монографии о Кутоне ничуть не улучшило ситуации, поскольку

¹ *Michelet J. Oeuvres complètes. Révolution française. P., 1899. T. 7. P. 5.*

² См.: *Aulard A. Les orateurs de la Révolution. P., 1907. T. 2; Soboul A. Portraits de révolutionnaires. P., 1986.*

эта, выполненная крайне небрежно, работа Мартины Браконье изобилует огромным количеством грубых ошибок, если не прямых фальсификаций³.

В посвященных Революции сочинениях общего характера сведения о Кутоне ограничиваются, как правило, сообщением о том, что при Старом порядке он был юристом и что страдал тяжелой болезнью, приведшей к параличу ног. Его портреты публиковались крайне редко и долгое время были практически неизвестны широкому кругу читателей, как и его произведения. После публикации в 1872 г. овернским эрудитом Франциском Межем (Mège) томика писем Кутона сочинения последнего отдельным изданием во Франции больше не выходили. Единственное же в мире собрание "Избранных произведений" Ж. Кутона, выпущенное к 200-летию его смерти, увидело свет далеко за рубежами его родины⁴.

Чем объяснить подобное отношение исследователей к одной из центральных фигур Французской революции? Во всяком случае, отнюдь не отсутствием интереса к самой Революции и, в частности, к такой чрезвычайно важной проблеме ее истории, как идеология и практика робеспьеризма. Думаю, взоры ученых, занимавшихся данной темой, были обращены, прежде всего, на товарищей Кутона по "триумvirату" потому, что именно Робеспьер и Сен-Жюст наиболее полно обосновали и описали тот социальный идеал, который "партия" робеспьеристов настойчиво пыталась воплотить в жизнь. Кутон же, выполняя огромный объем черновой работы по применению этих принципов на практике, не поднимался на столь высокий уровень теоретических обобщений, как его соратники.

И все же без знания произведений Кутона — произнесенных им речей и докладов, вышедших из под его пера постановлений, декретов и писем, — являвшихся своего рода мостиком между высокой теорией и повседневной политикой, наши представления о феномене робеспьеризма, о первой попытке осуществить утопический идеал в масштабах целой страны средствами революцион-

³ Braconnier M. Georges Couthon, Conventionnel auvergnat ou les métamorphoses de la Raison. Saint Julien-Chapteuil, 1996. Ограничусь одним, но весьма ярким примером обращения М. Браконье с источниками. Объясняя, почему она не использовала в своей монографии материалы личного архива Кутона, конфискованные у него после ареста (Archives nationales. Т. 566. Papiers saisis chez Couthon), то есть основной фонд документов, имеющих отношение к данному персонажу, М. Браконье сообщает: "Картон практически пуст. Будучи некогда разграблен, он содержит не более 11 единиц хранения" (Braconnier M. Op. cit. P. 273). Однако тем самым она явно вводит читателя в заблуждение, ибо, на самом деле, этот исключительно богатый фонд содержит сотни документов, в чем мне в 1996 г. довелось убедиться лично.

⁴ Кутон Ж. Избранные произведения 1793 — 1794. М., 1994.

ного насилия, безусловно, останутся неполными. Тем более что постоянное участие в практической деятельности побуждало Кутона более конкретно и откровенно излагать то, что его коллеги облекали в туманные покровы абстрактной метафизики. Обратившись к словам и делам героя давно прошедших дней, мы можем увидеть, как проступают сквозь дымку времени неповторимые черты его личности, а на смену имени-символу приходит образ реального человека, сыгравшего одну из главных ролей в великой трагедии Французской революции.

* * *

Жорж Кутон — четвертый ребенок нотариуса Жозефа Кутона и дочери купца Марии Лафон — родился 22 декабря 1755 г. в местечке Орсе провинции Овернь. Профессия юриста передавалась в семье из поколения в поколение, и неудивительно, что Жорж вступил на ту же стезю. Юношей он изучал право в Риоме и Клермоне, работая клерком у местных прокуроров, затем был принят на факультет права в Реймсе. Здесь давали далеко не самое лучшее образование, а потому сюда попадали те, кто не имел возможности учиться в более престижных университетах.

В 1783 г. Кутон начинает адвокатскую практику в Клермоне, обзаводится семьей. Он добропорядочный буржуа, может, не слишком преуспевающий, но с хорошей репутацией в этом крохотном провинциальном мирке, где о каждом известно все. По свидетельствам современников, в том числе тех, кто порицал его революционную деятельность, Кутона в Клермоне знали как человека мягкого нрава, честного, рассудительного, избегающего конфликтов. Его земляк, роялист К.И. Барант, много лет спустя писал о Кутоне: "У него было доброе и привлекательное лицо, характер — пылкий и восторженный, но в то же время — мирный и простой. Своим радужным отношением и неистощимой доброжелательностью к окружающим он завоевал всеобщую симпатию и вскоре приобрел множество друзей"⁵. О человеколюбии молодого юриста говорили и его поступки. Вместе с приходским священником и несколькими наиболее благочестивыми прихожанами он входил в местное бюро благотворительности. Кроме того, как правоведа он бесплатно консультировал бедняков и помогал больницам⁶.

Натура тонкая и чувственная, Кутон был весьма любвеобилен и в отношениях с женщинами, как сам позднее утверждал, не знал

⁵ Цит. по: Soboul A. Op. cit. P. 93; см. также аналогичное свидетельство авторов контрреволюционного издания: *Dictionnaire biographique et historique des hommes marquans de la fin du dix-huitième siècle*. L., 1800. T. I. P. 356.

⁶ Boudet M. *Les conventionnels d'Auvergne*: Dulaure. P., 1874. P. 399.

меры, допуская вредные для здоровья излишества⁷. Наверное, об этом не стоило бы и вспоминать, если бы не случай, имевший для него трагические последствия. Свидетельства современников о происхождении тяжкого недуга, сделавшего Кутона калекой, расходятся в деталях, но совпадают в том, что виной всему оказалась очередная любовная история. Согласно наиболее распространенной версии, идя ночью на свидание, он заблудился, увяз по пояс в плывуне, что вызвало переохлаждение и в дальнейшем серьезные осложнения для здоровья⁸. Болезнь прогрессировала, и если в 1790 г. он еще мог передвигаться, опираясь на палку, то уже год спустя ноги его оказались полностью парализованными. Но все это произойдет несколько позднее, а пока симпатичный молодой адвокат наслаждается жизнью, более или менее успешно ведет дела в суде и, подобно многим другим просвещенным современникам, на досуге участвует в деятельности литературного общества и местной масонской ложи св. Мориса. Объединения такого рода — ложи, провинциальные академии, литературные и научные кружки — представляли собой своеобразный "инкубатор" новых форм социальности. Признания и одобрения здесь можно было добиться только талантом и эрудицией; благородное происхождение и высокое место в государственной иерархии не давали никаких преимуществ. Деятельность таких ассоциаций строилась на демократической основе — руководителей выбирали. Здесь приобретались и навыки свободной дискуссии. Неудивительно, что в государстве, где подавляющее большинство населения не имело доступа к политике, подобные сообщества были теми "школами демократии", откуда вышли люди, ставшие душой Революции как в центре, так и на местах.

Вместе с другими членами литературного общества Клермона Кутон увлеченно предавался занятиям изящной словесностью и, по-видимому, небезуспешно. По крайней мере, один из его литературных опытов заслужил одобрительный отзыв на страницах провинциальной газеты: «В конце заседания была заслушана "Речь о терпении". Эта работа, изящно написанная и с выражением прочитанная, полностью соответствует прекрасному характеру г-на Кутона, ее автора и исполнителя»⁹. Заметную роль Кутон играл и на собраниях масонской ложи, где занимал высокую должность "первого смотрителя", уступавшую по значимости только должности "достопочтительного" (председателя ложи)¹⁰.

Когда началась Революция, движение за преобразования возглавили представители просвещенной элиты: либерально настроенные дворяне, юристы, лица свободных профессий. Кутон, при-

⁷ Aulard A. Op. cit. P. 434.

⁸ Ibid. P. 433.

⁹ Цит. по: Boudet M. Op. cit. P. 109.

¹⁰ Ibid. P. 108.

надлежавший к этой наиболее активной части общества и пользовавшийся у себя в городе доброй репутацией и немалым авторитетом, быстро выдвинулся в число самых решительных борцов со Старым порядком. После восстания парижан 13 – 14 июля 1789 г. по стране покати́лась волна "муниципальных революций", радикально изменивших состав местных органов власти. В те дни Кутон стал членом муниципалитета Клермона и вскоре приобрел весьма значительное влияние. Через год граждане дистрикта доверили ему пост председателя суда. Тогда же он выступил одним из основателей Общества друзей конституции, созданного по образцу парижского Клуба якобинцев.

Однако бурная деятельность на новом поприще далеко не сразу привела к значительным изменениям взглядов и характера Кутона: в этот период он еще проявлял осторожность и осмотрительность, склонность к компромиссам и сглаживанию противоречий. Так, агитируя в муниципалитете за "гуманитарную подписку" в помощь малоимущим, он выдвигал следующий аргумент: "Удовлетворяя насущные потребности бедных, вы непременно обеспечите безопасность богатых"¹¹.

Духом компромисса проникнуто и единственно известное нам художественное произведение Кутона – пьеса "Обращенный аристократ", написанная в июне 1791 г. Это диалог двух дворян: дядюшки, горячего поклонника Революции, и племянника, еще не выбравшего к какой стороне прикнуться. В конце концов, красноречие первого возымело успех, и вот уже его собеседник торжественно провозглашает: "Нет, я больше не сопротивляюсь. Радуйтесь, уважаемый человек, своей полной победе. Я принял ваши принципы, проникся вашим духом, загорелся вашим патриотизмом и вместе с вами славлю эту благотворную Конституцию, которую прежде не понимал, отчего в душе сожалелю, что так долго был жертвой заблуждения и предрассудков"¹². В уста своего героя автор вложил и слова поддержки ограниченной монархии, которую предпочитал республике, ибо считал, что к той народ еще не готов, из-за чего демократию легко может сменить тирания. Таковы были воззрения Жоржа Кутона на исходе второго года Революции: конституционный монархист, сторонник постепенных и осторожных преобразований.

Попытка Людовика XVI скрыться за границей, пресеченная в Варенне, подорвала веру французов в "короля-патриота", изменила их отношение к монархии. Идея республики получала все большее распространение. Убеждения Кутона также быстро радикализировались. Впрочем, сие отнюдь не означало, что его политическая эволюция являлась всего лишь отражением меняющихся настроений общества. Ее обусловили и определенные качества его

¹¹ Цит. по: *Soboul A. Op. cit. P. 95.*

¹² Цит. по: *Aulard A. Op. cit. P. 431 – 432.*

личности. Уже первые успехи на поприще общественной деятельности пробудили в нем особый вид честолюбия, свойственный политикам, а именно — неутолимую жажду власти. Поскольку в годы Революции успехи того или иного политического деятеля во многом зависели от степени его популярности, Кутон хорошо овладел искусством нравиться избирателям. Однако при этом он несколько не походил на тщеславного демагога, умивающегося самим фактом своего господства над толпой. В неустанном стремлении Кутона к власти проявлялась мессианская одержимость идеей, что он призван облагодетельствовать род людской. Несчастный калека, которого несут лишил простых земных радостей, мечтал о бессмертной славе избавителя человечества от бед и тягот этой жизни. Отсюда — обостренная нетерпимость ко всему, что, по его мнению, могло этому воспрепятствовать. А Олар обратил внимание на лобопытную закономерность: взгляды Кутона менялись по мере обострения его болезни. Чем сильнее он страдал физически, тем жестче относился к оппонентам. "Было что-то лихорадочное и болезненное в той энергии, которую он обращал против врагов робеспьеристской политики", — отмечал Олар¹³.

Когда наступила пора выборов в Законодательное собрание, ассамблея выборщиков департамента Пюи-де-Дом (так в соответствии с новым административным делением стала называться Нижняя Овернь) поначалу даже не рассматривала его в качестве возможного кандидата, считая, что он просто физически не способен выполнять обязанности депутата. Тогда Кутон выдвинул себя сам и убедил присутствующих проголосовать за него. Так начался парижский период его деятельности.

Уже на одном из первых заседаний Собрания, посвященном обсуждению процедурных вопросов, Кутон выступил с дерзким предложением радикально изменить порядок приветствия короля. Достаточно и того, заявил он, чтобы депутаты вставали и снимали шляпы при появлении монарха, но, как только тот займет свое место, они тоже должны садиться. Кроме того, он потребовал лишить короля привилегии сидеть в Собрании на особом, роскошно украшенном кресле. Обращаться же к монарху отныне надо было, по мнению Кутона, не "Сир" или "Ваше Величество", а просто — "король французов"¹⁴. Сам по себе подобный демарш не требовал большой смелости, ибо Людовику XVI за два с лишним года Революции, а тем более после неудачной попытки эмигрировать не раз приходилось терпеть и большее унижение. Однако то, что неизвестный депутат из Оверни, выказав столь явное неуважение к главе государства, не только не получил отпор, но, напротив, снискал одобрение большинства коллег, свидетельствовало об окончатель-

¹³ Ibid. P. 432 — 433.

¹⁴ Archives parlementaires de 1787 à 1860. Ser. 1. P. 1890. T. 34, P. 83. (Далее: AP).

ном падении престижа монархии. После такого парламентского дебюта имя Кутона прогремело на всю страну.

Однако, добившись столь громкой, хотя и несколько скандальной славы, Кутон в последующие месяцы отходит в тень, проявляя присущие ему сдержанность и осмотрительность. И в Собрании, и в Якобинском клубе он выступает редко, больше слушает других. Зато, если ему все же приходится говорить, он демонстрирует хорошие ораторские способности, легко и надолго овладевая вниманием аудитории. "Лицо его имеет матовый оттенок, черты тонкие и строгие, взгляд одновременно и доброжелательный, и страстный, голос уверенный, но легко передающий волнение; вот он неподвижно сидит на своем месте, лаская с задумчивым видом щенка, которого постоянно держит на коленях. Говорит благородно, интересно, доступно, всегда низким и взволнованным голосом", — таким запечатлела Кутона память современника¹⁵.

Любопытно, что Кутон был единственным депутатом, которого никогда не перебивали. Коллеги, в том числе политические противники, выражали таким образом сочувствие человеку, ставшему инвалидом в столь молодом возрасте. Справедливости ради, однако, надо заметить, что сам он злоупотреблял подобным к нему отношением и не упускал возможности лишний раз напомнить о болезни для придания вящей убедительности своим словам. Во время дискуссии он, не находя, видимо, других аргументов, не раз заявлял: вы спорите с тем, кто одной ногой уже в могиле! Разумеется, это действовало безотказно: оппонентам ничего не оставалось, как уступить.

Наиболее значительную речь в Законодательном собрании Кутон произнес 29 февраля 1792 г., обосновывая необходимость пересмотра в пользу крестьян аграрного законодательства. "Несчастный, — говорил он о земледельце, — не имеющий ничего, кроме собственных рук, никакого имущества, кроме заступа, не вправе использовать их даже для удовлетворения своих нужд. Природа предоставляет ему бесплодную, заброшенную землю, покрытую с самого сотворения мира уродливыми глыбами. Но если он захочет удобрить своим потом эту часть великого всеобщего достояния, то во время сбора урожая появится его бывший сеньор, чтобы отнять четвертую или по меньшей мере пятую часть плодов во имя мнимого права абсолютной собственности"¹⁶. В этом фрагменте налицо две характерные особенности взглядов Кутона: искренняя, хотя и несколько абстрактная симпатия к простому люду и довольно смутное представление о реальном положении дел в деревне. Так, названные им размеры еще сохранявшихся в то время остатков сеньориальных платежей откровенно завышены. Что же касается позитивной части его выступления, то, как отмечал известный

¹⁵ Цит. по: *Soboul A. Op. cit. P. 96.*

¹⁶ *AP. P., 1892. T. 39. P. 195.*

специалист по аграрной истории А.В. Адо, "предложения Кутона отставали от требований, к которым уже пришла революционная деревня"¹⁷.

В целом за год работы в Законодательном собрании Кутон приобрел репутацию решительного противника королевской власти. Однако ему были чужды ультрареволюционный экстремизм левых якобинцев и кордельеров.

Будучи одним из идеологов ниспровержения монархии, Кутон, тем не менее, не смог воочию увидеть плоды своих усилий: в день восстания 10 августа 1792 г. его не было в Париже, так как он находился на лечении в курортном местечке Сент-Аман. Впрочем, данное обстоятельство неожиданно обернулось для него своеобразной выгодой: в отличие от ряда видных деятелей Революции, он не скомпрометировал себя растерянностью и колебаниями в решающие часы борьбы и в то же время незримо участвовал в восстании как идейный вдохновитель. Неудивительно, что в дальнейшем молва отвела ему важную роль в происшедших событиях. Например, знаменитый журналист Приюдом позднее сообщит, что якобы именно на квартире Кутона собирались для подготовки восстания революционные вожди — Робеспьер, Марат, Дантон, герцог Орлеанский, Петион и др.¹⁸ На самом деле нечто подобное было маловероятным, ибо в ту пору Кутон держался на расстоянии от всех политических группировок, занимая довольно независимую позицию. Впрочем, его республиканизм ни у кого сомнений не вызывал, а потому по возвращении 28 августа в Париж он был встречен с почестями как истинный триумфатор.

Став депутатом Конвента от департамента Пюи-де-Дом, Кутон и здесь поначалу пытался играть ту же роль, что и в Законодательном собрании, — роль независимого республиканца, стоящего над интригами и усобицами "партий". Это была нелегкая задача. С первых же дней Конвент превратился в арену ожесточенной борьбы между "партиями" жирондистов, которые представляли собой просвещенную элиту общества и стремились к созданию правового республиканского государства, и монтаньяров (в большинстве — членов Якобинского клуба), тяготевших к диктаторским методам и искавших поддержку у плебса.

Рано или поздно Кутону предстояло сделать выбор. Ему явно импонировала идея жирондистов "упорядочить" революцию, подчинить ее закону и прекратить "эксцессы". Крайне отрицательно относился он к широко обсуждавшейся тогда возможности уста-

¹⁷ Aго А.В. Крестьяне и Великая французская революция. М., 1987. С. 248. То, что в сложившейся тогда ситуации предложения Кутона были весьма умеренными, признавал и Жорес, несмотря на все свое восхищение общим пафосом данного выступления (см.: Жорес Ж. Социалистическая история французской революции. М, 1978. Т. 2. С. 32—33).

¹⁸ Dictionnaire biographique... P. 356.

новления диктатуры триумvirата — Робеспьер, Дантон, Марат. Уже на первом заседании Конвента 21 сентября 1792 г. Кутон заявил: "Я слышал, как с ужасом говорили о триумvirате, о протекторате, о диктатуре; в обществе распространяется слух, что в Конvente формируется партия, выступающая за какую-то из этих форм правления... Покаянемся же все в верности суверенитету народа — суверенитету во всей его полноте. Заклеймим же позором одинаково и монархию, и диктатуру, и триумvirат..."¹⁹

Особую неприязнь у Кутона вызывал Марат с его авторитарными устремлениями и постоянными призывами к массовому истреблению политических противников. Член Конвента и земляк Кутона Ж.А. Дюлор вспоминал позднее о таком случае. Во время второго заседания Конвента Кутон, сидевший в нише окна, вдруг оказался в окружении нескольких парижских депутатов, сопровождавших Марата. Подчеркнуто демонстрируя симпатию, "Друг народа" положил ему на плечо тяжелую руку и, добродушно осклабившись, обратился к спутникам: "Вот он, хороший патриот Кутон!" Однако тот, с трудом сдерживая отвращение, повернулся к Дюлору и прошептал: "Будь добр, заведи меня от этих бандитов!" Дюлор взял калеку на руки и перенес в другую часть зала²⁰. Правда, в публичных выступлениях Кутон не выказывал антипатии к Марату, предпочитая безличные формулировки. Например, 25 сентября, когда депутаты обсуждали антиконституционную деятельность "Друга народа", Кутон по ходу дискуссии предложил карать смертью *любого*, кто захочет ввести диктатуру²¹.

Отношения Кутона с Робеспьером в начале работы Конвента также мало напоминали тот тесный альянс, который установится между ними позднее. Они познакомились, отмечал А. Собуль, еще в 1791 г., о чем свидетельствует октябрьское письмо Робеспьера из Арраса, в котором он просит своего парижского домохозяина передать Кутону привет. В борьбе против монархии Робеспьер и Кутон были союзниками, а потому не удивляет сожаление Робеспьера по поводу отъезда Кутона на воды: "Нам вас недостает, — писал он. — Не могли бы вы поскорее вернуться домой. Мы ждем вас с нетерпением. Мы ждем вашего возвращения и вашего выздоровления"²². Впрочем, столь вежливое выражение участия вовсе не означало их личной или даже политической близости. По свидетельству современников, еще в начале осени 1792 г. Кутон испытывал довольно сильное недоверие к Робеспьеру. Однажды, когда депутаты Пюи-де-Дома собрались у Кутона на еженедельное совещание, слово взял Дюлор: "Я вижу, что Робеспьер в конечном счете не кто иной, как интриган..." — "Интриган? — с жаром перебил

¹⁹ AP, T. 52, P., 1897, P. 70.

²⁰ Boudet M. Op. cit. P. 125.

²¹ AP, T. 52, P. 143.

²² Soboul A. Op. cit. P. 104.

его Кутон, — нет, вы слишком к нему добры. Что касается меня, то я считаю его большим негодяем!"²³

Не менее настороженно относился Кутон и к жирондистам. Он не разделял их желания привлечь к суду должностных лиц повстанческой Коммуны Парижа, с молчаливого согласия которых толпа плебса совершила 2—4 сентября 1792 г. массовые убийства заключенных в тюрьмах. Сам Кутон вполне терпимо отнесся к этому чудовищному кровопролитию, будучи убежден, что народ всегда прав. 4 сентября именно в тот момент, когда в тюрьмах шла резня, он хладнокровно писал избирателям: "Я только что узнал, что Бисетр, сопротивлявшийся часть ночи, теперь взят и что народ юридически осуществляет там свою верховную власть"²⁴.

О стремлении Кутона к независимости от враждующих фракций говорит его письмо к землякам от 12 октября: "В Конвенте существуют две партии. Здесь есть люди, чьи утрированные принципы толкают на пагубный путь, ведущий к анархии. Есть здесь и другие люди — хитрые, ловкие интриганы, для которых особенно характерно чрезмерное честолюбие. Они выступают за республику, потому что за нее высказалось общественное мнение, но республику аристократическую, дабы увековечить свое влияние и самим распоряжаться выгодными местами и должностями"²⁵. Под первыми Кутон, очевидно, имел в виду сторонников Марата, под вторыми — жирондистов.

Однако в условиях все более усиливавшейся поляризации сил приходилось выбирать: либо стать на сторону одной из двух враждующих "партий", либо обречь себя на роль статиста в числе других депутатов "болота". Разумеется, для Кутона с его кипучей энергией и огромным честолюбием второе было совершенно неприемлемо. Но к какой из выстроившихся друг против друга фаланг примкнуть? Выбор Кутона определила неудачная попытка войти в состав конституционной комиссии.

Главной целью созыва Конвента было принятие новой Конституции. Выработка этого документа возлагалась на конституционную комиссию. Ее члены, таким образом, получали шанс остаться в истории творцами нового, невиданного дотоле по совершенству государственного порядка. А ведь именно этой роли жаждал для себя Кутон. Он даже сделал кое-какие наброски к будущему проекту Основного закона. Но такое назначение не могло состояться без согласия Жиронды, доминировавшей тогда в Конвенте, а потому Кутон попытался заручиться поддержкой ее лидеров. Однако они не оценили его доброй воли и тем самым опрометчиво подтолкнули в лагерь своих противников. Среди девяти членов комис-

²³ Boudet M. Op. cit. P. 125.

²⁴ Ibid. P. 126. Бисетр — одна из парижских тюрем.

²⁵ Soboul A. Op. cit. P. 99.

сии места для Кутона не нашлось, и жестоко обиженный он открыто принял сторону монтаньяров.

12 октября на заседании Якобинского клуба Кутон фактически объявил войну жирондистам, став с тех пор одним из наиболее решительных их противников. Благодаря авторитету и бьющей через край энергии, он сразу же оказался на первых ролях в стане монтаньяров. Уже 19 октября его включили в состав так называемой вспомогательной конституционной комиссии, созданной монтаньярами в противовес основной, где доминировали жирондисты. Таким образом, новые союзники Кутона охотно предоставили ему возможность испытать свои силы в качестве отца-основателя нового строя.

В ходе процесса над Людовиком XVI Кутон занял самую жесткую и бескомпромиссную позицию. При поименном голосовании он без колебаний заявил о виновности короля, о необходимости предания его смертной казни и отверг предложение обратиться по данному вопросу к мнению народа.

Весна 1793 г. прошла в острой борьбе между "партиями" Горы и Жиронды. Наряду с другими лидерами монтаньяров Кутон не раз вступал в словесные баталии с соперниками. В этот период у него устанавливается хорошее взаимопонимание с Робеспьером, переросшее затем в дружбу. Их сближала общность идей и политики. И тот, и другой были фанатичными приверженцами философской системы Ж.Ж. Руссо; и тот, и другой предпочитали легальные методы политической борьбы разгулу народной стихии.

Весьма характерно, что если отношения Кутона с Робеспьером претерпели за полгода разительную перемену, то на Марата, фактически подстрекавшего плебс к расправе с неудобными депутатами, Кутон по-прежнему смотрел с плохо скрываемой неприязнью. Он вовсе не был против физического устранения политических противников ("За свою жизнь, — говорил он, — я не обидел и цыпленка, но когда этим людям будут рубить головы, я не отведу глаз"²⁶), однако считал, что оно должно быть легальным. В письме землякам от 16 мая 1793 г. Кутон так объяснял эту разницу в подходах: "Я отдам всю свою нескалеченную болезнью жизнь на благо народа, но, если мои усилия окажутся бесплодными, я не стану, как Марат или другие схожие с ним злодеи, призывать народ подняться, чтобы сносить головы. Любые кровавые методы вызывают у меня ужас. Нет, в свое время я сумею сказать народу, что, поскольку его друзья не в силах его спасти, он сам должен спасти себя, предав мечу закона (курсив мой. — А.Ч.) тех, кто ему изменил"²⁷. Позднее, следуя данному принципу, Кутон, как и Робеспьер, будет изо всех сил противиться тому, чтобы террор походил на вспышки

²⁶ Boudet M. Op. cit. P. 166.

²⁷ Ibid. P. 165.

слепой ярости. Он весьма негативно отнесется к подобного рода "эксцессам" в Лионе и Нанте, но будет активно проводить политику истребления политических противников с соблюдением, хотя бы минимальным и чисто внешним, юридических формальностей.

* * *

Мы подошли к последнему году жизни Жоржа Кутона, ставшему вершиной его политической деятельности и одновременно — последней ступенью перед эшафотом. Именно в этот период он входил в узкий круг избранных, безраздельно управлявших судьбой целой страны. Хотя, как мы видим, Кутон стремился к вершинам власти с самого начала Революции, но, похоже, даже весной 1793 г. он еще не представлял, как скоро сбудутся его мечты. Плечом к плечу с соратниками-монтаньярами он пытался вытеснить жирондистов с господствующих позиций в Конвенте, с боем беря каждый шаг. И вдруг стихия народного восстания всего за три дня смела его противников и привела якобинцев к заветной цели. Это произошло 31 мая — 2 июня 1793 г.

Конечно, Кутон и его единомышленники внесли немалый вклад в идейную подготовку восстания, изо дня в день с трибуны Якобинского клуба и Конвента внушая рядовым гражданам, что жирондисты "предают" народ и мешают углублению Революции. Однако ни он, ни Робеспьер, ни близкие к ним люди не участвовали в организации восстания, которое было подготовлено вожаками парижских секций, людьми без определенных занятий, для которых в годы Революции бунт стал основной профессией. Более того, Робеспьер и Кутон не считали возможным насильственное изгнание из Конвента законно избранных депутатов, а просили народ лишь оказать давление на его представителей, чтобы колеблющихся склонить на сторону монтаньяров.

31 мая Париж проснулся от набата, в который ударили по приказу повстанческого комитета. Улицы заполняются вооруженными людьми. Барабаны бьют общий сбор. Правда, у организаторов выступления нет ни четкого плана, ни единодушия: кто-то готов довести дело до резни наподобие сентябрьской, кто-то хотел бы ограничиться вооруженной демонстрацией. Город бурлит, но никто не знает, что делать. Не получая приказов, национальные гвардейцы в растерянности топчутся на улицах и площадях. Все ждут, чем завершатся развернувшиеся в Конвенте дебаты. Там жирондисты пытаются добиться осуждения происходящего и привлечь к ответственности зачинщиков движения, а монтаньяры, ссылаясь на волю народа, требуют распустить Комиссию двенадцати, незадолго до того составленную Конвентом из жирондистов для расследования антиконституционных действий Парижской Коммуны

и секций²⁸. Большинство Конвента колеблется, не решаясь принять чью-либо сторону. Кутон энергично вмешивается в борьбу и, заклеймив "адскую клику" жирондистов, предлагает проголосовать за упразднение Комиссии. Интересно, что даже в столь критический момент он не считает возможным солидаризироваться с Маратом, объективно являвшимся в той ситуации его союзником: "Я ни за Марата, ни за Бриссо", — заявляет он²⁹. Но и Кутону не удается склонить чашу весов на свою сторону. Только после того, как вооруженная толпа ворвалась в Конвент, а Робеспьер потребовал отдать под суд всю верхушку Жиронды, усталые депутаты все же декретировали роспуск Комиссии.

Не удовлетворившись достигнутым, Марат и ультраевые агитаторы весь следующий день готовили новое выступление. С утра 2 июня Конвент был окружен батальонами национальной гвардии. Петиционеры коммуны потребовали арестовать депутатов-жирондистов. Препятия происходили при нарастающем давлении толпы, вновь проишедшей в здание Конвента. Солдаты блокировали двери. Депутаты возриптали: "Конвент несвободен!" Барер предложил коллегам выйти на улицу, дабы убедиться, что никто не хочет чинить насилие над национальным представительством. Но дальше сада депутатов не выпустили. Командующий национальной гвардией Анрио отдал приказ: "Канониры, к орудиям!" Члены Конвента, опутив головы и пряча друг от друга глаза, с ощущением своей полной беспомощности перед столь вызывающе дерзким насилием понуро вернулись в залу, и тут же покидавший своего места Кутон, язвительно улыбаясь, нанес последний удар: "Теперь же, когда вы признаете, что свободны в принятии решений, я требую уже не просто обвинительного акта против 22 изобличенных депутатов, но, учитывая, что общественное мнение решительно высказалось против них, я предлагаю арестовать их..."³⁰. Один из лидеров Жиронды и самый блестящий ее оратор, Верньо, в сердцах воскликнул: "Кутон жаждет, дайте ему стакан крови!" Но воля Конвента уже была сломлена, и он покорно проголосовал за декрет об аресте жирондистов. Власть перешла к монтаньярам.

Заслуги Кутона в "революции 31 мая — 2 июня" были бесспорны, и косвенным их признанием явилось включение его в состав высшего исполнительного органа Республики — Комитета общественного спасения. Еще 30 мая, накануне восстания, Кутона временно прикомандировали к Комитету для редактирования проекта конституции, теперь же он (5 июня) стал полноправным его членом. В тот же день членом Комитета был избран Сен-Жюст, а

²⁸ Подробнее см., например: Жорес Ж. Указ. соч. М., 1983. Т. 5; Гордон А. В. Падение жирондистов. М., 1988.

²⁹ AP. P., 1904. T. 65. P. 649; Кутон Ж. Указ. соч. С. 56 (далее ссылки на это издание даются в квадратных скобках).

³⁰ AP. T. 65. P. 707 [С. 57].

27 июля туда вошел и сам Неподкупный. С этого времени сплоченный робеспьеристский триумвират постепенно полностью подчиняет себе Комитет, фактически являвшийся революционным правительством Франции.

Изгнание из Конвента и арест депутатов вызвали весьма негативную реакцию в департаментах. Администрации большинства из них выразили свои протесты, в ряде провинций началось вооруженное движение против новых царжских властей. Часть скрывшихся из столицы депутатов нашла убежище в департаменте Кальвадос, ставшем центром так называемого федералистского мятежа. В Лионе, втором по величине городе Франции, большинство населения еще в конце мая приняло участие в успешном восстании против местных якобинцев, измучивших горожан откровенным произволом. В Вандее все жарче разгоралась пламя крестьянской войны под роялистскими лозунгами.

Летом 1793 г. Кутону не раз приходилось выступать в Конвенте по вопросам текущей политики. Он постоянно подчеркивал "законный" характер восстания 31 мая — 2 июня и категорически осуждал любое несогласие с его результатами. Причем для компрометации противников он прибегал даже к самой откровенной фальсификации, обвиняя их в намерениях реставрировать монархию и посадить на престол иностранного принца³¹. Кутон был причастен и к созданию мифа о "контрреволюционном заговоре" в целях убийства Марата³². Юная республиканка Шарлотта Корде, по собственной инициативе убившая этого идеолога террора, была объявлена якобинцами, в том числе теми, кто сам ненавидел Марата, орудием "жирондистской клики", лишившей народ его истинного "друга".

В то же время Кутон призывал проявлять разумную осмотрительность в отношениях с мятежными департаментами и советовал не поддаваться чувству мести. Сурово порицая местные власти за поддержку жирондистов и требуя строго покарать их, Кутон, однако, постоянно указывал на необходимость проводить различие между подлинными противниками нового порядка и населением этих провинций в целом. "Конвент не должен обращаться с департаментами, как с иностранными державами". — подчеркивал он в выступлении 13 июня³³.

Предметом особой заботы Кутона было положение у него на родине, в Пуи-де-Доме. Парижские события не вызвали там поначалу ни поддержки, ни протеста: администрация и политичес-

³¹ Ibid. P., 1906. T. 70. P. 133—134 [С. 72—74]. Даже симпатизировавший монпаньярам Ж. Жорес назвал подобное утверждение "бессмысленной гипотезой", "безумным заблуждением" и "чудовищным софизмом" (см.: Жорес Ж. Указ. соч. Т. 5. С. 371).

³² AP. P., 1905. T. 68. P. 722—723 [С. 66—69].

³³ Ibid. P., 1904. T. 66. P. 480 [С. 57].

ски активная часть населения не решались принять чью-либо сторону из-за недостатка информации. Из Парижа от депутатов этого департамента поступали противоречивые сведения: если Кутон полностью одобрял случившееся, то Дюлор, чье мнение пользовалось у земляков не меньшим авторитетом, резко осуждал переворот. Только после того как специальные уполномоченные Пюи-де-Дома посетили Париж и ознакомились с ситуацией, администрация департамента выступила в июле с протестом против посягательств парижского плебса на неприкосновенность депутатов Конвента.

Дальше декларации, однако, дело не пошло. Но возможности, присоединения департамента к "Федералистскому мятежу" была вполне реальной. Местные власти поддерживали тайную связь с инсургентами. Батальон, снаряженный для отправки в Вандею, задерживался под разными предлогами и в случае восстания мог быть использован против центрального правительства. Обо всем этом Кутон узнавал из многочисленных писем земляков-якобинцев. Он, в свою очередь, призывал их активными действиями нейтрализовать опасную политику местной администрации, инструктировал посланцев Якобинского клуба Клермон-Феррана и снабжал деньгами из секретного фонда Комитета общественного спасения для "формирования общественного мнения"³⁴. Одновременно Кутону приходилось заверять Конвент в патриотических настроениях населения Пюи-де-Дома, чтобы не допустить репрессивных мер в отношении своего департамента³⁵.

И хотя друзьям Кутона в Клермон-Ферране удалось добиться перелома в общественном мнении и удержать сограждан от присоединения к повстанцам, все же у парижских якобинцев сохранялись немалые сомнения относительно лояльности Пюи-де-Дома. А после того как представитель Конвента при Альпийской армии Э.Л. Дюбуа-Крансе объяснил затянувшуюся осаду Лиона нежеланием властей Пюи-де-Дома прислать подкрепления, в Комитете общественного спасения было предложено отнести данный департамент к числу мятежных со всеми вытекающими последствиями. Только энергичное вмешательство Кутона удержало его коллег от подобного шага³⁶. Тогда 21 августа Конвент постановил отправить туда с "неограниченными полномочиями" трех депутатов — Кутона, его друга и земляка Э.К. Менье и бывшего дворянина, опытного специалиста в военном деле А.П. Шатонефа-Рандона. Им предписывалось установить революционный порядок в Пюи-де-Доме и прилегающих местностях, провести мобилизацию рекрутов и принять решительные меры по

³⁴ Boudet M. Op. cit. P. 186.

³⁵ AP. T. 68. P. 2—3, 512 [С. 61, 64—65].

³⁶ Mège F. Le Puy-de-Dôme en 1793 et le proconsulat de Couthon. P., 1877. P. 137.

скорейшему взятию Лиона. Хотя формально "проконсулы" имели равные права, фактически миссию возглавлял Кутон. Он же готовил наиболее важные постановления, которые подписывал вместе с коллегами.

29 августа Кутон и его спутники прибыли в Клермон-Ферран. В городе было беспокойно. Накануне их приезда сторонники лионских повстанцев пытались помешать отправке подкреплений в республиканскую армию. Депутаты тотчас взяли за наведение порядка. Они собрали горожан и жителей близлежащих сел в кафедральном соборе и обратились к ним с речами. Кутон заклеил мятежный Лион как гнездо роялизма, вторую Вандею. Такое сравнение должно было утешить местных республиканцев, однако сказанное Кутонем не вполне соответствовало действительности: движение в Лионе начиналось как республиканское и в определенной степени таковым оставалось даже после того, как к нему примкнули роялистские элементы. Затем "проконсулы" выступили в местном Якобинском клубе. Заседание окончилось пением патриотических песен и отплясыванием фарандолы. Необходимое для дальнейших действий настроение в городе было создано.

Конец августа — начало сентября отмечены бурной деятельностью Кутона по организации похода на Лион. Его письма и постановления за этот период свидетельствуют, что ни одна из сторон будущего предприятия не осталась без внимания. Люди, финансы, боеприпасы, продовольствие, медикаменты — все ресурсы были мобилизованы для предстоящей экспедиции. Правда, выполнение поставленной задачи неожиданно осложнилось крупной военной неудачей. Собранные в Клермон-Ферране и с таким трудом отправленные войска, не успев покинуть пределов департамента, лишились командира — генерала Николя, захваченного в плен лионцами в результате смелого набега. Весть об этом вызвала уныние в стане якобинцев. Требовались энергичные меры, чтобы переломить ситуацию.

Кутон и его коллеги объявили всеобщую мобилизацию. Повсюду били в набат. Всех мужчин, способных носить оружие, призывали в ополчение. Они стекались к местам сбора с запасом продовольствия и собственным снаряжением. Ружей не хватало и многие несли топоры, косы, вилы, пики. Однако скопившиеся в городах недисциплинированные новобранцы представляли собой взрывоопасную массу. В Риоме призванные в армию крестьяне учинили беспорядки, разграбив дом зажиточного горожанина. Только решительность жителей этой коммуны, открывших огонь по разъяренной толпе, предотвратила более тяжкие последствия. 5 сентября сюда примчался Кутон. Расправа была коротка: рекрутов отправили на фронт, хозяина разграбленного дома — в тюрьму. И в столь странном решении, и в описании происшедшего в письме Конвенту ярко проявилась характерная черта мировоззрения

ния Кутона — недоверие к зажиточным слоям общества. Согласно его логике, в споре бывшего юриста Старого порядка и крестьян последние всегда правы³⁷.

Подозрительное отношение Кутона к средним слоям отразилось и в ряде других постановлений. Даже довольно безобидные и вполне объяснимые поступки средних и крупных собственников вызвали у него весьма резкую реакцию. Например, отъезд многих буржуа в сельскую местность из городов, переполненных рекрутами и экзальтированными санкюлотами, Кутон расценил как попытку скрыться от бдительного ока власти и развратить крестьян. Молодежь из буржуазных семей, проводившая свой досуг в кафе за беззаботной болтовней вместо того, чтобы участвовать в шумных патриотических шествиях, также казалась "проконсулу" подозрительной, и он, решив, что юноши не иначе как интригуют в кафе против Революции, приказал им пройти проверку на благонадежность³⁸. В официальных документах того времени можно найти и другие примеры искаженного восприятия Кутонем реальности под влиянием идеологических стереотипов.

Рионский эксцесс побудил ускорить отправку ополчения на фронт. 5 сентября войска выступили в направлении Лиона. Это было весьма живописное зрелище: тысячи вооруженных чем попало людей пестройными колоннами брели по пыльным дорогам под трехцветными знаменами, распевая патриотические песни. Кутон не замедлил оповестить Конвент восторженным письмом. Это послание также является собой удивительный образчик того, как виделась Кутону действительность сквозь призму догматических представлений. Согласно якобинской идеологии, Революцию себе во благо совершал весь народ, готовый на любые жертвы ради Республики. Отсюда — энтузиазм автора письма: "Департамент поднялся весь как один человек"³⁹. На самом же деле часть коммуны вообще не прислала рекрутов, из других приняли считанные единицы. Те же, кто выступил в поход, ежедневно дезертировали десятками. Невольно этому способствовал и сам Кутон, столь сильно преувеличивавший патриотизм сограждан. Веря в сознательность народа, он издал два постановления, освобождавшие от призыва некоторые категории граждан. Более чем туманную формулировку документа, избавлявшего от воинской повинности тех, "чей труд на их рабочем месте полезен Республике", можно объяснить только искренней убежденностью "проконсула" в том, что все жители департамента, как он сообщал в Конвент, рвутся в бой, следовательно, никому и в голову не придет злоупотребить подобным послаблением. Тем горше оказалось разочарование. После этих постановлений дезертирство приобрело едва ли не повальный ха-

³⁷ AP, P., 1908. T. 73. P. 548 [С. 86].

³⁸ *Mège F.* Op. cit. P. 572—573, 575—576 [С. 96—97, 100—101].

³⁹ AP, T. 73. P. 548.

ракти. Приостановить его удалось лишь ценой больших усилий и самых жестких мер⁴⁰.

Оставшись в Клермон-Ферране после ухода войск, Кутон принялся решительно наводить революционный порядок. После того как прежние должностные лица помогли организовать мобилизацию, их отстранили, заменив "добрыми санкюлотами". Приказом Кутона по департаменту создавались наблюдательные комитеты для надзора за гражданами и ареста подозрительных. Чтобы предотвратить возможность сопротивления властям, Кутон постановил снести все укрепленные замки. Интересно, что его распоряжение на полтора месяца опередило аналогичный декрет Конвента.

Когда 17 сентября колонны из Пюи-де-Дома прибыли к Лиону, осада уже вступила в завершающую стадию. Регулярные войска под командованием Дюбуа-Крансе все теснее сжимали кольцо блокады. Пришедшие ополченцы из-за слабых боевых качеств не представляли собой серьезной силы, но могли быть использованы для прикрытия второстепенных направлений. Блокада стала еще плотнее, падение мятежной твердыни было делом ближайшего будущего. Но развязка наступила даже раньше, чем ожидалось. 2 октября в армию приехал Кутон. На военном совете он потребовал отказаться от всех тактических тонкостей: "Тактика — опиум народных восстаний" — и взять Лион штурмом⁴¹. Началась артиллерийская бомбардировка города. 7 октября осажденным предъявили ультиматум, приказав сложить оружие и выдать руководителей обороны. В ночь с 8 на 9-е около двух тысяч защитников Лиона вместе с командирами совершили отчаянную попытку прорваться к швейцарской границе, но почти поголовно были истреблены войсками и ополченцами. Лион пал⁴².

Утром 9 октября республиканская армия вступила в город, замерший в ожидании возмездия. Выбравшиеся из укрытий и поощряемые Дюбуа-Крансе местные якобинцы жаждали реванша. Крестьяне-ополченцы мечтали имуществом побежденных вознаградить себя за вынужденный отрыв от полевых работ. Угроза резни и грабежа была более чем реальной. Но Кутон остался верен принципу "нельзя обращаться с департаментами, как с побежденными странами". Когда он, столько сделавший для скорейшего взятия Лиона, въехал победителем в полуразрушенный город, на его лице, как свидетельствует очевидец-роялист, "было написано милосердие"⁴³. Под страхом наказания он запретил грабежи и самочинные аресты. Воссозданные якобинцами секционные собрания вновь были распущены. Ополчение вывели из города; для жителей Лиона завезли продовольствие.

⁴⁰ Mège F. Op. cit. P. 178 — 181, 194, 554 — 556 [С. 87 — 88].

⁴¹ AP. P., 1910. T. 76. P. 284 [С. 107].

⁴² Подробнее см.: Herriot Ed. Lyon n'est plus: In 4 vols. P., 1937 — 1940.

⁴³ Цит. по: Mège F. Op. cit. P. 240. См. также: Aulard A. Op. cit. P. 445.

Репрессивные меры Кутон свел к минимуму. Разрушению подверглись только городские укрепления. Для наказания вождей мятежников были созданы военная комиссия и комиссия народного правосудия из якобинов Пюи-де-Дома, не имевших в Лионе личных пристрастий. Хотя аресты шли постоянно, за время пребывания Кутона смертные приговоры были вынесены только 22 руководителям восстания и двум видным роялистам. Характерно, что после его отъезда, когда Лион захлестнет волна массового террора, назначенный им состав комиссии будет почти полностью смещен за "излишнюю мягкость"⁴⁴.

12 октября Конвент принял декрет, гласивший: «Город Лион будет разрушен. Все жилища богатых должны быть уничтожены... Имя Лиона будет вычеркнуто из списка городов Республики. Совокупность оставшихся домов будет отныне носить название "Освобожденной Коммуны". На развалинах Лиона будет воздвигнута колонна... на ней будет выгравирована следующая надпись: "Лион восстал против свободы — Лиона больше нет"»⁴⁵.

Получив этот страшный декрет, Кутон ответил восторженным письмом, обещав с абсолютной точностью исполнить волю Конвента⁴⁶. На деле же он всячески затягивал осуществление бессмысленно жестоких, на его взгляд, репрессий. Однако, не имея возможности откладывать их до бесконечности, он просил Сен-Жюста добиться для него разрешения покинуть обреченный город⁴⁷. А пока ответ не пришел, Кутону ничего не оставалось, как подчиниться решению Конвента. Лишь 25 октября он издал соответствующее постановление, а на следующий день вместе с должностными лицами городской администрации и солдатами прибыл на площадь Белькур, где находились самые богатые и красивые дома. Ударив трижды по фасаду одного из них молоточком, Кутон торжественно произнес: "Именем закона приговариваю тебя к разрушению" и ... удалился! Реальное разрушение отложили до тех пор, пока жители не переселятся в другое место и не будут созданы специальные отряды рабочих. Когда 3 ноября "проконсул" покидал город, дома на площади Белькур еще стояли. Некоторое время спустя, с прибытием "палачей Лиона" — Колло д'Эрбуа и Фуше — их взорвут, а людей станут расстреливать картечью.

В лионской эпопее противоречивая натура Кутона проявилась во всем богатстве оттенков. С одной стороны, это истый приверженец идеологических догматов, готовый ради них пренебречь самой реальностью, фанатичный поклонник идеи, для которого она была более подлинна, чем окружающая его действительность. С

⁴⁴ *Mège F. Op. cit.* P. 249 — 252.

⁴⁵ Революционное правительство в эпоху Конвента. М., 1926. С. 639 — 640.

⁴⁶ *AP. P.*, 1910. Т. 77. P. 423 — 424 [С. 116 — 117].

⁴⁷ *Papiers inédits trouvés chez Robespierre, Saint-Just, Payan etc. P.*, 1928. Т. 1. P. 361 — 363 [С. 118 — 119].

другой — ему отнюдь не чужды такие человеческие чувства, как сострадание, жалость, отвращение к жестокости. В тот момент эти качества еще могли одновременно и сравнительно бесконфликтно уживаться в одном человеке, но уже скоро служение идее потребует от него подавить все те движения души, которые окажутся несовместимы с беспощадной борьбой во имя торжества исповедуемых им принципов.

Теперь, думаю, самое время подробнее рассказать о мировоззрении Кутона. Он, как Робеспьер и Сен-Жюст, был горячим поклонником учения Жан-Жака Руссо, создателя одной из самых известных и популярных в XVIII в. утопий, изложенной в знаменитом трактате "Об Общественном договоре" и ряде других произведений. Апологет наиболее последовательного осуществления принципа "прямой" демократии, Руссо доказывал, что созданный общей волей всей нации Политический организм (Государство) обладает неограниченной властью над каждым индивидом. Ежели какой-нибудь человек или даже целая социальная группа считают, что требования, предъявляемые им подобным Государством, противоречат их интересам, то последнее, согласно теории Руссо, вправе применять к "заблуждающимся" любую форму принуждения, дабы силой "заставить быть свободным"⁴⁸. Однако в отличие от большинства утопических проектов того времени тоталитарная по своей сути утопия Руссо была изложена в довольно туманной форме со множеством взаимоисключающих оговорок и отступлений, окутана флером социальной демагогии и при этом не содержала никаких конкретных рекомендаций по осуществлению на практике предложенной в ней схемы идеального строя. Такая особенность вполне устраивала Робеспьера и Кутона на ранней стадии Революции. Находясь постоянно в оппозиции всем сменявшимся друг друга правительствам, они заимствовали из книг Руссо аргументацию для критики властей фактически по любому вопросу политики. Руссоистская теория являлась для них орудием разрушения Старого порядка, а потому их нимало не смущали расщепчатость и противоречивость ее отдельных положений. Скорее наоборот. Робеспьер, например, опирался на авторитет Руссо, как требуя полной отмены смертной казни, так и призывая скорее отправить короля на эшафот. Все зависело от того, что было выгодней в данной политической ситуации.

Когда в результате народного бунта робеспьеристы (так называли наиболее близких к Неподкупному якобинцев) пришли к власти, они какое-то время действовали, исходя из обстоятельств текущего момента. В течение нескольких месяцев они ежедневно вынуждены были решать насущные вопросы сохранения революционного режима, не имея возможности задумываться о более от-

⁴⁸ Подробнее см.: Чудинов А.В. У истоков революционного утоцизма. М., 1991. С. 21 — 30; Он же. Утопии века Просвещения. М., 2000. С. 65 — 78.

даленной перспективе. Конечно, в своих действиях, как мы видели на примере Кутона, они руководствовались определенными идеологическими постулатами, иногда даже вопреки действительности, но все же в целом эта идеология еще не приобрела строгих очертаний догматической схемы, имеющей самодовлеющее значение. Однако как только пресс сиюминутных нужд ослабел и открылась возможность от борьбы за выживание перейти к созидательной работе, для них стала очевидной необходимость привести свои принципы в систему, придав им форму позитивной программы, способной служить руководством к конкретным действиям. Пожалуй, первым из робеспьеристского триумvirата с подобной проблемой столкнулся Кутон.

По окончании лионской экспедиции он вернулся в Пюи-де-Дом с намерением провести преобразования, которые сделали бы его департамент образцом для всей Франции. Именно здесь абстрактный идеал Руссо впервые должен был обрести плоть и кровь повседневной реальности.

Если для общественной мысли XVIII в. в целом характерно повышенное внимание к этическим вопросам, к проблеме воспитания гражданских добродетелей, то Руссо вообще возвел данный аспект в абсолют, считая мораль наиважнейшим компонентом социальной жизни. Соответственно главную задачу совершенного государства он видел в принудительном утверждении норм "естественной" нравственности: "Если это хорошо — уметь использовать людей такими, каковы они, — то еще много лучше — сделать их такими, какими нужно, чтобы они были; самая неограниченная власть — это та, которая проникает в самое нутро человека и оказывает не меньшее влияние на его волю, чем на его поступки"⁴⁹. Законы, регулирующие сферу морали, Руссо называл "замковым камнем" свода всего государственного здания.

Особую роль в утверждении надлежащей нравственности Руссо отводил религии: "Для Государства весьма важно, чтобы каждый гражданин имел религию, которая заставляла бы его любить свои обязанности"⁵⁰. Разумеется, христианство, предполагавшее духовную свободу человека от земных властей ("кесарево кесарю, а Божие Богу"), не подходило, по мнению философа, на роль гражданского культа: "Эта религия, не имея никакого собственного отношения к Политическому организму, оставляет законам единственно ту силу, которую они черпают в самих себе, не прибавляя никакой другой, и от этого одна из главнейших связей отдельного общества остается неиспользованною. Более того, она не только не привязывает души граждан к Государству, она отрывает их от него, как и от всего земного"⁵¹. Таким образом,

⁴⁹ Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 119.

⁵⁰ Там же. С. 254.

⁵¹ Там же. С. 252.

формально выступая за веротерпимость, Руссо не оставлял места христианству в своем идеальном государстве. Новая мораль требовала новой религии.

Кутон, прилежный ученик Руссо, также считал "естественную", или, как он ее еще называл, "вселенскую" (*universelle*) мораль важнейшим средством разрешения всех проблем общества. Причем этическое объяснение он давал не только политическим или социальным, но и экономическим явлениям. Например, еще будучи в Париже, он видел причины инфляции не в состоянии экономики, а в развращающем влиянии англичан⁵². Когда в Клермон-Ферране торговцы, напуганные инцидентом в Риоме и лишившиеся из-за рекрутского набора значительной части клиентуры, опасались открывать лавки, Кутон расценивал это как следствие испорченности и злого умысла⁵³.

Соответственно путь к вожделенному царству Свободы, Равенства и Братства, по Кутону, — воспитание, просвещение, искоренение "фанатизма и предрассудков" (под которыми он понимал католицизм), борьба с "нравственной испорченностью", которая трактовалась как преступление против Революции. А поскольку для утверждения в обществе новых этических ценностей требовалась сильная государственная власть, триумфальное возвращение на родину покорителя Лиона ознаменовалось еще более радикальной, чем прежде, "чисткой" органов управления. Уже в день отъезда из Лиона Кутон издал постановление об аресте и предании суду бывших должностных лиц администрации Пюи-де-Дома, подписавших в июне протест против изгнания жирондистов. Вернувшись в департамент, Кутон произвел перестановки в составе наблюдательных комитетов, пополнив их своими людьми. В то же время он усилил контроль над этими органами, создав для того Временную передвижную комиссию всеобщего наблюдения. Из народных обществ — местных аналогов Якобинского клуба — по требованию Кутона были изгнаны все колеблющиеся. Предпринятые им кадровые изменения оказались настолько эффективными, что вплоть до падения робеспьеристов местные власти ревностно и беспрекословно выполняли намеченную Кутонем программу преобразований.

Центральным пунктом данной программы являлось вытеснение католичества искусственно создаваемым гражданским культом. Уже в Амбере, первом городе департамента, куда Кутон и Менье торжественно прибыли по окончании лионской кампании, они издали постановление о публикации за государственный счет антихристианских куплетов и рассылке их по всем коммуна Пюи-де-Дома. 20 брюмера (10 ноября 1793 г.) Кутон устроил в Бий-

⁵² AP. T. 70. P. 75, 104 [С. 70—71].

⁵³ Mège F. Op. cit. P. 563—564 [С. 92—93].

оме публичное разоблачение реликвии "святой крови" и, наконец, по прибытии в Клермон-Ферран издал постановление о запрете всех культов⁵⁴.

В те дни по всей Франции развернулась кампания дехристианизации, тон которой задавали ультрареволюционеры из Парижской Коммуны. Однако антикатолические меры Кутона, несмотря на сходство методов, нельзя ставить в один ряд с деятельностью Шометта в Париже, Дюмона в департаменте Сомма, Фуше в Неве-ре, Лекинью в Шаранте и других дехристианизаторов. Если те, осверняя храмы и принуждая священников к отречению, стремились заменить религию атеизмом, для которого они придумали эвфемизм "культ Разума", то Кутон вовсе не желал отказываться от веры в "Создателя Вселенной, поддерживающего гармонию в природе и творящего чудеса, которыми мы восхищаемся, не понимая их"⁵⁵. Борясь с христианством, он отнюдь не хотел видеть на его месте зияющую пустоту атеизма. Еще 25 июня, сообщая землякам о принятии Конституции, он писал: "Нас больше не обвинят в атеизме, поскольку мы признали реальность Верховного существа, отрицать бытие которого могут, на мой взгляд, только безумцы или злоумышленники, не желающие читать в великой книге природы. Нас больше не обвинят в безбожии, потому что и в Декларации прав, и в Конституции мы закрепили свободу культов"⁵⁶. Пытаясь подорвать католичество, Кутон мечтал возвести на его руинах стройный храм гражданской религии. Вот почему его действия не вызвали и тени неудовольствия у Робеспьера, сурово осудившего атеизм дехристианизаторов.

Впрочем, верующие население Пюи-де-Дома, думаю, вряд ли столь же хорошо осознавало эту разницу, как искушенные политики. Искусственный гражданский культ был ему чужд, а святыни, которым поклонялись многие поколения, здесь подвергались не менее изощренному надругательству. 27 брюмера (17 ноября) в Иссуре состоялся торжественный обед в честь взятия Лиона. Председательствовал сам Кутон. Апофеозом праздника стало сожжение более 200 статуй святых из церквей города. В те дни революционные общества Пюи-де-Дома организовывали публичные отречения священников, а наиболее экзальтированные санкюлоты меняли свои христианские имена на имена античных героев. Кутон показал пример, назвав себя Аристидом в память об афинском полководце.

Главным же мероприятием кампании по искоренению "фанатизма" и распространению новой морали стал вышнний праздник, устроенный в честь "мучеников свободы" Марата и Шалье 30 брюмера (20 ноября) в Клермон-Ферране. Церемония началась утром

⁵⁴ Ibid. P. 280 — 282 [С. 122 — 124, 128 — 129].

⁵⁵ Цит. по: Ibid. P. 280 [С. 122].

⁵⁶ Ibid. P. 92 — 93.

выступлением Кутона в Якобинском клубе. Затем процессия двинулась к кафедральному собору, где официальные лица произнесли речи "о самых нравственных и самых возвышенных положениях Конституции". В заключение Кутон "в немногих словах описал столь желанную вселенскую мораль". Официальная часть завершилась исполнением патриотических песен, после чего участники торжества отправились громить храмы. С радостными возгласами санкюлоты выбрасывали изображения святых из церквей и стаскивали на центральную площадь, где был разложен огромный костер. Многие, глумясь, надевали на себя ризы и другие атрибуты облачения священников. Один из новых магистратов департамента бродил по улицам, волоча за собой на веревке особо почитаемую горожанами статую. Вечером утомленные якобинцы вновь собрались в клубе и увлеченно предались пению. Сам Кутон исполнил песню "О глупом почитании святых". Затем всемогущий "проконсул" разрешил "малоимущим патриотам разрушить церкви, признанные совершенно бесполезными, и по своему усмотрению распорядиться их содержимым". Лишь глубокой ночью, когда сон сморил наконец повеселившихся за день санкюлотов, завершилось это великое торжество новой морали⁵⁷.

На празднике Кутон объявил о принятии двух мер, ставших важными элементами его политики по превращению департамента в образец для всей страны. Обе они также имели ярко выраженное этическое содержание. Первой из них было создание в Плюиде-Доме контролируемой государством системы образования и воспитания. И Робеспьер, и Сен-Жюст, и Кутон считали, что подобным образом можно наиболее эффективно обеспечить формирование идеального, на их взгляд, человека, живущего исключительно интересами государства. Этим объясняется повышенное внимание робеспьеристов к организации школы. Еще накануне отъезда в действующую армию Кутон особым постановлением запретил преподавать лицам, не имеющим свидетельства о благонадежности. Теперь же он потребовал от якобинцев создать в каждом кантоне комитет по просвещению, чтобы надлежащим образом влиять на умы и сердца сограждан.

Вторым важным шагом Кутона явился разовый налог на "богатых эгоистов" в размере 1 200 000 ливров, несколько дней спустя оформленный специальным постановлением. О том, что эта мера не вызывалась военной необходимостью и носила не столько экономический, сколько "воспитательный" характер, свидетельствует и формулировка, выбранная для определения облагаемых граждан, и само использование полученных средств. Сразу же после сообщения о налоге Кутон от имени Республики вручил по 2 тыс. ливров четверем "добродетельным девушкам", заранее подобран-

⁵⁷ Ibid. P. 293 — 295.

ным муниципалитетом. Очевидно, подобная последовательность символизировала суть политики Кутона: наказать "эгоистов", то есть нравственно испорченных людей, и воздать должное "добродетели". Собранные деньги планировалось потратить так: 225 тыс. на образование, 50 тыс. на поддержку народных обществ, 700 тыс. на помощь неимущим семьям, 225 тыс. на обеспечение занятости работоспособных бедняков.

Связь первых двух статей с политикой утверждения в обществе новых моральных ценностей очевидна. И учебные заведения, и народные общества были призваны стать рассадниками "естественной" нравственности. Финансирование же третьей и четвертой статей, помимо филантропических целей, имело, как следует из преамбулы постановления, и ярко выраженный этический подтекст⁵⁸. Кутон отнюдь не рассматривал данную меру в качестве первого шага к перераспределению имущества от одного социального слоя к другому. Напротив, он был решительным противником подобной дележки. В упоминавшемся ранее письме от 25 июня 1793 г. он утверждал: "Нас больше не обвинят в желании ввести аграрный закон, поскольку мы отнесли собственность к числу прав человека и при помощи Конституции поставили ее под защиту законов"⁵⁹. Конtribusiция же на "богатых эгоистов" Пюи-де-Дом представляла своего рода принудительную благотворительность, урок, дабы приучить имущих к тому, что они время от времени должны делать добровольно из гуманных соображений.

Кутон не успел до конца реализовать свою программу. Из Парижа торопили с возвращением: он был нужен Робеспьеру в Комитете общественного спасения. Покидая Пюи-де-Дом, Кутон издал еще одно постановление "воспитательного" характера — о введении нового обряда похорон, чтобы при отправлении человека в последний путь ничто не напоминало о ненавистном христианстве, а, напротив, все наводило на мысли об "истинных" ценностях гражданского культа.

8 фримера (28 ноября) Кутон с чувством выполненного долга покидал родной край, куда ему уже не суждено было вернуться. Отчитываясь перед Конвентом о проделанной за время миссии работе, он, как всегда без ложной скромности, заявил: "Это позволяет нам сегодня говорить о департаменте Пюи-де-Дом как о возможном образце для всех остальных"⁶⁰.

⁵⁸ "...Учитывая, что, чем усерднее злопыхатели и аристократы стараются отсрочить радостный миг предоставления революцией благ народу, тем важнее его приблизить, связав с сокращением тех излишков, которые так долго использовались надменными богачами и подлыми эгоистами для развращения нравов". — *Ibid.* P. 591 [С. 130].

⁵⁹ *Ibid.* P. 93.

⁶⁰ AP. T. 77. P. 277 [С. 180].

Кутон в гораздо большей степени был практиком, нежели теоретиком. Приступая к введению совершенных, на его взгляд, порядков в своем департаменте, он не имел четкого плана всесторонних преобразований и занимался преимущественно той сферой общественных отношений, которая, согласно его убеждениям, должна была стать основой для наилучшего строя, а именно — сферой морали. О том, как в соответствии с принципами "естественной" нравственности будут изменены другие стороны социальной жизни, Кутон в период миссии практически ничего не говорил. А между тем ход событий подвел робеспьеристов к необходимости яснее определить свои дальнейшие намерения.

К концу 1793 г. положение Республики существенно упрочилось. На всех важнейших направлениях иностранные армии были вытеснены за пределы Франции. В упорных боях республиканские войска нанесли вандейцам ряд сокрушительных поражений и рассеяли их главные силы. Вслед за Лионом пал мятежный Тулон, в остальных же департаментах оппозиционные выступления удалось подавить еще раньше. Правители Республики получили возможность перейти к созидательной деятельности, тем более что в их руках оказалось весьма эффективное средство воздействия на общество — мощное централизованное государство. Концентрация власти в стране к концу 1793 г. достигла высочайшей степени. Декрет 14 фримера (4 декабря), проведенный через Конвент при непосредственном участии Кутона, наделил Комитет общественного спасения фактически диктаторскими полномочиями, а террор, поставленный по требованию плебса "в порядок дня" еще в сентябре, явился действенным орудием осуществления этой диктаторской власти. Надо было только наметить себе ясные цели, для достижения которых будет использована машина государственного принуждения.

В письме из действующей армии от 14 декабря Сен-Жюст просил Робеспьера привлечь внимание якобинцев к "фундаментальным принципам общественного блага", дабы они позаботились о способах управления "Свободным государством"⁶¹. Необходимость развернутого теоретического обоснования путей построения нового общества понимал и сам Робеспьер. 25 декабря он объявил в Конвенте, что задача нации "дать восторжествовать принципам, на которых должно покоиться процветание общества"⁶². В программной речи 5 февраля 1794 г. Неподкупный снова подчеркнул: "Настало время ясно определить цель революции и предел, к которому мы хотим прийти"⁶³. В течение следующего полугодия

⁶¹ *Saint-Just L.-A. Oeuvres complètes / Ed. Ch. Vellay. P., 1908. T. 2. P. 161 — 162.*

⁶² *Робеспьер М. Избранные произведения. М., 1965. T. 3. С. 90.*

⁶³ Там же. С. 106.

практически в каждом большом выступлении лидеры робеспьеристов освещали те или иные стороны утопического идеала, того, по меткому определению О. Кошена, "мира в облаках", который Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и их сподвижники хотели перенести на землю.

Любопытно, что из всей "партии" лишь "триумвиры" пользовались привилегией делать программные заявления. Причем среди них существовало своеобразное распределение обязанностей. Робеспьер в пространных речах, насыщенных абстрактно-метафизическими рассуждениями, рисовал общие контуры совершенного строя. В докладах Сен-Жюста делалось теоретическое обоснование таких важнейших политических мер, как, например, уничтожение эбертистов и дантонистов, изменения в порядке таксации цен, создание общей полиции, и др. В многочисленных и, как правило, не слишком продолжительных выступлениях Кутона высокая теория увязывалась с текущими вопросами повседневной политики.

Какой видели конечную цель Революции идеологи и вожди робеспьеристов? Каков был, по их мнению, тот социальный идеал, к которому Франции предстояло прийти в недалеком будущем?

Верные духу просветительской философии XVIII в. и, прежде всего, идеям Руссо робеспьеристы все проблемы общества рассматривали в этическом аспекте. Революция представлялась им кульминацией великой битвы Добра и Зла, продолжавшейся на протяжении всей истории человечества. "Порок и добродетель составляют судьбу земли: это два противоположных духа, оспаривающих ее друг у друга ... Революция, которая стремится установить добродетель, — это лишь переход от царства преступления к царству справедливости", — говорил Робеспьер в Конвенте⁶⁴. Та же мысль звучит во многих выступлениях Кутона. Революция, заявлял он, это "смертельная схватка между преступлением и добродетелью"⁶⁵.

Соответственно победа Революции, по мнению Робеспьера, Кутона и их соратников, должна состоять в окончательном изгнании порока и торжестве "естественной", "разумной", "вселенской" морали. Только победа добродетели, считали робеспьеристы, позволит решить все социальные проблемы. Материальная сторона жизни, в частности вопросы экономики, сами по себе мало привлекали внимание мечтателей, отступая на второй план перед блистательной перспективой построения идеально нравственного общества. "О! Сколь безрассудны люди! — восклицал Кутон. — Что нужно им для жизни и счастья? Несколько унций пищи в день, радость творить добро и сознание того, что совесть чиста —

⁶⁴ Там же. С. 164—165.

⁶⁵ AP. P., 1980. T. 92. P. 131 [С. 283]. См. также: Ibid. T. 91. P., 1976. P. 486 [С. 265].

вот и все"⁶⁶. Разумеется, при таком подходе едва ли можно было ожидать от него и его сподвижников понимания реальных чаяний различных социальных слоев.

Однако уже многие десятилетия значительная часть историков придерживается традиции рассматривать сторонников Робеспьера как выразителей интересов той или иной социальной группы, либо класса. Еще современник Революции, один из лидеров "болота", Дюран де Майян в "Истории Национального Конвента" назвал Неподкупного "народным диктатором, мало-помалу возвысившимся благодаря расположению к нему черни"⁶⁷. В новейшее время Робеспьера признавали идеологом и лидером то мелкой⁶⁸, то средней буржуазии⁶⁹, то "блока демократической (средней и низшей) буржуазии, крестьянства и городского плебейства"⁷⁰. Несмотря на подобные расхождения во мнениях и даже острые споры друг с другом историков, разделявших такой "социальный подход", всех их объединяет убежденность в том, что своей политикой робеспьеристы сознательно или, по крайней мере, объективно служили интересам определенного общественного слоя.

Правда, слова и дела Робеспьера и его окружения, в нашем случае — его ближайшего сподвижника Кутона, не могут не вызывать сомнения в правомерности такой трактовки. Самим робеспьеристам какой-либо "социальный подход" был абсолютно чужд. Они оценивали людей исключительно по этическим критериям и делили общество на две неравные части: на "добродетельных" граждан, составляющих большую часть нации — собственно "народ", — и "порочное", "нравственно развращенное" меньшинство. Суть робеспьеристской политики в отношении этих групп заключена в афористической формулировке Кутона: "Война — мошенникам и негодям, мир и почет — добродетели"⁷¹. О тех, кто, по мнению Неподкупного и его соратников, принадлежал к числу приверженцев "естественной" морали, о "патриотах" и "республиканцах", они действительно проявляли горячую заботу. Так, Кутон не раз поднимал вопрос об оказании государственной помощи семьям погибших или ушедших на фронт республиканцев. Но все это были единичные акты, относившиеся к отдельным лицам. А

⁶⁶ Ibid. P., 1965. T. 86. P. 512 [С. 195].

⁶⁷ *Durand de Maillane P.T. Histoire de la Convention Nationale*. P., 1825. P. 253. Подробнее см.: Чудинов А.В. Суровое "счастье Спарты" (Современники Французской революции о феномене Террора) // Человек эпохи Просвещения. М.: Наука, 1999.

⁶⁸ См, например: Лукин Н.М. Максимилиан Робеспьер // Лукин Н.М. Избранные труды. М., 1960. Т. 1. С. 108.

⁶⁹ *Guerin D. La lutte de classes sous la Première République 1793—1797*. P., 1968. P. 116—117, etc.

⁷⁰ *Манфред А.З. Великая французская революция*. М., 1983 С. 220.

⁷¹ AP. P., 1971. T. 89. P. 169 [С. 230].

был ли какой-нибудь значительный социальный слой, которому принесла бы пользу робеспьеристская политика создания совершенного строя?

К настоящему времени в ряде серьезных исследований весьма убедительно показано, что деятельность данной "партии" противоречила интересам и устремлениям городского плебса⁷². Знакомство с произведениями Кутона позволяет лучше понять идеологическую подоплеку этого конфликта. Хотя Кутон неизменно с теплотой отзывался о "народе", о простом люде, он практически никогда не говорил об экономическом положении плебса. Его любовь к санкюлотам была довольно абстрактна. Искренне убежденный, что для счастья достаточно "несколько унций пищи в день", Кутон, который сам, надо признать, жил более чем скромно, не понимал и не разделял желания "низов" улучшить материальные условия жизни. Идеальному гражданину Республики, каким его представлял Кутон, должны были быть чужды подобные проявления "корысти". Недаром в качестве одной из важнейших добродетелей истинного республиканца Кутон считал умеренность⁷³. Неудивительно, что экономические требования, выдвигавшиеся время от времени санкюлотами, на самом деле мало похожие на выдуманный мечтателями-утопистами идеал, расценивались Кутонем и его единомышленниками как результат развращающего влияния врагов революции. Так, когда в порту Парижа произошли беспорядки — женщины захватили привезенную в город партию мыла, Кутон тут же объявил это результатом происков контрреволюционеров-подстрекателей, похоже, даже не задумываясь о том, что причина волнений — действительный недостаток в Париже жизненных припасов⁷⁴. Живая заинтересованность простого люда в столь "низменных" вещах илохо вписывалась в представления Кутона о подлинных социальных ценностях: "счастье состоит в исполнении своих обязанностей и практическом применении добродетели"⁷⁵. Отсюда и его враждебность к секционным обществам Парижа, выражавшим чаяния илебса, а, по мнению робеспьеристов, представлявшим собой рассадник порочного влияния противников Добродетели⁷⁶. И уже совсем парадоксально, с точки зрения "социального подхода", звучат выдвинутые Кутонем в адрес "заговорщиков" обвинения в том, что они хотели, придя к власти, создать в Париже изобилие⁷⁷.

⁷² См., например: Собуль А. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. М., 1966.

⁷³ La Société des Jacobins (далее — Jacobins). P., 1897. Т. 6. P. 33 [С. 213].

⁷⁴ AP. P., 1905. Т. 67. P. 543—544 [С. 59—60].

⁷⁵ Ibid. P., 1968. Т. 88. P. 242 [С. 217].

⁷⁶ Jacobins. P., 1895. Т. 5. P. 622—624; Т. 6. P. 126—128 [С. 192—193, 236—238].

⁷⁷ Ibid. Т. 5. P. 692 [С. 202].

Столь же слабо "партия" Робеспьера была осведомлена о нуждах крестьян. Так, когда на заседании Якобинского клуба депутаты Дюкенуа и Изоре предложили обратиться к Конвенту с просьбой законодательным путем установить практику продажи национализированных земель малыми участками, что облегчило бы покупку земли крестьянам, Кутон начал убеждать собравшихся, что все необходимые акты Конвент давно уже принял. Любопытно, что своим выступлением он не только продемонстрировал незнание истинного положения дел в деревне, но и, что для юриста особенно непростительно, свою полную неосведомленность относительно аграрного законодательства Конвента⁷⁸. Так, он сообщил, что якобы существует закон, разрешающий брать национализированные земли эмигрантов в аренду⁷⁹, между тем соответствующее положение декрета от 3 июня 1793 г. было отменено еще 13 сентября! Отрыв от реальности превращал все его рассуждения о перспективе ликвидации нищеты в демагогию.

И уж тем более не могли робеспьеристы стать защитниками интересов "среднего класса" или, иными словами, торгово-промышленных, предпринимательских слоев общества. Правда, в отличие от ультралевых революционеров, сторонники Неподкупного не считали крупных и средних собственников изначально враждебными новым порядкам и, как помним, были против насильственного передела имущества. Напротив, уважение к собственности составляло одну из характерных особенностей их мировоззрения. Для Кутона, например, совершенно бесспорно, что пострадавшие от народных волнений торговцы должны получить справедливую компенсацию⁸⁰. Даже контрибуцию на богатых граждан Пюи-де-Дома он обосновывал необходимостью дать беднякам образование, без которого те никогда не научатся уважительно относиться к чужой собственности⁸¹.

Еще более последовательным в данном вопросе был сам Робеспьер. 16 жерминаля (5 апреля 1794 г.) в самый разгар репрессий против дантонистской оппозиции Кутон предложил депутатам Конвента отчитаться о моральной стороне своей деятельности и об имущественном положении⁸². Судя по всему, это выступление экспромтом диктовалось, прежде всего, эмоциями и не было согласовано с другими "триумвирами". В тот же день Робеспьер, не вступая, правда, в прямую полемику с Кутонем, а потому даже не упомянув его имени, высказался в Якобинском клубе против контроля за имущественным состоянием членов Конвента: "Патриоты чисты; если же судьба наделила их дарами, кото-

⁷⁸ См.: *Лефевр Ж.* Аграрный вопрос в эпоху террора. Л., 1936. С. 69—70.

⁷⁹ *Jacobins*. Т. 6. Р. 88 [С. 228—229].

⁸⁰ *AP*. Т. 67. Р. 544 [С. 60].

⁸¹ *Mège F.* *Op. cit.* Р. 591 [С. 131].

⁸² *AP*. Т. 88. Р. 191 [С. 214—215].

рые добродетель презирает, а жадность уважает, они и не думают скрывать их, они имеют сильное желание использовать их благородным образом"⁸³. Кутону ничего не оставалось, как на следующий день фактически дезавуировать сделанное им ранее предложение⁸⁴. Если учесть, что лично у Робеспьера не было оснований бояться такого отчета, то нельзя не признать, что лишь весьма принципиальные соображения могли побудить его публично продемонстрировать (пусть даже в косвенной форме) разногласие с ближайшим сподвижником в момент острейшего политического кризиса! И действительно, речь шла об одной из фундаментальных основ идеологии робеспьеризма: моральные качества человека несравнимо важнее его материального положения и социальной принадлежности.

Однако, хотя робеспьеристы и не считали себя противниками торговцев и промышленников, ригористические требования их "вселенской" морали противоречили духу предпринимательской деятельности и, будучи удовлетворены, лишили бы ее всякого смысла. Напомню, что к числу главнейших нравственных ценностей робеспьеристы относили умеренность, доходящую до аскетизма. Соответственно богатство, допускаемое ими как социально-экономическая данность, с этической точки зрения квалифицировалось как источник искушений. Само по себе богатство и не зло и не добро — все зависит от того, как им распорядиться. "Истинный патриот", конечно же, его "использует благородным образом". Что это означает, Кутон и попытался продемонстрировать "богатым эгоистам" Пюи-де-Дома при помощи чрезвычайного налога. Приобретя состояние, "патриот" должен без жалости потратить его на общественные нужды. "Мы презираем ничтожное богатство, мы создаем счастье народа", — заявлял Кутон⁸⁵. Человека, находившего иное применение своему достоянию, робеспьеристы воспринимали как нравственно испорченного, а значит, потенциального контрреволюционера. Поэтому, не имея в принципе ничего против крупных собственников, они все же с нескрываемым подозрением относились к этим людям, гораздо более других "искушаемых" пороком алчности. Весьма красноречив нарисованный Кутонем собирательный образ врага революции — Англичанина, который, "запершись в своем банке, занимается корыстными расчетами"⁸⁶. Оратор полагал, что это занятие должно усилить отвращение слушателей к нравственному облику подобного человека.

Таким образом, хотя врата в сияющее "Царство добродетели" перед торговцами, промышленниками и другими представителями

⁸³ Робеспьер М. Указ. соч. С. 157.

⁸⁴ AP. T. 88. P. 241 [С. 216—217].

⁸⁵ Ibid. P. 333 [С. 217].

⁸⁶ Ibid.

"средних классов" оставались открытыми, у порога им предстояло оставить стремление к прибыли и накоплению или, иными словами, то, без чего предпринимательская активность утрачивала стимулы и смысл. Для данной социальной группы такая перспектива была неприемлемой, следовательно, робеспьеристская идеология не могла отвечать и ее интересам.

Впрочем, нет ничего удивительного, что этическая утопия робеспьеристов противоречила реальным потребностям всех слоев французского общества. Набор добродетелей, которым сторонники Неподкупного хотели одарить свой народ, являлся исключительно плодом философской абстракции. В XVIII в. мыслители Просвещения, не жалевшие сил для подрыва христианского мировоззрения, проявляли повышенный интерес к дохристианским временам, идеализируя и превознося античность. Особое восхищение вызывали готовность античных героев к самопожертвованию ради государства, их аскетизм, мужество, способность к преданной дружбе и т.д. При этом поклонники спартанской и древнеримской добродетели оставляли без внимания то, что подобные достоинства живших в древности людей были неразрывно связаны с качествами, вызывавшими в век Разума лишь ужас и отвращение: жестокость, вероломство и т.д. А ведь именно совокупность всех этих черт составляла основу личности человека далекой эпохи государств-полисов, безвозвратно канувшего в историю вместе со своим временем. Итальянский философ Дж. Вико еще в первой трети XVIII в. писал об этом так: "Героя в нашем смысле слова (подобного античному. — А.Ч.) угнетенные народы жаждут, философы, поэты воображают, но гражданская природа ... не знает такого рода благодетелей"⁸⁷.

Однако к словам Вико тогда мало кто прислушивался. Властителями дум в XVIII в. были другие авторы, рисовавшие идеализированный образ античного героя, наделяя его лишь теми качествами, которые, по их мнению, заслуживали подражания. Одним из наиболее видных апологетов античной добродетели был Руссо. Он считал, что граждане Спарты и Рима в несравненно большей степени понимали ценность "естественной" морали, нежели его развращенные современники. Так же чисто умозрительно был создан этический идеал робеспьеристов. Древнеримская и древнегреческая история являлась для них постоянным источником вдохновения в их усилиях построить нравственно совершенное общество. "Но не счастье Персеполиса предлагаем мы вам, это счастье растлителей человечества; мы предлагаем вам счастье Спарты и Афин в их лучшие времена, мы предлагаем вам счастье добродетели и скромного достатка..." — восклицал Сен-Жюст⁸⁸. К авторитету

⁸⁷ Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М., 1940. С. 295.

⁸⁸ Сен-Жюст Л.А. Речи. Трактаты. СПб., 1995. С. 126.

спартанского законодателя Ликурга апеллировал и "Аристид" Кутон⁸⁹. Именно псевдоантичный этический идеал был тем прокрустовым ложем, в которое пришедшие к власти утописты хотели загнать социальную реальность Франции XVIII в. Для этого использовались разные средства.

Расправившись с ультралевой и дантонистской оппозициями, робеспьеристы активизировали свою преобразовательную деятельность. В мае 1794 г. они развернули широкую кампанию по насаждению гражданского культа Верховного существа. Атеизм был окончательно приравнен к преступлению. Может показаться, что таким образом "партия" Неподкупного отрекалась от провозглашавшейся ею ранее веротерпимости. Но это не так. Она лишь последовательно осуществляла парадоксальную концепцию веротерпимости Руссо, согласно которой в истинно свободном государстве человек не должен быть преследуем за взгляды в отношении религии. Однако атеист все же подлежит наказанию, но не за убеждения, а за то, что, не признавая гражданский культ, оказывается плохим гражданином своей страны. И для Кутона, и для Робеспьера атеизм того или иного лица означал нежелание руководствоваться нормами "естественной" нравственности, что в их глазах было равносильно посягательству на святая святых Революции. Отсюда — обличительный пафос выступлений против не разделявших веры в Верховное существо. "Общество (якобинцев. — А. Ч.) должно предать публичному проклятию тех, кто хотел бы установить атеизм, кто не применял бы добродетель на практике и жил без нравственности", — говорил Кутон в Якобинском клубе⁹⁰.

Помимо гражданского культа, робеспьеристы в качестве средства утверждения "вселенской" морали использовали также просвещение, искусство, пропаганду, но главным орудием достижения данной цели для них все же был террор. Правда, ни Робеспьер, ни Сен-Жюст, ни Кутон не являлись его изобретателями. Начавшись стихийно в форме насильственных "эксцессов" охваченной массовым психозом толпы, террор, опять же по требованию парижских "низов", получил затем статус государственной политики. Поэтому, когда "партия" Робеспьера приступила к планомерной реализации своей утопии, она уже могла опираться на принятое репрессивное законодательство и активно действующие карательные органы, во главе которых стояли ее сторонники.

Воспринимая мир как поле битвы Добра и Зла, робеспьеристы соответственно делили всех людей на два лагеря: приверженцев Добродетели и защитников Порока. Себя они, разумеется, относили к первым и едва ли не в каждом выступлении об этом напоминали. Так, в речах и даже кратких репликах Кутона постоянно подчеркивается: "правительство добродетельно", "добродетель и че-

⁸⁹ AP. T. 91. P. 107 [С. 254—255].

⁹⁰ Jacobins. T. 6. P. 134 [С. 239].

стность поставлены в порядок дня", "мы ставим в порядок дня справедливость, порядочность, нравственность и добродетель" и т.п.⁹¹ Политических же противников робеспьеристы, напротив, наделяли всеми мыслимыми и немыслимыми пороками. Это, по словам Кутона, "гнусные существа, несущие на себе печать бесчестия, безнравственности и злодеяний", "безнравственные люди, развратители и убийцы" и т.п.⁹² Если верить Кутону, они даже обликом своим не похожи на обычных людей: "негодяев узнают по внешности"⁹³. Это какие-то монстры, исчадия ада, стремящиеся установить над миром вечное господство Зла.

Разве возможен компромисс между этими полярными противоположностями? Если раньше воюющие державы рано или поздно вступали в переговоры и заключали мир, то разве может быть мир между силами Добра и Зла? А к последним робеспьеристы относили всех, кто боролся против революционного правительства на внутренней и внешней арене. Олицетворением Порока для них была Англия, вставшая во главе антифранцузской коалиции после того, как 1 февраля 1793 г. Конвент объявил ей войну. В робеспьеристской идеологии и пропаганде Англия играла дьявольскую роль предводителя сил тьмы, пытавшихся погасить сияющий во Франции светоч Добродетели. "Британское правительство, — говорил Кутон, — виновно в преступлениях против человечества". Глава британского кабинета У. Питт-младший был торжественно провозглашен "врагом рода человеческого"⁹⁴, а все противники робеспьеристов объявлялись "агентами Питта". Оставался единственный выход для разрешения столь острого этического противоречия — устранение одной из непримиримых противоположностей. А поскольку данный конфликт проецировался робеспьеристами на политику, это означало физическое уничтожение соперников. "Цель не в том, чтобы сколько-то раз проучить, а в том, чтобы истребить безжалостных союзников тирании", — считал Кутон⁹⁵.

Напомню, что все социальные проблемы, как то: углублявшийся экономический кризис, недовольство широких слоев общества политикой революционного правительства, остававшегося глухим к их требованиям, нежелание подавляющего большинства населения воспринять искусственные нормы новой морали и прочее — робеспьеристы объясняли нравственной испорченностью части граждан и развращающим влиянием врагов Революции. "В силу самой природы вещей, — говорил Кутон, — такое великое политическое событие не может произойти без того, чтобы нравственная

⁹¹ AP. T. 86. P. 646, 719; T. 88. P. 333 [С. 205, 217].

⁹² AP. T. 86. P. 646; Jacobins. T. 6. P. 152 [С. 203, 246].

⁹³ AP. T. 86. P. 502; Jacobins. T. 6. P. 35.

⁹⁴ Jacobins. T. 6. P. 152; AP. T. 70. P. 451 [С. 247, 77].

⁹⁵ AP. T. 91. P. 486 [С. 265].

испорченность людей, всю жизнь проживших под властью деспотического и порочного правительства, не побуждала их использовать все средства, дабы обернуть это событие во вред поднимающимся добродетелям и погрузить те в небытие"⁹⁶. Нетрудно заметить любопытную закономерность: чем активнее пытались робеспьеристы осуществить свою утопию, тем сильнее ощущали скрытое сопротивление общества и тем чаще звучал в их речах мотив "контрреволюционного заговора". Весной-летом 1794 г. без упоминаний о нем обходилось мало какое из выступлений Кутона.

Неудивительно, что при подобном восприятии действительности робеспьеристы неразрывно связывали окончательное торжество Добродетели с полным истреблением носителей Порока. Таким образом, террор рассматривался ими как необходимое средство построения совершенного общества. "Если движущей силой народного правительства в период мира должна быть добродетель, то движущей силой народного правительства в революционный период должны быть одновременно добродетель и террор — добродетель, без которой террор пагубен, террор, без которого добродетель бессильна", — говорил Робеспьер⁹⁷. Ему вторил Кутон: "Народ не может быть счастлив, пока не уничтожены все клики, все злодеяния, все пороки, пока не будет торжественно установлена власть нравственности и добродетели"⁹⁸.

Разительна перемена, происшедшая с Кутонем за полгода после его миссии в Пюи-де-Дом. Там, находясь в гуще людей, он мог воочию видеть последствия своих решений для судеб земляков, многих из которых он хорошо знал с детства и к которым испытывал столь свойственные его натуре сочувствие и сострадание. Вероятно, эта обоюдная живая связь и удерживала его от чрезмерно жестких мер. Иначе обстояло дело в Париже. Здесь, увлеченный созданием "Царства добродетели", погруженный в абстракцию "мира в облаках", он, похоже, уже не воспринимал террор как боль и страдание конкретных людей. В стенах Конвента, окруженный такими же фанатиками утопии, как он сам, Кутон не видел крови, ежедневно проливаемой на площади Революции во исполнение их воли. Известия о казнях не трогали его чувствительного сердца, потому что для него за каждым именем в списке приговоренных к смерти стоял всего лишь абстрактный носитель порока, а вовсе не реальный живой человек со своей неповторимой судьбой. Террор ощущался Кутонем как торжественный ритуал очищения земли от порока, как трудная, но высокая и радостная миссия избавления рода людского от бед и тягот его прежнего состояния. Этот отнюдь не жестокий от природы человек с энтузиазмом предлагал сам и поддерживал выдвинутые другими все новые тер-

⁹⁶ Ibid. Т. 86. Р. 512 [С. 198].

⁹⁷ Робеспьер М. Указ. соч. С. 112.

⁹⁸ AP. Т. 91. Р. 107 [С. 253].

рористические меры. Террор для него — истинный праздник добродетели. Мало казнить короля, надо сделать эту дату ежегодным днем народного ликования⁹⁹. Мало ввести смертную казнь для “нарушителей суверенитета нации”, надо быть готовым подкрепить такое решение делом — “я, хоть и столь немощен, но возьму на себя исполнение приговора”¹⁰⁰.

Закономерным результатом подобной эволюции Кутона и вершиной его карьеры стало участие в создании кровавого декрета от 22 прериаля (10 июня 1794 г.). Составленный Кутонем и Робеспьером (Сен-Жюст находился тогда в миссии на фронте) и с огромным трудом проведенный ими через Конвент, этот акт открыл дорогу Великому террору. Характерно, что он был принят в тот момент, когда положение Республики оказалось как никогда прочным: ее армии повсюду наступали, внутри страны было невозможным не только открытое сопротивление, но даже легальная оппозиция. Однако террор уже давно не диктовался обстоятельствами военного времени. Его цель четко сформулировал в своем докладе Кутон: “Отсрочка наказания врагов родины не должна превышать времени, необходимого для установления их личности. Речь идет не столько о том, чтобы наказать их, сколько о том, чтобы уничтожить”¹⁰¹. Закон полностью избавил Трибунал от еще сохранявшихся немногочисленных и чисто внешних “юридических формальностей” и открыто распространил действие репрессивных мер на “моральные преступления”. Отныне смертной казни подлежали те, “кто пытается ввести народ в заблуждение и мешает его просвещению, кто портит нравы и развращает общественное сознание, кто охлаждает энергию и оскверняет чистоту революционных и республиканских принципов”.

После принятия закона 22 прериаля чудовищная машина террора начала быстро набирать обороты. В Париже ежедневно казнили до 60 и более человек. За шесть недель, прошедших до 9 термидора (27 июля 1794 г.), кровавая бойня только в столице унесла около полутора тысяч жизней. Политика реализации утопии вылилась в войну государства, управляемого фанатичными приверженцами “естественной” морали, против общества.

Но, сделав свой выбор, рыцари “Царства добродетели” не хотели отступать. Увлеченные мечтой, они хладнокровно взирали из своего “мира в облаках” на море слез и страданий, затопившее их родину. Франция стояла на краю катастрофы. Чтобы спасти ее, надо было сбросить иго утопии. Это произошло 9 термидора...

Вместе с другими робеспьеристами тогда потерял власть, а на следующий день и жизнь Жорж Кутон. Арестованный в Конвенте одновременно с братьями Робеспьерами, Сен-Жюстом и Леба,

⁹⁹ Ibid. P., 1981. T. 83. P. 529 [C. 188 – 189].

¹⁰⁰ Ibid. T. 88. P. 192 [C. 216].

¹⁰¹ Ibid. T. 91. P. 486 [C. 265].

он был отправлен в тюрьму, а затем освобожден по приказу робеспьеристской Коммуны Парижа. Вернувшись домой, он узнал, что Робеспьер в Ратуше собирает сторонников и готовится к сопротивлению. Несмотря на просьбы жены остаться, Кутон отправился в Ратушу, чтобы разделить судьбу товарищей. Когда войска Конвента ворвались в здание, Кутон ударил себя кинжалом, но только ранил. Утром его первым внесли на эшафот, однако казнь неожиданно затянулась. Палач никак не мог пристроить полуживое, сведенное судорогой тело калеки на скамье гильотины, почти четверть часа он и так, и этак укладывал несчастного, причиняя ему ужасные мучения. Но вот наконец нож гильотины скользнул вниз, неся избавление от страданий... Жорж Кутон, горячо любивший людей и искренне желавший им счастья, исчез с лица земли и из их памяти. Осталось только имя-символ — страшный символ Великого террора.

В этот день в Париже казнили еще двух человек. Это были Роберт Деламур и Жан-Пьер Марте. Деламур был членом Коммуны, а Марте — членом Конвента. Оба были обвинены в измене. Деламур был казнен в Ратуше, а Марте — в Конвенте. Их казни были частью массовых казней, которые проводились в этот день в Париже. В этот день в Париже казнили еще двух человек. Это были Роберт Деламур и Жан-Пьер Марте. Деламур был членом Коммуны, а Марте — членом Конвента. Оба были обвинены в измене. Деламур был казнен в Ратуше, а Марте — в Конвенте. Их казни были частью массовых казней, которые проводились в этот день в Париже.